

АНДРЕЙ ИВАНОВ

ПУТЕШЕСТВИЕ ХАНУМАНА НА ЛОЛАНД

РОМАН



Таллин
2009

Андрей Иванов
ПУТЕШЕСТВИЕ ХАНУМАНА НА ЛОЛЛАНД

Оформление: Андрей Мокиевский

Книга издана при поддержке
фонда Капитал культуры Эстонии (Eesti Kultuurkapital)

© Андрей Иванов
© Андрей Мокиевский
Издательство «Авенариус»
Таллин, 2009

ISBN 978-9985-834-41-1
Печать: Tallinna Raamatutrukikoda

ЧАСТЬ I

Ханумана мутило от датской провинции. Корзиночки с цветами на подоконниках gammel kro¹, а за окнами, как в аквариуме, су-тулые старички, пугливо пилящие ножичком сосиску.

В этом мире ему было чуждо все. Отторжение вызывала любая мелочь. Причудливо выложенный тротуар. Узоры на стенах. Витые оградки. Литые медные ручки. Путаница улиц; живые изгороди из декоративных кустарников; фырчание газонокосилок; стенами огражденные заводы, фабрики, свалки...

“Это настоящий лабораторный лабиринт! — говорил Хануман, толкая меня локтем в ребро. — Как раз для двух крыс, таких как мы с тобой, Юдж! Черная да белая! Хех! Какая выживет? В каждом городе одно и то же! Одно и то же!”

Так и было. Ярко-красный почтовый ящик с золотым гербом: дудка и корона над ней. Аккуратная клумба возле бензоколонки. Пригожий киоск с конопатой девчушкой на перекрестке. Размерно поступающий гул города, будто качают меха. В индустриальную перспективу протянутые провода. Туда же убегающие дороги. Безупречно размеченные. Насмерть укатанные. Казалось, машинам и мотор был не нужен, чтобы ехать! Так плавно они скользили. Как по конвейерной ленте. Въезжая прямоком на небо. Глядя им вслед, мы брели от остановки до остановки, прятались от дождя и ветра в темно-зеленые металлические коробки, курили, вертели карту. С безразличием рептилий мимо проплывали автобусы. Форма важных водителей заставляла напрягаться. Золотые пуговицы, кокарды, манжеты... Все как надо. Пышные усы под тяжелой складкой буль-дожьих щек. По самые веки наполненные тоской глаза. Хануман косил на них недоверчиво, нервно натягивая подтяжку.

¹ гостевой дом старого образца (дат.), корчма, постоялый двор (здесь и далее — примечание автора).

“Им не позавидуешь, — говорил он, притворно ухмыляясь. — Только представь, целыми днями колесить по этим дорогам... С ума сойти от скуки можно! Мы всего лишь несколько дней по ним пилим, и уже вымотались как черти, а они — каждый день!”

Иногда автобус останавливался, водитель выползал, чтобы помочь какой-нибудь старушке или просто выплеснуть из термоса остатки кофе, бросив заодно в нашу сторону тесно пригнанный взгляд. Хануман постоянно следил за ними краем глаза, и мне твердил, чтоб я не расслаблялся; он был уверен, что все они состоят и на службе в полиции тоже.

“Они обязаны докладывать, — говорил он уголком рта. — Поверь мне! Они все подписывают такие бумаги... Их приглашают в кабинет, там им подсовывают инструкции... Они полчаса читают, а потом подписывают... Чуть что, они будут звонить... По особому номеру... У них в полиции есть отдел моментального реагирования для таких сигналов... А ты как думал! Сразу же выезжают! Это лучший способ усилить контроль! Думаешь это не подозрительно?.. Сидят тут какие-то... Один черный... Кто такие?.. Почему бы не проверить документы?..” “Тогда может лучше убраться?” — говорил я, и мы вставали и шли. Хануман при этом что-нибудь напевал...

В нем всегда бродила какая-то мелодия, которую он прятал от всех за плотно сжатыми губами; ограждал от ветра и обстоятельств; тайком отстукивал то одной, то другой ногой. Боролся за каждую ноту. Но ветер срывал слова с губ. Шум влезал в череп. Наполнял его чужеродностью. Выламывал из грудной клетки ритм. Въезжал транспортером в душу. Врывался в сердце мопедом. Хлипкое пламя мелодии заглушали лающие голоса датчан, могучие отбойные молотки, роко-чущие моторы, трескотня супермаркетов. Ловушки, тупики, стены из красного кирпича с исторической прожельтью теснили душу Ханумана. Куда ни ткнись — красный кирпич, отливающий национальной гордостью. Плотным рядом, один к одному, аж зубы сводит! Сквозистые скверы. Стерилизованная стилизация стеклянных станций, раздающих эхоталии вместо билетов, и буклеты. Буклеты с путаным расписанием автобусов, поездов, паромов. Везде. Чтоб ты не потерялся, чтоб не сбился с маршрута, чтоб пенял на себя, если что...

В этом тщательно расчесанном мире все было предусмотрено; найти закуток и затаиться двум таким вошкам, как я и Ханни, было практически невозможно. Всюду были глаза и камеры. Каждый был на телефоне. Даже деревья, посаженные особым образом, казалось, следили за нами и подавали сигналы кому-то, кто непременно следил за деревьями. Всякая мелочь была с намерением вшита в панно нам непонятной жизни. Все вышло из одного горнила. Платформы и в достоинство обернутые люди в требовательном ожидании своего поезда, все это вылезло из огромного жерла, замерло и поместилось перед нами, устрашая целостностью. Особенно страшны были люди. Неприступные, как бастионы. Гладкие плащи; выверенные жесты. Холодные, как безжалостные рельсы. Блеск очков; белизна зубов. Надежно сработанные, как столбы, подпирающие тусклое небо. За каждым числились определенные заслуги. Полезность обществу умножали списки ими регулярно посещаемых курсов. Над каждым светила неугасаемая звезда специализации. Каждого незримым флером оберегала сила какой-нибудь могущественной корпорации. Существа, рассчитанные на многие лета. Гарантийный срок покрывали страховые компании. Все было учтено. Даже случай...

Интерсити мчались прочь. Унося в своих кишках их драгоценные жизни. Они о чем-то говорили, что-то читали, ничего не замечали, спали, мечтательно смотрели на нас, мимо нас, сквозь нас. Нам в этих поездах места не было. Нас бы вышвырнули контролеры: пинком под зад Ханумана, тычком в спину меня. Фуражки контролеров кивали козырьками, их компостеры прокалывали пространство, километры и километры стали: чик! — værsgo¹ — чик! — værsgo...

Мы плелись дальше; из-под земли вырастали шлагбаумы; сверкая сигнальными лампами выезжали какие-то машины; там и тут попадались запертые двери, ворота, надписи "ingen adgang", "forbudt!"², "privat"... Хануман был озадачен. В его глазах установился стеклянный блеск. Холод. Ветер. Любопытные таксисты. Флаг в каждом дворике. Флаг, что полощется как тряпка.

¹ будьте добры; пожалуйста (дат.)

² входа нет, запрещено! (дат.)

“Они тут даже ветер протирают патриотизмом, чтобы не подхватить простуду предательства, — отстукивал зубами Хануман. — Это же невозможно принять! Юдж, на это просто тошно смотреть! Что это за страна, мэн! Что за королевство такое!” “Чистой совести и чистых унитазов, мэн”, — мямлил я сквозь сон.

Сон одолевал все сильней и сильней. Мы катились по наклонной, куда-то проваливались, воронка засасывала. Назревало что-то нехорошее. Кружили видения. Шествовали гномики в красных шапочках. Люди в красных мундирах, тоже как гномы, маршировали с тяжелыми медными инструментами, разгоня жирных ворон. Это были любители, но маршировали они и дули в трубы с видом настоящих артистов. Кружили по плацу, как заведенные: ать! ать! Готовились к какому-то празднику... Натягивались гирлянды. Старушки выставляли кукол в окна. Напуганные птицы в небе повисали как мусор. Солнце жмурилось и снова бросалось в надраенные медные трубы. Витрины сообщали о скидках. Мальчики и девочки на улицах раздавали пригласительные и открытки. Дурные предчувствия нагнетал тракторный так-так-так с полей. Крутился какой-то бородач с ручкой и листком бумаги, приставал к прохожим, просил, чтобы расписались под чем-то и пожертвовали чем-либо... К стене приставили лестницу. Подозрительный тип взялся за телефон...

Зашли на станцию. Смешались с толпой. Опять схемы движения. Знаки, стрелочки... Опять буклеты, туристические, музейные, исторические, книжечки с убедительными советами: “Если Вы были на Юлланде и не побывали в ..., ..., ..., ... и в ..., то можно с уверенностью сказать, что Вы не видели настоящей Дании”.

“О, какая тоска! — стонал Хануман. — Хэх, лучше б я не видел Дании вообще! Уж лучше б я ослеп, когда сошел с парома на эту проклятую землю!”

Я подхватил брошенный им буклет, прочитал: “... воспользоваться ресторанчиком провинциального гаммель кро, ибо только здесь Вы можете отведать подлинной датской кухни...” Ну конечно, там же можно “... посетить Аквапарк, Леголанд, Аквариум и Старый Город Орхуса, национальный парк с могильниками первых викингских королей, сад с магнолиями, орхидеями... музей древних лодок,

на которых были завоеваны Лондон и Париж, открыты Исландия, Гренландия, Америка, Индия и весь остальной мир..." Ну конечно: "и весь остальной мир". Вот так! Никак не меньше... И снова расписание поездов, "... с помощью которых Вы можете побывать во всех этих замечательных местах в Дании".

"Вот так, Юдж, — продолжал Хануман. — Полчаса паромом, всего лишь полчаса! Каких-то полчаса... От Хельсинборга до Хелсингёра, полчаса, не больше... Ты садишься на паром в нормальной стране и через полчаса ты оказываешься черт знает где! Тоска, мэн, тоска!"

Да, было до того тоскливо, что хотелось быть вместе с ветром.

* * *

Расписания нас изводили. Сперва Хануман боялся к ним прикоснуться. Потом брезговал. Однажды мы застряли на одной автобусной станции (кажется, возле Оденсе). Времени было полно, мы не знали, куда его сбить. Сидели и плевали под ноги, докуривая последние три сигареты. Дурно становилось уже от мысли, что у нас есть во рту языки, которыми мы можем говорить друг с другом.

Он подошел к столбу и просто от нечего делать стал разглядывать расписание, сопоставляя, совпадает ли то, что там написано, с тем, что происходит на остановке. Наверное, совпало что-то... и он тут же уверовал в то, что теперь может как и все датчане ориентироваться во времени и пространстве этой страны! С верой в то, что он приобщился к духу этого мира, с верой в то, что он теперь не обезьяна, но человек, он проехал несколько остановок. По пути он набивал этими буклетиками свою папку, приговаривая, что теперь все это имеет смысл и может нам пригодиться; он так постарался, аж замок не застегивался. Но все это кончилось печально: в итоге он убедился не столько в том, что расписания бесполезны, сколько в собственном бессилии постичь законы порядка этой страны, понял, что никогда ничего в этих графах не сможет понять, выкинул их и поклялся больше не брать.

Это произошло на платформе центральной станции в городке не то Ранес, не то Хорсенс. Мы не ели третьи сутки, и что самое страшное: не предпринимали ничего, чтобы это как-то поправить. Застряли в этом городишке из-за дилера, который через форточку

выудил из нас последние деньги. Спали на автомобильной свалке в старой машине, которая завелась и некоторое время грела, пока не кончился глоток бензина, оставленный бывшим владельцем на перегон. И когда стали мерзнуть, развели костерок в большой металлической банке, жгли порножурналы из папки Ханумана, жгли газеты, которые находили в багажниках, — но все равно не согрелись. Прокоптились, провоняли насквозь, но не согрелись. Выкурили весь гашиш, нисколько не забалдев. Выкурили три сотни хапцов, что выгребли из пепельниц всех более или менее свежих машин. Съели все яблоки с единственной яблони на отшибе. У нас кончились спички, умерли все зажигалки; кончилась вода в литровой бутылке Ханумана; наконец, в нашей банке погас огонь и сдохли все угольки. Приползли на станцию отогреться. По пути я плевал на улице с отвратительным названием Gavnpøvej. Меня так скрутило... Ханни сказал, что мне не следовало так нажимать на яблоки и хапцы. А потом добавил: “А может, ты схватил язву?..”

Сказал он это вовсе не обращаясь ко мне, а просто изрек, в пустоту, глядя куда-то перед собой... От мысли о возможной язве мне стало совсем худо. Но я собрался, разогнулся и дотащился до станции. Там попили воды в туалете. Хануман просидел три часа на унитазе с расписанием, пытаясь своими заиндевевшими мозгами понять, когда и на какую платформу придет поезд на Орхус...

С Орхусом мы почему-то связывали смутные, лихорадочные надежды, которые нас терзали все три дня в Ранесе. Я не помню, когда, при каких обстоятельствах в нас поселились эти надежды. Они завелись, как глисты. Откуда ни возьмись... Взялись и все тут. Такое уже бывало и прежде. Тут нечему удивляться. Это как кашель, простуда. Раз и уже жар! Так и Орхус... Было в этом что-то такое, заразное... В наши головы эти надежды закрались, как в сумасшедших видения; они искушали нас как блохи; мы натурально в кровь расчесали себе души за те три дня в чертовом Хорсенсе! Я помню, как Хануман вдруг вспыхнул, и его понес этот характерный пламенный прилив эмоций. У него случился настоящий приход! Пик! Его рвало словами. Он был готов бежать прямо тогда же, с пеной у рта, пробиваться, стучать в запертые двери... Вон из проклятого Ранеса!

“В Орхус! Поверь мне на слово, мэн,— твердил Хануман, шлепая меня по плечу.— К черту из Хорсенса. В Орхус, мэн! Вот куда надо двигать! В Орхус! Как я сразу не догадался?! Fuck me in the mouth! Fuck me in the ass! ¹ Какой болван! Сразу надо было сходить в Орхусе!”

Я тоже сперва загорелся, но потом быстро остыл. Как угольки в банке зачихали, так и я. Мне стало безразлично: что Хорсенс, что Орхус... Но ничего не говорил Хануману, чтоб не усложнять безвыходность ситуации. Делал вид, что тоже нацелен. Последняя ночь в машине далась так тяжело... Даже ворчать под нос не было сил.

Ханни курил хапец за хапцом и нервно рассуждал: “Ммм, да-да, именно Орхус! Да, мэн, да... Большой город, там много иностранцев, легко затеряться, оставаться незамеченным, делать дела, чувствовать себя человеком. Ты врубаешься, Юдж? Легче найти контакт. Может, цепанем кого-то. Может, повезет с работой. Я слышал, там есть настоящий восточный базар. Говорят, большой. Ух! Должны быть и индийские рестораны. Просто обязательно. Как же без индийского ресторана? Даже в Фредериксхавне есть. Что уж говорить про Орхус. Хэх! Как знать, если повезет...”

Но надо было сперва добраться до Орхуса. Хануман считал, что мы проскочим, если повезет. Он всегда чуть что говорил это “если нам повезет”. Если нам не везло, он просто говорил “bad luck”². И все дела. В этот раз он зачем-то на меня наседали и приговаривал: “Должно повезти. Не может не повезти. Нам так давно не везло. Человеку не может не везти все время. Должно и повезти наконец. Отсюда до Орхуса рукой подать! Тут же локальная ветка. Почти никогда не проверяют. Вот после Орхуса, там — да, проверяют, а до Орхуса — не-е... Сам знаешь... В Орхусе пересадка... Да и вообще, это даже ближе, чем от Роскиле до Копена... Раз в сто лет проверяют, да и то... Отпустят, если попадешься... Сколько раз отпускали... А?..” — “Да, да, конечно”, — сонно соглашался я.

Хануман заводился все больше и больше, как будто его ширнули,

¹ Драть меня в рот! Драть меня в зад! (англ.)

² неудача

когда он отлить отходил. Возможно, тогда он и принес с собой эту идею. Из-за забора на свалке... Не помню. Не имеет значения. Орхус, каким он себе его рисовал, оживил его не на шутку! Видно было, что само слово "Орхус" дает ему прилив адреналина, потому как он его повторял и повторял, как заклинание.

"Орхус, это тебе не какая-то бензоколонка и Суперспар при ней... Это не деревушка, где все перетрахались еще триста лет назад! Орхус — это же древняя столица! Это практически мегаполис! Там была королевская резиденция! Город студентов, а значит — музыка, кайф... Культурная столица Дании! Я читал об этом в брошюрах!.." — "Да, да, конечно", — говорил я.

Хануман елозил. Доставал каждые десять минут. Вырывал мое сознание из голодного сна. Последнюю ночь он просто уже не мог усидеть на месте. Ему вдруг захотелось прокатиться. Он вновь видел себя в Интерсити! Хануман так любил скандинавские поезда. Он был просто влюблен в DSB¹. Он в поезде себя чувствовал человеком. Он и становился им. Перевоплощался в гражданина мира. Принимал облик немецкого индуса. Индуса, который родился в каком-нибудь Шайзвурстбахе от дородной немки и тощего беженца и Индии в жизни не видел. Он даже был согласен, чтоб его принимали за пакистанца, лишь бы он предположительно родился в Европе. Там было полно таких оболтусов. Шатались без толку, своими манерами опровергая цвет своей кожи. И он делал то же самое: так же ухмылялся, как будто его все достало, так же бросал ноги на противоположное сидение, так же распахивал рубашку, показывая все свои амулеты, так же листал журнал *Tag med*². Это было феноменально. Мне даже казалось, что я своим присутствием дискредитировал его искусство, мог все испортить. Он отворачивался в окно, с усталым выражением глядел на невыносимые пейзажи, повторял "*det er så kedeligt, man, så kedeligt*"³, с такой естественной скукой в лице, будто с детства питал к этим полям и городкам отвращение, и так

¹ Danske Statsbaner — датская государственная железная дорога (дат.)

² букв. "Возьми с собой" (дат.), журнал этот есть обыкновенно в поездах междугородних веток.

³ так скучно, мужик, так скучно (дат.)

натурально у него выходило, что контролеры не решались у него спросить билет. Они проходили мимо нас, поклеывая своими фуражками воздух между рядами сидений, как дрозды на своей пашне. И тогда Хануман с презрением смотрел им вслед. Он был безбилетником по призванию. Поездка без билета поездом сообщала ему заряд энергии. Он таким образом разгонялся. На него это действовало почище дорожки амфа. Прокатить без билета пару остановок означало хорошо начать день. Для него это было даже необходимо. Такой разгон мог завершиться удачной кражей в супермаркете или бабой под боком!

Потом я стал думать, что Орхус тогда возник в сознании Ханумана далеко не случайно. Он просто хотел проехаться в поезде, не опасаясь контролеров. В Орхус было так же бессмысленно ехать, как и в любой другой город. Ехать было некуда вообще! В каждой точке карты — куда ни ткни — делать нам было нечего. Куда бы мы ни поехали, нас никто нигде не ждал. Кроме ментов и неприятностей...

Я думать не хотел о том, что меня могло ждать в Эстонии; он просто не хотел возвращаться к своему прошлому. Он частенько говорил: "Для меня ехать в Индию равносильно возвращению из будущего в темные века. Мэн, если тебе повезло и ты вдруг попал в машину времени, то ехать в прошлое глупо! Надо жарить вперед! И чем дальше, тем лучше!" Он вообще не хотел куда-либо возвращаться. "Это все равно что предавать достигнутое, — говорил он. — Только вперед!" Его могла ждать жена в Индии; или баба с ребенком в Бухаресте; или подруга в Праге; или совсем свежая связь в Стокгольме. Ни в одном из этих направлений Хануман ехать не хотел. Он хотел ехать в Америку. Америка и была той точкой, где должно было завершиться его путешествие в будущее. Именно в Америке его будущее должно было стать настоящим. Но ни один из датских поездов туда, разумеется, не ехал. Он был в отчаянии. И от отчаяния придумал себе Орхус. Орхус был просто предлогом, лишь бы куда-нибудь двигать, лишь бы убраться поскорей из этого проклятого городишка. Как бы он там ни назывался: Ранес, Хорсенс... Какая разница! Все равно куда. Куда угодно! Лишь бы убраться. Нас так припекло. Безысходность давила кишку. Я совсем скис. Я готов был сдохнуть пря-

мо там, на станции, в туалете. Из меня такие взрывы неслись, что я чувствовал себя пушкой, которая вот-вот родит ядро.

Наконец я услышал, как из другой кабинки Ханни сказал: “Спор второй. Живее! У нас пять минут!” Мы поспешили на вторую платформу, встали. И тут наш поезд подошел к третьему пути. Выругавшись, мы бросились обратно. Но не успели. Всю кишку подземного перехода забило говном пассажиров с какими-то мешками. Пространство вдруг сделалось вязким, узким, непроходимым, как жидкий окоп. Мы еле-еле пробились к ступенькам. Поезд ушел из-под носа. Ханни пришел в ярость. Он вышел из себя. Вывернулся из куртки и стал ее топтать, скаля все зубы своего огромного рта. Он так громко ругался, что я даже отошел в сторону, встал возле автомата, делая вид, будто покупаю билет. А сам стоял и жмурился, мозги закатывались. Хотелось растаять в воздухе. Испариться к черту! Я знал, что кругом были люди. Я знал, что они смотрят. Меня пробирали параноидальный озноб. Вжимаясь в собственную тень, я стоял и давил веками глаза — только бы не заплакать. А за спиной Хануман блял, метал молнии. Исходил пеной у всех на виду. Жестикуюлировал. Шипел. Рычал. Извивался как шланг. Ему было плевать, что на него смотрят. Срать он хотел на ментов! Он клал на все! На всех и на каждого! Он был страшен, как Кухулин перед битвой. Его все достало! На глазах у остолбеневших пассажиров он раскидывал буклеты на рельсы и кричал им вслеп: “O, it must be a practical joke! This schedule does not make any sense at all! What do we need it for, if we can’t fucking use it! I see no fucking point! ¹...”

* * *

Все те навыки, что мы приобрели в Копенгагене, ни на что негодились на Юлланде. Компостеры отказывались принимать фальшивые билеты. Хануман никак не мог подобрать к ним ключа; все его ремейки были ни на что не годны. Компостер издавал отвратительный писк, и мы отлипали от него, отворачивались, уходили. То же было и с автобусами! Нас чуть ли не пинками гнали вон, когда наши

¹ О, это должно быть розыгрыш! В этом расписании нет никакого смысла! Зачем нам оно нужно, если мы не можем его использовать! Я не вижу никакого смысла!

подклеенные билетки застревали в компостере водителя; он бранился, мы пятились; водитель хватался за свой телефон; мы торопились; пассажиры с вытянутыми лицами смотрели нам вслед; мы прибавляли ходу.

Хануман не мог привыкнуть к медлительности, с которой тянется день, к бессмысленности, с которой проходят недели. Он говорил, что наша жизнь похожа на штиль, что мы ни к чему не придвигаемся. Он не мог привыкнуть к праздникам, продуваемым насквозь. Он с опаской относился к безлюдным маленьким городкам с узенькими улочками, обсаженными шток-розой. Он возненавидел люпины с первого взгляда! А их там было... Вдоль каждой оградки! Узкосклеенные улочки ткались непредсказуемо, и всюду росли люпины: розовые, сиреневые, лиловые, красные, голубые, желтые...

“Смотри, как они любят цветы! Проклятые идиоты пытаются состояться с голландцами! Они думают, если посадят много цветов, их страна хоть капельку станет лучше! Цветочная революция... Flower power... No fucking way!”¹ - бухтел Хануман.

Он вечно заводил не туда. Мы все время путались, утыкались в тупики, топали обратно. На нас смотрели из окон, из садилов, из машин... Приходилось делать вид, что мы кого-то ищем, смотреть в карту, в бумажку, оглядываться по сторонам, изображать туристов. Толку не было никакого! Хануман давился ругательствами, говорил, что улочки ничем не лучше расписаний.

“Их улицы никуда не ведут. Все они уходят в тупик, — говорил он. — Так они строили, чтоб легче было поймать вора!”

Нас и ловить было не надо. Мы сами шли в руки. Только отворяй ментовоз! Всякий раз, попадая в тупик, мы оказывались возле маленькой дверцы с серебряной табличкой, где нас встречала одна и та же старуха в модном аккуратном пальто с иголочки; она задавала нам вопрос, на который мы не в состоянии были ответить, потому что даже понять не могли, что она спрашивала своим шепелявым ртом; мы поворачивались и уходили, чувствуя на своих спинах липкий взгляд и дыхание ее по-рыбьи открытого рта.

¹ Цветочная революция... Как бы не так! (англ.)

Хануман никак не мог привыкнуть к тишине, которой были наполнены уик-энды, не мог приноровиться к дешифровке звуков, которыми вскрикивала мгла, к побрякивающим всеми проволочками и колокольчиками заправкам, к особому юлландскому говору, к походке и шуршанию ног юлландских стариков. Он не мог постичь, в какую сторону открываются двери. Это было, пожалуй, хуже всего.

Неприятие этого чуждого мира толкало Ханумана на нелепые нарушения закона. Он наматывал бумагу в туалете, пачками крал салфетки. Из кафе без пепельницы или солонки не уходил. Можно было решить, что он либо клептоман, либо обычный сумасшедший. Но он не был ни то, ни другое. Он просто мстил этому миру за все те обиды, которые тот нанес ему; он презирал людей, которым легко жилось в нем. У него были причины, причины... Он презирал их хотя бы за их аккуратный вид; за чистые цветные одежды; за то, что даже пенсионеры одеваются как подростки, за рюкзачки, розовые капюшоны, зеленые варежки, красные кроссовки...

“Эти люди похожи на марципановых кукол,” — говорил Хануман. Я с ним соглашался. Самое противное было то, что у этих кукол были глаза, они все время пялились. Я то и дело ловил взгляд... Такой особенный взгляд... Ты видишь, как взгляд скользит по толпе, по улице, по витрине, а потом падает на тебя и задерживается, глаза сужаются, глаза изучают, расшифровывают тебя, как символ, пытаются поместить тебя в инвентарный список, взгляд классифицирует тебя... Напрасно. Для нас не было места в списке. Мы не были такими же букашками, как их местные бомжи и проходимцы. К своим они уже привыкли. От них были прививки. За них не надо было беспокоиться. От своих знали, чего ожидать; своих бродяг воспитали и занесли в регистр; одрессировали что надо. Мы же явно не вписывались в шаблон. Мы не были похожи на людей, которым с детства объяснили, где право, где лево, что делать можно, а чего нельзя. Потому они дергались. Да, эти марципановые люди нервничали. Своим видом мы вгоняли этих марципановых кукол в стресс.

“Хех, Юдж! Стресс — это последнее, что им нужно, — учил меня Хануман. — За одно это нас могут посадить!”

От нас держались подальше; на нас смотрели косо. У каждого в кармане мобильник. Если чья-то рука поднималась к виску, мы как по команде вставали и шли.

“Двойной контроль, Юдж, опять двойной контроль”, — цедил Хануман сквозь зубы, сплевывая на кукольный тротуар, проклиная разметку, музыкальные светофоры, стенды с рисуночками школьников. Он проклинал каждый МакДональдс и Спар-киоск, деревья, украшенные воздушными шариками возле детских кафе...

Однажды ночью Хануман помочился на свежевыпеченный МакБургер, потеснивший трухлявую, но все же ухоженную церквушку. “Хэх! Религию здесь уважают, как пенсионеров, — приговаривал он, расстегивая ширинку. — Однако почему-то дети своих стариков топропятся сдать в plejehjem¹. Религия в этой стране существует сугубо в рудиментарном виде. Она есть, но где-то там, в plejehjem. В клозете, пыльный скелет... Бог отдыхает в дурке... Иисус в смиренной рубашке... Пастор, как Иуда со шприцом витаминола, усыпляет свою паству проповедями...” И так далее... и так далее...

Он похихикивал и пускал ленивую струю на то, что когда-то, вероятно, было папертью, а теперь стало макдрайвом. Он мочился, шагая на кривых длинных ногах вокруг паркинга. Светили круглые фонари, бросался в глаза след пролитого кетчупа. Хануман шумно мочился на желтый пластиковый стул. Кожица мертвого воздушного шарика свисала с оградки. Деревья молча вздыхали. Хануман мочился на круглый столик. Дрожали звезды, бились флажки. Хануман мочился на маленькое пихтовое дерево в кадке. Хануман мочился на витрину. Хануман мочился на помойку. Хануман мочился на стеклянную дверь. Он стряхивал последние капли со словами “... вот так... вот так... на вашу новую макбургерную религию... вот так... я сделал... вот так... вашу мать...”

Со словами “и ты тоже проданся” он входил в ольборгский паб, у дверей которого стоял деревянный индеец с кружкой деревянного пенящегося пива и надписью на груди “Я тоже выбрал Туборг”. Кривился всякий раз, когда проходил мимо страхового агентства.

¹ дом престарелых (дат.)

“Вот где настоящие кровопийцы-оборотни сидят, — говорил он. — Они делают деньги на человеческом страхе!”

Смеялся надо мной, когда замечал, что я с грустью смотрю вслед уходящему в Швецию или Норвегию парому. “Не печалься, Юдж. На таком пароме все равно далеко не уедешь, — говорил он, хлопая меня по плечу. — Корабль, на котором датский флаг, идет только в Данию, и никуда больше...”

Его бесило все, что он видел больше двух раз. Радуга в каждом садочке. Темнокожий детина с сахарной ватой. Оглушительная мелодия из Looney Tunes, с которой по городкам крутилась пестро разрисованная машина, продававшая мороженое. Где бы мы ни появились, мы слышали эти скрипучие вопли из мегафона и хохот Дональда Дака, а затем выплывала эта смешная машина, разрисованная мультяшными персонажами. Я высказал предположение, что за нами следят, и тут Хануман облил меня презрительными усмешками: “Этих машин десятки! Не будь параноиком, Юдж!”

Возле каждой школы в погожие дни девочки готовились к выступлению: хорошенькие майоретки в красном и золотом высоко подбрасывали, проворачивались и ловко ловили свои сверкавшие серебром причиндалы, а поодаль конопатые толстушки в трико делали гимнастические фигуры под “Gimme baby one more chance”. Мы садились на скамейку и курили, курили и смотрели, как они упражняются, пили воду и облизывались.

Знаки, надписи на каждом шагу, третье поколение граффити на каждой второй стене; подсветка вдоль дорог, отражатель на каждой штанине и рукаве; рисуночки, полосочки, столбики, стрелочки для велосипедистов, аккуратно выложенные могилки. Почтальон в красном на коричневом велосипеде. Дворники в оранжевом. Почтальон им сигналил и махал рукой. Они махали ему тоже, и давай дальше — гнать воздушной струей беглые красные, желтые, бурые листья... Листья взлетали, проворачивались, падали, подпрыгивали, катились, кувыркались, сметались в общую кучу, которую уже пожирала мини-машина с худенькой пожилой женщиной за рулем.

“Хэхахо! — вскрикивал Хануман. — Что за страна! Этот мир собран как детский конструктор, только разобрать его невозможно...”

Он так собран, что понять его может только тот, кто в нем родился... Так же как и их чертов язык, мать его..."

"Посмотри на этих людей, Юдж! — кричал он мне. — Они не живут — они играют в жизнь. Они играют в жизнь как в Монополию или Бинго-лотто. Они взвешивают каждое слово, как египетские боги сердца! Они прощупывают тебя, как сигнальные ворота на выходе из магазина! Они видят, что ты курил траву, даже если это было в прошлом году. Они учуют в твоей моче, что виза твоя давно истекла. Они прочтут в твоих глазах генетически унаследованные алкоголизм и рабство. Они украдут у тебя твое сердце раньше, чем ты вспомнишь о том, что оно у тебя есть. А потом они сядут в свой скромный Фольксваген и поедут на гриль-вечеринку, а ты останешься стоять в их поле распотрошенным чучелом. На тебя будут гадить вороны, а они где-то, в саду своих друзей будут пожирать сосиски с пивом, и им будет наплевать на тебя... Они о тебе навсегда забудут! Они будут просто скучать! Понял?! С этих ублюдков станется..."

Приступы красноречия, как правило, нападали на него в тумане. Мы часто забредали в туман, потому что таскались пешком, как настоящие датские *længevej ridder*¹. На автобус было не наскрести. Приноровиться подделывать билеты нам не удалось. Да и ехать, ехать нам было некуда.

"Зачем нам тратить деньги на билет, если мы не знаем, куда нам ехать? — говорил сокрушенный Хануман. — Скажи, ты знаешь, куда мы идем?" — спрашивал он меня. Я говорил, что не знаю. "Вот и я не знаю! — орал Хануман. — Я тоже не знаю!" Он был со мной предельно откровенен. Он больше не знал, куда шел, и не скрывал этого. Он больше не собирался в Орхус, — плевать он хотел на Орхус, — эта идея вышла из него вместе с гневом, пеной, потом, криком... Как только приступ миновал, он забыл об Орхусе, и больше никогда его не вспоминал, как будто такого города не было вообще! Я так ни разу и не побывал там, и не проверил: есть там восточный базар или

¹ букв. "рыцари большой дороги" (дат.), так в Дании иронически называют бродяг без постоянного места жительства, их отличает особый вид, они накалывают на себя много значков, одевают странные одежды, таскаются с рюкзаками, чайниками, свернутыми матрасами, чаще всего с коляской и собакой; существует мнение, что они так живут из протеста.

нет. Орхус был забыт, и у нас больше не было цели, — неприкаянные, мы брели по дорогам, от городка к городку, высматривая, где что плохо лежит. Юлландская пустошь затягивала нас все глубже и глубже в свои поля, как трясина...

Мы потрошили баночки с мелочью на беспризорных лотках с клубникой, редисом, пореем, цветами; на честное слово выставленные, попадались они довольно часто, но мелочи в них было мало, а топать приходилось долго... Мы набивали карманы чем попало и тащились дальше, хрумкая морковкой, редисом... Хануман побрякивал мелочью в кармане, бормоча, что в карманах завелась мелочь, это уже кое-что, это уже кое-что...

Мы пили холодное молоко из холодильников фермеров, точно так же у дороги выставленных, набивали карманы сыром и монетами, торопились смыться с дороги. Я уговаривал его свернуть в поле, чтобы фермеры, обнаружив пропажу денег из холодильника или лотка, не бросились за нами в машине. Хануман ворчал, но соглашался. Мы попадали в туман, вязли, плутали, выбирались на дорогу, брели наугад, возвращались к лотку, в котором шарили до того, как вскрыли холодильник. Хануман выходил из себя, ругался, клялся, что больше никогда не свернет в поле. Говорил всякую чушь. Что у него с детства вызывают страх паровые образования, гейзеры, бурные источники и туманы. У него будто бы была фобия. Даже рассказал историю о том, как в детстве они с ребятами лазили по какой-то фабрике в Чандигаре, и его глупый брат дернул какой-то рычаг или вентиль крутанул, что ли, и со всех сторон повалил пар, со страшным шипением. Хануман моментально ослеп, его очки запотели, он метался по фабрике, стучаясь о трубы. Впервые у него случился приступ эпилепсии прямо там, в луже мазута и собственной мочи. Он потерял сознание. Его нашли работяги и вынесли из пара на руках.

Я смеялся, говорил, что единичный случай не может стать причиной фобии, да и такой фобии нет вообще, а если и есть, то она не могла возникнуть так вот запросто. Из-за такого пустяка! Не говоря уж об эпилепсии... Я говорил, что ему нужен аналитик. Хануман злился на меня, а я все равно снова и снова уговаривал его свернуть

в поле. Говорил, что в поле машина не задавит, а на дороге в тумане, когда у нас нет отражателей (он всячески противился носить отражатель), нас запросто может сбить машина. То придумывал еще что-нибудь...

На самом деле я не боялся, что нас собьет машина. Этого я боялся меньше всего, потому что от такой жизни совсем отупел. Сдохнуть было проще, чем бродить вот так под морозящим дождем, переходя из рук ветра юго-восточного в руки ветра западного, северного и так далее. Ветра трепали, залезая холодными пальцами под шарф, в рукава, в брючины, ветра залезали в ширинку, свербил задницу, ветра срывали шапку, вырывали пакет из рук, раздевали, танцевали шайкой взбесившихся призраков. Нет, оказаться сбитым машиной да еще насмерть было бы просто за радость... Этого бояться было как-то даже смешно, и совсем не совестно.

Больше всего я боялся, что нас могут проверить менты. Бредут какие-то, мало ли; один черный, ага, кто такие? Следует проверить документы... И тогда бы началась такая мутотень, что даже думать не хотелось. Потому что менты тебя не пристрелят сразу, а будут по закону веревки вить, мариновать... Однако признаваться ему в своем страхе я не хотел. Хануман был готов им сдаться, открыть дело, просить убежища; у него были обоснования... Только он хотел это сделать сам, а не по поимке. Еще у него была фальшивая «голубая карта» какого-то индуса. Вернее, копия... Уж он-то придумал бы, как отвертеться... Он сам себе противоречил. То дергался, то говорил, что видимых причин бояться ментов на пустой дороге нет и не может быть. Ведь нет никого! Он не верил, что менты могут взяться просто ниоткуда. Он не верил в злой рок. А я верил! Я с детства знал, что менты — это демоны! Но в Дании они не полезли бы в поле. Ни за что. В Дании можно было избежать ментов только оставаясь по уши в дерьме. Я находил сотни причин, чтобы скрыть свои истинные страхи и при этом свернуть с дороги. Выдумывал какой-нибудь маршрут — «срезать поближе к морю», «срезать подальше от моря», «поближе к ферме, чтобы проверить не выставлено ли чего, холодильник или там овощи», — и тогда он сдавался. Шел за мной, и мы попадали в туман. В тумане Хануман начинал терять контроль над

собой. Он кричал, что жутко боится тумана, что он его боится еще с детства. Он, видите ли, однажды потерялся в горах... В горах был туман... Ему казалось, он мог сделать шаг и упасть в пропасть... Он тогда был совсем маленьким. У него приключались с тех пор приступы паники! Я его успокаивал, говорил, что мы не в горах, никакой пропасти нет и быть не может, но ничего не работало, он меня не слушал, бубнил свое.

Оказывается, он боялся тумана по многим причинам. Он боялся в нем не только потеряться физически. У него развился некий онтологический страх перед туманом. Он боялся, что мог что-то забыть, и не что-нибудь, а существенное. Он боялся, что туман мог украсть у него память или душу, вложив чью-то взамен, и тогда Хануман вышел бы из него совсем другим. Например, он вышел бы из него Амарджитом, а это уже совсем другой человек. Или Арджунной, а это уж вовсе беда. В конце концов, туман, по мнению всей его семейки, нес плохие вести, неопределенность, перемены, разброд, раздор, разорение. Меня эти вещи нисколько не пугали, потому что все это, я считал, уже со мной приключилось, и хуже могли быть только менты.

Иной раз в тумане Хануман принимался что-нибудь рассказывать, пересыпая fuck'ами через край. Собственно ругательства, без которых невообразим был его артикуляционный аппарат, как индийское блюдо без чилийских перцев, и были тем топливом, на котором двигалась его элоквенция. Там, в тумане, он рассказал мне все про свою семейку, про свою первую жену и тех несчастных, которых он обокрал, чтобы перебраться из Греции в Италию. Он так ладно плел свои байки, что трудно было уловить, где правда, а где вымысел, или за горой вымысла уловить хотя бы тень правды. Он уснащал свои фантасмагорические монологи никогда не существовавшими историческими персонажами и событиями, придуманными на ходу. Если он начинал плакать, то заходилась до кашля или икоты. Его душила истерика. На него нападали приступы раскаяния. Он признавался в страшных вещах. Приходилось брать его за руку и вести, не то как ребенка, не то как слепца. В какой-то момент полного отчаяния, через слюни, через силу, вдруг, попив воды из бутили, он де-

лал странное заявление, будто только что его посетило прозрение. Затем он вновь включал свой монолог и начинал поносить Данию. Ругать Данию он мог вдоль и поперек, с любого места, с любой буквы в алфавите. Начиная с королевы и заканчивая чем угодно. Порой он просто уже заговаривался, плелся и плел что-то сам себе, как безумный.

“У этих идиотов до сих пор есть королевская семейка. Ха! Посмотрите на них! Они их не убили, как в России. Нет, что ты! Это же развитое цивилизованное общество! Мать его! Ну конечно! Выросли из викингов в космополитов. Падем же им в ноги! Для этого им понадобилось сделать всего один шаг. Им зачем-то до сих пор нужна дворцовая знать. Они так любят традиции. Это часть их истории. Это так важно. Их бескровная революция свершилась за полчаса. Собрался народец в количестве пятнадцати почтальонов и трех дворников с одним большим транспарантом в руках сопливого очкарика-студента, им в окно король выкинул манифест, написанный рукой его любовницы, на чьих губах еще не обсохло королевское семя, окошко закрылось, чтобы продолжить утех, пошел дождик, почтальоны помокли, покурили и разошлись по барам праздновать свою демократию, дворники взяли за метлы, очкарик повесил транспарант на стену, теперь он в национальном историческом музее. Вот и вся революция. Никакой крови. Никаких пулеметов. Ни одного повешенного! Это вам не Россия. Вау, короля они не убили; он им нужен. Они тут как в Англии. Почему не как во Франции? Да потому что в Англии правят их предки. Не совсем предки, но гены, кровяные тельца норманнов, данов, юттов... Они помнят об этом, поэтому англичан уважают. Они их чтят, как двоюродных братьев, они их считают продвинутыми. Еще бы, умудрились всех своих отпетых маньяков и бунтарей сплавить в Америку и Австралию. Вот это решение. Bravo! Хэхахо, дышать стало легче. Не тут-то было: получите парней из Индии и Африки. Они и с ними расправились очень грамотно. Без особой спешки поделили оба континента на такие ровные границы, что смотреть тошно. Живите в любви, идите с миром! И как нам теперь жить? Просто картографический перфекционизм какой-то. Порезали государства на ровные секто-

ра, на изумительно красивые геометрические формы, просто как торт какой-то. Резервации! Кусочек тебе, кусочек мне, а это голландцу кусок, а это французу, а тот кусок пусть заберут себе, там вообще нечего брать, один песок. Хе-хе, самые точные измерительные приборы в Англии. Они их на нас испробовали. Все меры вымерены в Палате лордов. Мера всех мер от генеалогического древа. Предок Мальборо и Дарлингтона с нивелиром в одной руке и весами в другой. Вместо левого глаза микроскоп, чтобы не упустить ничего. Вместо правого телескоп, чтобы шагать веллингтоновыми сапошажищами в будущее. Анджамо! Мир, который построил Джек, измерен футами и взвешен фунтами. И им нужна королева, разумеется. Принцесса в принципе не нужна, слишком хороша, сказочно хороша. *No England is not mythical land of blue birds and roses... it's a land where policemen kill black boys on mopeds...*¹ А в Дании мопедов больше всего, даже больше, чем велосипедов в Голландии. Никогда не видел столько мопедов. Они даже придумали свое слово: *"knallert"*². Поразительно! Ты слышал об этом? Или ты сам мне это сказал? А тебе это сказал, кажется, твой родственник, если не ошибаюсь, я прав? Не имеет значения. В тумане нет родственников. В тумане вообще ничего нет. Есть только слова, которые теряют смысл. Эти два, последние два новых слова в датском за последние сорок лет: одно — *"мопед"*, другое — *"водород"*. Уха-ха-ха! Им не нужна водородная бомба, они придумали новое слово. Лучше б разогнали туман, да избавились от трутней. Нет, им тоже нужна королева во дворце. Конечно, зачем дворцу пустовать? Музей, и в нем живая музейная реликвия. Почтище музея мадам Тюссо. Хэх, исторический заповедник, живая королева. Посмотрите на нее, в жилах этой женщины течет кровь Хольгера Датчанина. Хо-хо! Это покруче динозавра. Мамонта. Инопланетного гостя. Это НАША королева. Они тут точно как муравьи. Как пчелы, чтоб их. Насекомые. И нужна им эта королевская семейка, чтобы фотографировать их, читать про них в таблоидах, наряжать ее, кормить ее и про них меж собой судачить.

¹ Англия — не мифическая страна синих птиц и роз... это страна, где полиция убивает черных парней на мопедах (англ.)

² мопед (дат.)

Деревня. Им тут не о чем больше говорить. Чья корова сколько дала молока; у кого сколько свинья принесла поросят; и про королеву между коровой и трактором. А потом про то, что у Йенса курица несет яйца крупнее, чем у Нильса; а у Хайди титки больше, чем у Бирте; а у Нильса хуй длинней, чем у Йенса; а ты сама откуда знаешь? Хэ-ха-хо!"

Он без предупреждения останавливался, и стоял столбом, с безжизненно свисающим шарфом, как старинный аграрный прибор, жердина с грузилом на веревке. Так он стоял, с видом громом пораженного человека, которому открылась истина или которому сообщили что-то страшное. Мог простоять минут семь, без движений. Без каких-либо даже внутренних движений. Даже не моргая. Слово его выключили. Посреди тумана, сквозь стены которого могли проглядывать очертания или огоньки ферм, а могли и не проглядывать. Он стоял и ни на что не реагировал, вызывая во мне ощущение катастрофического одиночества. Затем он клал мне руки на плечи, наклонялся, заглядывая мне в глаза, словно стараясь высмотреть не пожелтели ли они от гепатита, и после длительной, насыщенной бурным дыханием паузы, Хануман говорил, опять же через fuck: "Юдж! Чертов сукин сын! Ты понимаешь меня или нет?.. А!.. Когда ты поймешь?.. Когда ты увидишь картину целиком?.. А?!.. Когда, я тебя спрашиваю?.. Когда ты перестанешь быть идиотом?.. Ты что, не понимаешь, в каком мы с тобой завязли дерьме?.. Это не мир, а какая-то куча навоза?.. Силосная яма, черт подери!.."

Хануман брал мою голову в руки, смотрел в меня, как в хрустальный шар, сквозь который он надеялся заглянуть в иные миры, и шептал: "Неужели ты ничего не помнишь? Ты все забыл!.. Чертов ублюдок, ты все забыл! В этом Богом проклятом мире мы можем только изворачиваться! Эти гиены нам не оставили ни шанса! Эти шакалы все растаскали!.. Нам бросили кости сгнившей собаки!.. Нам ничего не остается! Лезть из кожи вон, чтобы выкроить себе лоскуток одеяла, минутку сна, вот что нам остается! Все почему? Потому что эти сытые твари разобрали тепло по калориферам! По комнаткам! Все тепло ушло в трубы! В проклятые трубы, Юдж! Да! Стервятники! Они заперли любовь в банках, в сейфах! Акции розданы!

Инфляция! Для таких как мы — очередь за пособием по безработице! Тарелка супа! Блохастые бомжи! А эти гниды, жирные особи неизвестно какого пола, они царственно и благородно дают нам тепло в кредит! Забирая последний вздох! Билет в кино, это вся любовь! На пять минут! За всю жизнь! Гнильца в глянце! Целлулоидные гуманоиды! Богоподобные андроиды в лимузинах! Пробка шампанского в твоей заднице! Ты понимаешь меня?.. Ты слышишь?.. Все испортил европеец! Гот, гунн, гуигнгм! Западноевропейский мозг все испохабил! Ты же — славянин, мать твою! Не так ли?.. Я надеюсь, что я не ошибаюсь... Ты не какой-нибудь финн, а? Не немецкий переселенец в Казахстане, а? Ты — славянин! Я — индус! Мы с тобой оба жертвы европейской цивилизации! Как же ты не поймешь этого! Ты же читал Кастанеду!..” И так далее, и тому подобное...

Я, конечно, мог притвориться, что все помню и прекрасно все понимаю, Ханни, all right! Роль западноевропейского мышления в ускоренном движении к великому концу, апокалипсис в трех минутах езды на бумере по автобану, о-хой! Конечно, Ханни! Ты и я! Против всех! Я помню о нефти! Я помню о газе! Все, все помню, каждое тобой сказанное слово выгравировано у меня на груди! Я помню о нашей миссии! И т.д., и т.п. С ним нельзя было расслабляться. Надо было юлить. Ему надо было поддакивать. Перечить ему было нельзя. Это было равносильно самоубийству. Ведь его носило, как лодку в шторм. Начни вякать, и поглотит пучина безумия...

Хануман отпускал мою голову. Он делал шаг, другой, оттопыривал губу, и брезгливо выплевывая слова, шагал, точно своей слюной очищал перед собой пространство. От королевы, куриц, яиц, он мог перейти к экономике, социальному обеспечению, и глубже, вплоть до викингов, которые в мир несли и распространяли хуже всякой чумы только вульгаризацию, вандализм и разрушение. Он доходил до того, что уже просто называл Данию двумя буквами — DK (Danish Kingdom) и произносил он их никак иначе, как “decay”¹. Затем Дании (и Европе с германскими племенами в целом) он начинал про-

¹ игра слов, построенная на произношении звуков “d” (ди) и “k” (кей) кратко обозначающих датское королевство — DK, созвучных со словом декау, которое по-английски значит: «распад».

тивопоставлять Индию, которую восхвалял безмерно и напыщенно, чуть ли не в стихах!

“О, Индия, колыбель всех языков и цивилизаций! Родной Пенджаб! Страна пяти рек, древнейшая страна! Мохэнджодаро, слышал про такое? Стыдись, Юдж! Такое не знать, это даже не невежество, это просто порок. Страна, где родились боги всех мифологий. Где Куш и Лав поют Рамаюну. Где танцует Шива, где в садах растут камни. В складках молочной ткани роятся золотые осы и алмазные россыпи! О, родной Чандигар! Город цветов, город, который строил сам Ле Корбузье. А университет, в котором я, теперь клошар, когда-то имел честь и счастье учиться и творить свои непризнанные шедевры! Этот пятизвездочный университет был спроектирован целиком самим Ле Корбузье и таким образом, что двадцать четыре часа в сутки студенты могли бы рисовать или лепить, или писать, или плясать, или чертить, или пить, что угодно — двадцать четыре часа при естественном свете, просто передвигаясь вслед за солнцем из аудитории в аудиторию, до бесконечности. Хэхахо! Юдж, это почище самого UCLA. О, Индия! Страна с такими длинными ливнями и такими совершенными и в принципе не необходимыми ирригационными системами, это страна длинных рек, длинных дорог, набитых поездов и пустых кошельков, это страна поэтов, творчества, любви и созидания. Страна красок и улыбок. Страна песни и пляски. А эта Дания... Что это за страна? Плюнуть некуда. Это не страна, — кричал Хануман. — Это аптека!”

Но больше всего он не выносил самый расхожий в датской провинции тип мужской человеческой особи. Людей в синих комбинезонах, с пометом краски на плечах, с карандашами, заткнутыми за лямку, с мобильным телефоном, выглядывающим из нагрудного кармана, с пачкой сигарет в кенгурятнике на поясе, с очень сложным запахом, смесь зубной пасты, кофе, табака и одеколона. Они были повсюду. И они всегда были при деле. На них и держался этот мир, в котором Хануман никак не мог найти себе места. Потому что они построили этот мир, не принимая во внимание возможности проникновения в него таких личностей, как Хануман или я. В присутствии этих людей он чувствовал себя неуютно; ему становилось

холодно; он начинал сжиматься под их взглядами, ерзать, теребить мочку левого уха, или зачем-то проверял свой мобильник. Он не носил манеру этих людей говорить громко и шагать широко, ступая намеренно тяжело, при этом поводя ручищами с закатанными рукавами. Ханумана всякий раз бросало в дрожь, когда ему попадались их лепные отчетливые следы на земле. А следы как назло были повсюду. Это он ненавидел больше всего. Следы были ему как бы укором. Они напоминали ему о призрачности его существования. О том, что сам он скользит по миру, не оставляя практически никаких следов, так как ему не удастся уцепиться за жизнь, уходящую у него из-под ног, выскальзывающую из рук безгранично скользким шелком. От этого Ханни впадал в отчаяние, начинал страдать и ненавидеть все вокруг еще больше.

Он ненавидел по-коровьи кривые жующие рты фермеров. Он ненавидел фермы, застывшие в шахматной задумчивости на окраине надвое разделенного поля, по которому камерно, как по доске, передвигались сонные фигуры коров. Не мог слышать датскую речь; ненавидел киоски и магазины; мальчишек и девчонок в красной униформе Бругсена и синей форме Рима 1000; их кепочки резали глаз; их лаявшие голоса терзали ухо. Запах рыбы, мешавшийся с дешевым ольборгским шнапсом, сбивал его с ног. Выхлоп “Гаммель Дэнска”¹, пробивавшийся сквозь клубы табака “Самсон”, вызывал изжогу. От кислых рож заскорузлых неудачников, нашедших свое счастье в садоводстве, у него начиналась икота. Кофе из автоматов действовал на его печень, а дешевый Карлсберг — на почки, он страдал несварением и жаловался на боли в пояснице. В каждом прохожем он подозревал шпика. За каждым окном мог быть мент. Он был законченный параноик. С ним было непросто. Его хорошее настроение ломалось, как хрустящие палочки; настроение его менялось часто, как часто расстраивающийся в тропиках инструмент, сделанный где-нибудь в Европе, или наоборот. Он противоречил себе и каждому. Спорил из-за мелочи. Он был капризный, и угодить

¹ датский алкогольный национальный напиток со специфическим привкусом. — “старый датский” (дат.)

ему было тяжело. Если я не соглашался хандрить вместе с ним, он начинал на меня дуться и присовокуплять меня ко всему остальному миру, с которым мы условились вести непримиримую войну. Впасть в депрессию он мог сразу, глубоко и надолго; причиной могло быть все, что угодно, причину искать было не нужно. Причин было достаточно вокруг. Направь свой взгляд в любом направлении и ты сразу же найдешь сотню причин для депрессии. На него, например, навеивали тоску гренландские эскимосы, которые никак не могли отойти от своего бесконечного похмелья. И он страдал за них. В Индии испытали атомное оружие, и это ввергло его в расстройство. Он объявлял нам, что в эту страну он теперь точно никогда не вернется. "Страна, — говорил он, — в которой придумали буддизм и испытывают атомное оружие, это самая лицемерная страна в мире... и в ней жить я не буду!"

* * *

Он бывал всяким. Он мог показаться ожесточенным. Мог с презрением пихнуть плечом старика. Мог нахамить старухе. Девушки с прозрачными глазами, цветными водорослями на голове, с пирсингом в пупке и татуировкой на крестце в нем пробуждали только животные чувства, граничащие с жаждой насилия. Когда Хануман видел банк Юникорн, вырастающий из здания почты, что имело место практически в каждом ничтожном городишке, он сжимал зубы и злобно играл желваками. Но и эти сильные чувства, достойные уважения да и только, могли быстро угаснуть, и Хануман мог загрузить, уйти глубоко в себя; не докричишься.

Его бесила тупость и медлительность фермеров; вводил в уныние беспрестанный бриз, то плевавший в лицо дождем, то харкавший верблюжьей слюной мокрого снега. Его угнетали сумерки, в которых все растворялось, и он сам боялся в них раствориться, поэтому передвигался по городу от столба к столбу. Но и желчно-желтый свет фонарей он тоже ненавидел. В сумерках плодились шорохи, шепот, шаги, звон бьющихся бутылок, эхо и отголоски вчерашних голосов. Ханни казалось, что он тоже скоро станет отголоском своего вчерашнего голоса, и тогда будет поздно, тогда его будет уже не вернуть. Ему останется только разбиться в сумерках бутылкой.

Его тяготила обстановка в лагере беженцев, в котором мы застряли на несколько месяцев. Лагерь был похож на вокзал, где далеко не для всех поездов были проложены рельсы; и не на все поезда, что пролетали сквозь нас, продавались билеты; и если все-таки какие-то и продавались, то было не ясно, кем и как, и где кассы, или кто хотя бы кассир? И как всегда была неразбериха с расписаниями...

Некоторое время его действительно занимали загадки Директората, о котором столько все вокруг толковали, и о котором столько лет писал мне дядя. Тогда мне казалось, что мой дядя просто потешался надо мной, студентом, выдумал себе какой-то Директорат и сочиняет о нем свои письма, но, как оказалось, это было не так. Директорат существовал на самом деле, это подтверждали хотя бы письма, которые получал Непалино в ответ на свои петиции. Хануман, как и мой дядя когда-то, носился с подобными бумагами, бродил коридорами, слушал разговоры, записывал, собирал документы, читал, пытался анализировать, отслеживал следы виртуального существования Директората в интернете, даже овладел достаточным количеством бюрократических терминов и формулировок на датском языке... Но опять же — достаточным, чтобы производить впечатление сведущего человека, но все-таки далеко недостаточным, чтобы понять, как работает эта машина. Он вскоре забуксовал, отчаялся и сдался, рассудив, что понять, как можно получить право на проживание в этой стране, так же трудно, как взломать сейф нью-йоркского банка. Поэтому проще грабить.

Постоянное движение кочевников тревожило Ханумана; смена персонажей в лагере оставляла осадок горечи и недосказанности; с каждым днем нарастало довлеющее над душой ощущение, будто он не успел на свой поезд, отстал, вынужден ждать, но уже поздно — поезд сняли с маршрута, он больше никогда не придет, и надо бежать, но он не понимает куда. Это ощущение распухало, теснило грудь. У него начиналась мигрень. Мигрень глодала его, изводила, как зубная боль. Он не знал куда себя деть. Становился серым как пепел, скрежетал зубами и стонал во сне. Ведь даже во сне он пытался решить тайну Директората.

Страдать мигренью он начал еще в первые дни нашего знаком-

ства, когда мы проживали с ним в пристанище для нелегалов, под прикрытием одного предприимчивого курда, который знал, как пристроить руки людей без документов, да так, чтоб не платить им. Мы жили в его отеле, в ожидании фальшивых документов, с помощью которых, как внушал нам курд, мы смогли бы устроиться в этом мире как боги. Или человека, который обеспечил бы нас такими документами, или не документами, а легендой, нужными словами, которые открывали бы перед нами все двери... В общем, чего-то такого невероятного мы там ждали, пахали на курда как черти! Не вылезали из нашей маленькой комнатенки совсем. Окно у нас было насмерть задраено, ни лучика света не проникало. День наш был так плотно расписан, что у нас не оставалось ни секунды даже на посторонние мысли. Это была круглосуточная вахта. Нам приходилось делать все: нарезать салаты, набивать шавармы, литрами варить кофе, драить полы и починять какие-то игрушки. Хозяин нам продыху не давал, за глаза мы прозвали его Хотелло. Отель этот находился у побережья, в небольшом портовом городишке Фредериксхавн. На самом севере, на отшибе вообще. Там Ханни нашел одну достопримечательность. Это было окно в небольшом двухэтажном домишке. Домишко был старенький, вероятно, столетней давности, но он так же неплохо сохранился, как и их датские столетние пенсионерки на самокатах; нам часто приходилось видеть, как они бодро въезжали в супермаркеты, как распахивали молодежь в порту, пробивались сквозь толпу со своими сумками и чемоданами на колесиках. Это окно было шедевром Фредериксхавна. Хануман его называл выдающейся картиной, подлинно отображающей всю глубину убожества датского захолустья, весь его убийственный сплин. Когда бы мы ни подошли к тому окну, мы видели одно и тоже: девушка сидела на софе перед телевизором, забросив ноги на столик, развалившись в кресле, она курила, курила и сонно смотрела телевизор, на лице ее была скука, медленно сменявшаяся отвращением, каковое возникает, когда перекуришь.

Хануман был поражен этим окном. Он говорил: "Ты погляди, Юдж, какое окно! А какое оно низкое! Это окно, оно на уровне пояса. Да еще не задернуто ни занавесками, ни жалюзи. Совершенно откры-

тое для всех глаз, оно больше, чем открытая дверь. В такой квартире нет никакого интима вообще. Зачем оно вообще нужно?"

Потом Хануман часто говорил об этом, об этой показной распахнутости, "велькоменности", с кубиками льда в кармане души. Тогда, в одну из наших первых робких прогулок по Фредериксхавну, он посмотрел на девушку перед телевизором, цыкнул зубами и сказал: "Посмотри на это, Юдж. Ощути тоску человеческого бытия... эта девушка в пятницу вечером сидит и смотрит телевизор. Одна! Смотрит телевизор и курит. Ее уже саму тошнит и от сигарет, и от того, что она видит по телевизору. Ее сейчас вырвет от такой жизни. Но она продолжает сидеть и пялиться в экран! Вот это да!"

Через несколько дней мы опять с ним вышли пройтись, и опять прошли мимо ее окна; и она там снова сидела перед телевизором и курила. Телевизор бросал на нее блики, она пускала дым и смотрела телевизор. Потом мы специально стали ходить и смотреть, проверять, сидит ли она перед телевизором, и она всегда исправно была на месте, точно работала. Хануман потом как-то сказал мне: "Как много в Дании можно узнать только заглядывая в окна. Практически все. Все можно узнать о людях этой страны. И книг читать не надо. Только ходи да в окна заглядывай. Во-первых, они не закрывают свои окна; во-вторых, жизнь их пуста, но набита безделушками, такими как фарфоровые мальчики в соломенных шляпах со сползшими штанишками. Или эти русалочки. Они везде! А их флажки! А их гномики, тролли... Хэхахо! Да чего только нет! В-третьих, обложенные всем этим мусором, они умирают от скуки, потому что они полные идиоты, ограниченные тупицы, поэтому их можно голыми руками брать, Юдж!"

Но как время показало, он был не совсем прав, не совсем...

* * *

Еще Ханумана сводил с ума запах датской провинции. Два раза в год — раз весной и раз осенью — все поля на Юлландском полуострове орошались удобрениями, это длилось какие-то две-три недели, и в этот короткий период времени жизнь на Юлланде становилась невыносимой. Раз Ханни сказал, что чувствует себя словно посреди чумной эпидемии, которая убила всех жителей в округе,

и трупы, которые некому хоронить, лежат и разлагаются, только их почему-то не видно.

Запах, что поднимался с поля, на которое выходило единственное окно нашей комнатухи, был особенно едок и терпок, видимо, потому что мешался с вонью отходов из нашего лагеря. От этого запаха даже ело глаза. Ханумана он доводил просто до белой горячки. Его переклинивало, он срывался и убегал, прыгал в первый попавшийся автобус и ехал, пока не кончались поля, пока не появлялась синяя полоса моря, волновавшаяся, вздыхавшая под тяжелой свинцовой стеной серого неба. Тогда он выходил из автобуса и шел к берегу. Он шел, слегка увязая в песке. Слепыми, немного нервными пальцами извлекал на ходу из пачки сигарету. Подходил к каемке моря, кланялся этой гигантской пенящейся медузе, как матери, говорил ей свое “намастэ”, касаясь пальцами воды, точно края сари у ног, и закуривал. И так он стоял там подолгу, совсем один, отвернувшись от всех нас, забыв о всех нас.

Потом, когда он высказывал какую-нибудь мысль, он мог ей приписывать ее “прибрежное” происхождение; мог сказать, что пришла она ему в голову у моря.

Таких мыслей я насчитал три; возможно, их было больше, но я запомнил только три. Первая касалась достижения мирового господства посредством абсолютизации крайне левого вкуса и эстетического террора. Что такое крайне левый вкус, я понимал очень смутно, если не сказать больше: не понимал вообще. Об эстетическом терроре я думать даже не пытался. Вторая мысль, якобы посетившая его у моря, была высказана им на очередной обкурке, кажется, в замке мистера Скоу: “А вот любопытно, — сказал он в клубах дыма. — А замочил ли ноги Иисус, когда ходил по воде? Что об этом говорит Библия, Юдж? Ты не помнишь? Эта мысль мне пришла в голову у моря, как раз тогда, когда ты глотал вонь помоев и азулянтского дерьма, а я отдыхал на песке, на пляже... Ха-ха-ха!” И третья, третья мысль была связана с Лолландом, он сказал, что понял у моря, что хочет ехать на Лолланд. Точней, об этом он уже давно говорил, но раньше Лолланд в его монологах всплывал как некий мираж или греза, праздная и не более. Но после одного

из своих бегств к морю от невыносимого смрада удобрений он стал одержим этой идеей. Он только и делал, что говорил о Лолланде, о том, что надо немедленно туда ехать. “На Лолланд! На этот скандинавский парадиз!” — кричал он, широкими шагами агронома пересекая футбольное поле. “Вперед! На Лолланд!” — кричал он, как полководец. “Прямо сейчас! Туда, где полунагие девочки извиваются в бассейнах, как нерпы... туда, где экстази падает в рот, как метеоры в зев океана. Туда, где музыка и буйство. На датскую Ибицу, на Лолланд!”

Но зачем он хотел ехать на Лолланд, я, к сожалению, не помню. Я помню, что он говорил, будто ему пришла потрясающая идея в голову, когда он был у моря; он даже вошел по колено в ледяную воду; так его поманила мечта, нарисовавшаяся в пенной волне. Я помню, что он тогда вернулся, весь нервный, наэлектризованный, безумный. Он вошел в нашу темную холодную комнату со словами “Юдж, мы едем на Лолланд!”, а через два дня он опять все бросил и убежал. И я уже не мог вспомнить, зачем он хотел ехать на Лолланд.

Наверное, я не мог вспомнить этого, потому что ко всему в ту пору был невнимателен. Мне на все было наплевать. Тем более, я не верил во все эти азулянтские сказки про парадиз. Сомневаться в Лолланде я начал сразу же, еще прежде чем услышал, будто Маис, молодой армянин, что-то знает про Лолланд. Этот пустобрех дескать тоже много слышал чего такого про Лолланд. Он авторитетно накручивал на пальцах четки и уголком рта сообщал, что на Лолланд едут только, чтобы оттянуться, подьебнуться, и уж если попал на Лолланд, без бабы точно не останешься. Я в это не верил. Этот идиот не умел воровать вообще, но был настолько жаден, что не мог не воровать. Он крал, что получалось, какие-то лифчики, попадался на мелочах (кусок мяса, например, который выпал у него из-за пазухи у самой кассы). Мы спрашивали его, зачем он крадет лифчики, уж не фетишист ли он, — смеялись, — он серьезно говорил, что продает их арабским женщинам. Никто, конечно, не верил ему. Арабские женщины вообще ничего не покупали, потому что у них не было денег, деньги были в руках их мужей. Маис даже этого не знал! Он поч-

ти ничего не ел. Он берёг свои покет-мани¹. Пасся всегда на кухне возле тех, кто готовит. Его кормили из жалости. Он говорил, что не готовит и не покупает еду просто потому, что не умеет готовить. Он был фанатом Аякса, украл футбольные трусы, носил их как реликвию. На футболку так и не сподобился. Мечтал уехать в Германию, часами стоял перед картой, водил по ней пальцем, показывал всем границу, место, где он ее перейдет... Там даже образовалась дорожка, след от его грязного пальца, как от слизняка на листке. Так и не решился, — думаю, потому что по слухам в Германии азулянтам платили меньше, — он не мог этого перенести. Он был не способен принять решение. Он мог только болтаться вокруг да около и сплетничать. Особенно сплетничать он был горазд. Про тамильцев он говорил, что они все педерасты. Он якобы видел, как они бросали жребий. Про нашего китайца, когда у него завелась подружка, Маис тоже так брезгливо сказал, что подглядел через щелку в окне, как тот зарылся у нее между ног и чавкал как свинья! "Целый час! А он у вас тут еще убирает", — бросил он язвительно, как плевок. Еще неизвестно, что он про нас мог плести. Уж ничего хорошего, это точно! Он к нам пытался притереться только потому, что его ото всюду гнали, и в первую очередь свои же, он их позорил своей тупостью, неумытостью, недобритостями. А для армян это очень важно: быть на пиджаке, с отутюженными стрелочками. Культура! Этот мальчишка с квадратной головой ходил в грязных спортивных костюмах, он влезал во все открытые окна и крал все, что подвернется под руку. Зачастую рвал себе штаны. Ничего путного, конечно, не находил, потому что никто давно ничего не держал в комнатах. Хануман ему однажды сказал, что, если он попытается влезть в наше окно и что-то украсть, или если Хануман хотя бы заметит, что что-то пропало или просто сдвинулось, то он пойдет прямо к нему и надерет ему, мальчишке, зад. Тогда Маис, дебилно улыбаясь, спросил: "А как ты узнаешь, что это был я?"

Но в наше окно не влезал, несмотря на то, что Ханни его всегда держал распахнутым. Маис был просто трус. Он крал утюги и каль-

¹ пособие, которое азулянтам выдается на карманные расходы

куляторы в дешевых магазинах, где не было сигнальных ворот, где всем было наплевать, где уют в лучшем случае стоил пятьдесят крон. Там он был просто король. Мог сразу три утюга вынести. Никто их у него не покупал! Но ему надо было возвращаться с добычей, а не с пустыми руками. С полным пакетом, с рюкзаком, набитым чем-то увесистым, все равно чем, хоть камнями, главное, чтоб бабы на кухне видели, что Маис что-то втащил в свою комнатку. А что он там втащил, и как скоро это вылетело в контейнер, то было не так уж и важно! Что он мог знать про Лолланд, спрашивал я себя. Ничего! Он мог рассуждать о ценах на билеты, о поездах и паромах, да, он откуда-то знал, или притворялся, что знал, сколько стоило доехать до Лолланда...

“Триста крон всего лишь, — авторитетно говорил он. — Да! Триста крон мне надо, чтобы доехать до Лолланда!”

Говорил так, будто у него не было заначки, будто не было в ней трехсот крон!

“Гораздо меньше, чем с Борнхольма, ахпер! С Борнхольма все пятьсот будут там!”

Я не мог этого слышать. Это была полная чушь. Хануман тоже ухмылялся:

“Пятьсот крон с Борнхольма... Куда? Маис, зачем ты поедешь на Борнхольм? Чтобы с Борнхольма на Лолланд поехать?” “Зачем он мне так говорит? — возмущался Маис, обращаясь ко мне. — Скажи ему, что я сам понимаю, что на Лолланд поездом можно ехать... Двести километров в час!”

Едва сдерживая улыбку, я перевел это Хануману. Он выразил недоумение: неужели на Лолланд идут поезда?

“Конечно, идут! Как не идут?! Обязательно! У них везде поезда идут... Двести километров в час ихние поезда едут! Даже в Швецию, даже в Германию... Двести километров! Раз и там! Сегодня здесь, завтра уже там! Только паспорт надо иметь, а то они проверяют...” “Маис, поезда в Швецию и Германию не идут, не идут!” “Как не идут?! Я сам план видел!” “Это был план! — надрывался Хануман. — Проект, понимаешь! Проект! На будущее... Юдж, переведи ему...” “Не надо мне переводить! Что я не понимаю, что ли! Прекрасно понимаю! Проект!”

Откуда я знаю: проект-моект... Скажи ему, что паромы и поезда, все идут... Даже автобус идет! Как хочешь, так и едешь... Триста крон! Одинаково стоит! С Борнхольма пятьсот..." "В оба конца до Копена и обратно — пятьсот крон! С Борнхольма! И причем тут Борнхольм, Маис? Мы говорим о Лолланде! О Лолланде, Маис!" "Знаю, что Лолланд... Не дурак! Я просто цены сравниваю..." "Цены он сравнивает... Как ты отсюда поедешь до Лолланда?" — спрашивал Хануман.

И тогда Маис цокал языком, медленно вставал (сперва вскидывал складки на лбу, потом отрывал зад), тащил нас всех к карте Дании, которую повесил Тико в их билдинге, показывал: "Вот Фарсетруп, да, брат-джян? Переводи ему, Женя-джян, я плохо английский знаю...", и продолжал: "Вот тут станция... Тут садишься в поезд, да? До Рингстеда, понял? Запоминай! Дальше пересадку делаешь... Чтоб был Ньюкобинг Ф... Запомни, Ф... Оттуда до Лолланда... А вот тут есть паромы... Из Копена триста крон на пароме до Лолланда... Я все знаю... Из Лолланда в Германию паромы тоже идут, брат-джян! Думаешь, я просто так на Лолланд собираюсь? Не-ет, я думаю, как в Германию Маис пойдет... Паром — это вариант, ахпер, вариант..."

Это была полная чушь. Он вообще не понимал, о чем говорил. Зачем мы перлись к карте?! Карта послужила путеводителем по его помешательству: Германия, Германия... Триста крон! От Фарсетрупа до Копена было не меньше пятисот. Мы и так это знали.

"Я думаю, даже меньше будет, — сказал Хануман, когда мы отделились от Маиса. — Каких-нибудь сто крон, не больше... Это ж так рядом! Рукой подать! Главное, до Шилэнда доехать... Вот на что нужны бабки... А там-то, если с умом подделать билет... Интересно, там как, клиппекорт или натурально билет в кассе покупать надо? Как думаешь, Юдж?" "Понятия не имею, — шмыгнул я. — Одно понятно, Маис полный дурак, и толку от того, что он там говорил, никакого!"

Конечно, он был полное фуфло, этот Маис. Фуфло! Он мог только воображать, что куда-то поедет. Я запросто мог представить, как он врал в других лагерях ребятам помоложе, что бывал уже и на Лолланде, и в Германии, и в Швецию ездил паромом из Хельсингёра, и везде совершал подвиги, разумеется, бомбил магазины... Запросто!

Нигде он не был и ничего не знал! Он мог только дрончить на картинки. Это все, что он мог. Куда ему до Лолланда? Какой там подвезнуться? Что он видел в жизни? Что он там плел про Бельгию? Про ювелирные магазины, которые он якобы грабил? Про джип, в котором он перевернулся, когда за ними гналась полиция? Его фантазии были на уровне дешевых боевиков. Раз мы шли с ним по улице Ольборга и мимо нас проходили две симпатичные датчанки; он зачем-то стал громко со мной говорить по-французски, и произносимое им было просто набором слов, которые он знал: “Алёр мон ами, ту тапель Эжен э муа аппел Маис е ну вивон иси а Данмарк е се бьян, нес па, мон ами? Кес ке ту панс, туа, э?”¹ Пусть они думают, что мы франчики, да? Говори, говори... Может, клянут...”

О, идиот! Неслыханный придурок! Зачем он увязался за нами в Ольборг? Как он там опозорился! Он нигде, кроме трансферных лагерей, не бывал. Разве что в Тострупе и Роскиле. Там он крал фонарики и игрушечные пневматические пистолеты. В Ольборге он тут же попался в магазине мобильных телефонов. Он сказал нам, “Погоди, ахпер, тута; я сейчас работать буду, Женя-джян, смотри, брат-джян, как Маис работать будет, сейчас говорить на свой телефон Маис будет”. Вошел в магазин, а я закурил. Не успел докурить, как взвились алармы; такой шум-гам, просто ярмарка. Мы мягко снялись со скамейки и двинулись дальше.

“Пу-хе... Слава богу, попался”, — вздохнул Хануман.

“Да, слава Богу, мы не увидим этого идиота до вечера...”

Но он не показывался тогда в лагере неделю; ему было стыдно, он прятался, гордый орел не мог снести позора. Кретин. Что он мог знать про Лолланд? Он ничего не мог знать про Лолланд. Маис был идиот. Кретин. Тупоголовый ублюдок. Нет, слушать таких придурков, как Маис, это уже диагноз. Потому все, что там болтали про Лолланд, это все брехня. Эти сказки, как сыпь или чесотка, передающиеся через рукопожатие. Это все инфекция пустого, ничем не занятого ума азулянтов. Я не понимал и не хотел понимать, за-

¹ Итак, мой друг, тебя зовут Эжен и я звать Маис и мы живем здесь в Дания и это хорошо, не так ли, мой друг? Что думаешь?

чем Хануману понадобился этот островок. Зачем ему Лолланд? Чего вдруг ехать в Марибо, Наксков, если он, сколько я его знал, все время ехал в Америку? Он просто бредил нью-йоркским Сохо! Мог перечислять все укромные закутки, барчики, ресторанчики и магазинчики; так рассказывал о Сохо и его обитателях, будто там уже проживал, будто знает там каждую собаку, будто у него по Нью-Йорку настоящая ностальгия. Он уже выработал в себе вектор жизни. Он не сидит на месте, нет, Хануман едет в Америку. Туда он едет всю жизнь, как угодно, на чем угодно, через какие угодно страны. То через Гренландию и Канаду. То через Исландию, в которую едет через Фарерские острова. То через Аргентину с пересадкой в Кардиффе. Но конечный пункт никогда не менялся, никакая другая географическая точка планеты никогда не объявлялась конечной. Ничто не было так важно, как Штаты. И вдруг... Марибо, Наксков... Что такое Лолланд по сравнению с Манхэттенем или Калифорнией? С тем же Сохо. Да ты что! Не звучит. Не шокирует. Не впечатляет. Кому теперь ни скажи, что едешь на Лолланд, все будут смеяться. Мы же всегда ехали в Нью-Йорк, Хануман... этот Вавилон... как же так, Ханни!

Я не видел смысла в новом направлении. Зачем? Я уже свыкся с тем, что он едет в Америку; я свыкся с тем, что и я туда как будто бы еду... Зачем нам Лолланд? То ли дело Америка! В том-то и состояла для меня исключительность Ханумана, в его несокрушимой вере, что рано или поздно он там окажется. В своем воображении я его туда прописал сразу. Выворачивая время наизнанку, я с ним говорил как с человеком, который уже приехал оттуда. Хануман для меня был не просто человеком, он был частью мифа, про себя я его называл: "Хануман, Человек-из-Сохо".

Поэтому мне было бы трудно привыкнуть к новому направлению его мечты. Все, что шло вразрез с американским мифом, меня нервировало. Он не имел права отклоняться. От этого зависело все! Его преданность мифу сообщала мне иллюзорную сохранность. Я считал, что он должен был беречь свою Америку, как лампу Аладдин! Без Америки он был ничто. Пустое место. Думаю, он и сам это понимал... Но самое главное, это формула, которую я для себя вывел, формула, которую мог породить только мой до бела раскаленный

грибами ум: до тех пор пока Хануман едет в Америку, я не еду домой. Идеальный эквilibrium! Фантастический баланс! Чем дольше Ханни ехал в Америку, тем дольше я не ехал домой. Судя по тому, как Хануман приближался к своей мечте, я никогда не должен был вернуться в Эстонию. И меня это устраивало. Все остальное меня не волновало. Поэтому я помогал ему, чем мог. Мы заключили наш договор на чердаке у Хотелло; я поклялся, что буду ему способствовать в достижении его цели, если он гарантирует мне вечное невозвращение. Мы скрепили нашу клятву бутылкой контрабандного виски, которым торговал курд. Именно тогда, ночью, на чердаке, под завывание сквозняка и скрип половиц, я услышал о том, что Хануман знал тысячи историй о том, как люди уезжали в Америку; он собирал их с малолетства. Он бродил по дворам и слушал рассказы стариков. Он приставал к морякам в Бомбее, точно прося милостыни. Он ночевал под окнами молодых девушек, к которым тайком забирались солдаты: "Потому что солдаты всегда девушкам плетут всякие истории в койке, — объяснял Хануман, — и самая излюбленная история о том, как солдат побывал в Америке!" Той ночью он рассказал мне самую последнюю, которую услышал от одного сомалийца в Швеции, незадолго до того как переметнулся в Данию. Это была печальная история о том, как 23 сомалийца отправились в Америку на корабле, но, когда на полпути капитан обнаружил, что их вдруг стало 24, он приказал вышвырнуть одного за борт, потому что ему заплатили только за двадцать три человека. Поэтому Ханни всегда мне говорил, что ни за что не станет ни с кем объединяться. "Только ты и я, и все. Никого больше! Никаких групп! Группой перемещаться очень опасно, — говорил он. — Особенно если не ты сам договариваешься с проводником!"

Его любимый персонаж был Синбад-мореход. Любимая книга — "Тысяча и одна ночь". Всеми соками своего духа он был устремлен в Америку. Даже советские ракеты не могли б сравниться с ним в нацеленности на Америку. Поэтому для меня он уже был там. Ведь если б надо было, он захватил бы самолет. Он столько раз говорил... Просто ему еще не попадался такой самолет. Разве каждый день встречаешь человека, который способен на такое?

Ханумана трудно было заставить врасплох идиотским вопросом “А что ты, собственно, делаешь, Хануман?”, у него всегда на это один был ответ: “Я? Вообще-то, еду в Америку”. Даже если он брился или потягивал косяк. Даже если он просто стоял в очереди с пивом и куском сыра за пазухой. Даже если он листал порнографический журнал, а под одеялом у него копошился маленький непальчонок. Даже если он был застигнут хозяином в чуланчике с краденой бутылкой виски в руках. Что, вы думаете, он делал? Ха, он ехал в Америку! Даже если его длинные гибкие пальцы забирались в чьи-нибудь трусики, он всего лишь ехал в Америку. Даже если он свою белоснежную искрящуюся дорожку делал толще, чем три остальные; он все же ехал в Америку, ему надо было подзарядиться. Он не просто крал велосипед, он на нем должен был ехать в Америку. Он не просто влезал в мусорный контейнер, чтобы нашарить себе немного жратвы, нет, он себе собирал в путь, и ехал он не куда-нибудь, а в Америку. Он запускать свою руку в карман спящего в кресле поезда старика, чтобы украсть билет до Копенгагена? Нет, Копен был промежуточной станцией, вообще-то он ехал в Америку. И все прочее, что он творил, все прочее, что с ним происходило, это так, между прочим, это была жизнь, увиденная в зеркальце заднего обзора по пути в Америку.

Хануман в Штаты ехал с тех пор, как стал смотреть Стартрек, с тех пор, как начал читать комиксы, с тех пор, как влез в свои первые джинсы, с тех самых пор он все время ехал в Америку. А на Лолланд — всего каких-то несколько дней. Нет, это ерунда... Поэтому я не расстроился, когда он пришел и объявил всем нам, что уезжает на Лолланд; я подумал, что это ничего не значит, это так, блажь какая-то, в сущности, небольшой детур, который ничего не меняет, мы все также ехали в Америку. И когда через два дня после того, как кончился запас риса и баранины, и непалец отказался кормить нас, тамилец с провиантом не объявился, а китаец вконец угробил своей мокрой тряпкой радиатор, Хануман снова все бросил и убежал, я даже обрадовался... Я решил, что на этот раз уж точно насовсем. Я подумал, что на этот раз он отправился в Америку. Навсегда. Наконец-то. Сколько можно было трепаться! Пора было действовать. Он столько раз убегал, и каждый раз как будто навсегда. Вскрикивал

“меня все достало здесь!”; с возгласом “finito!” хватал свою кожаную куртку, папку с кличем “asta la vista!” и с воплем “see ya guys in USA!” он убегал, стуча каблуками своих кэмелов. Затем доносился хлопок двери в коридоре, слегка вздрагивала тонкая стенка коттеджа, некоторое время слышались легкие убегающие шаги по недовольно ворчащему гравию во дворе кэмп, и все, от него больше ничего не оставалось. Ничего, кроме некоторых рубашек, разбросанных там и тут, его порнографических журналов на полке, его старой зарядки. Ничего, разве что окурки и пепел в пепельнице. Ничего, разве что запах его одеколона, быстро поедаемый вонью с полей; ничего, только им на стене нарисованный маленький бэтмэн. Все.

И хотя я думал, что он не вернется, я ни разу за ним не последовал. Не потому, что мне было давно наплевать на Штаты, вернее, не только потому... В основном же потому, что я не мог ходить. Мои измученные убогими польскими ботинками ноги отказывались ступить на землю; земля мне была противопоказана. Сам Хануман мне однажды сказал: “Если ты пишешь стихи, то тебе нечего делать на земле. Живи на небе! Какая Америка? Забуди!”

Он был прав. Да, как он был прав... Жить на земле я не мог. Во мне не было чего-то такого, чем человека притягивает к своей поверхности земля, чего-то, чем человек мог бы за нее зацепиться... Да я просто физически не мог по ней ходить! Я даже не мог носки на ноги натянуть, что уж говорить про ботинки. А про Америку думать даже смешно. Там такие бесконечные дороги, а бензин, он же такой дорогой... И дорожает, день ото дня, — пока мы доберемся до Штатов, цены вырастут настолько, что... Да что там говорить! Ведь водить я так и не научился... Мне пришлось бы шкандыбать... О, мои бедные ноги! Как они распухли, как ныли... Нет, кто-то, а я точно в Штаты не собирался, мне там делать было нечего, с такими-то ногами, ты шутишь! Боже, я, кажется, мог слышать, как они стонали! Так что я ничего не делал, просто лежал и даже думать боялся, что придется куда-то идти.

До того, как мы осели в этом лагере, я прошел, наверное, километров двести, и ботинки, которые я нашел на свалке, в конце искали мои ноги, завершив то, что когда-то начал футбол. Поэтому

когда непалец и тамилец позволили нам у них задержаться, я сразу же взобрался на второй ярус сборных нар, и залег там, повыше, чтобы быть подальше от земли. И постарался об обуви не думать совершенно. Каждый раз, когда Хануман убегал, я думал, что больше не увижу его. “Прощай, Ханни”, думал я про себя и принимался набивать мою трубку.

Но Хануман возвращался; через несколько дней он все равно возвращался. И мучился еще больше. Он говорил, что возвращался только потому, что в нем теплилась какая-то нелепая надежда: а вдруг запах развеялся и все стало как прежде... Но как только он проезжал коммуны Лёгстёра, начинались поля, и с них тянуло, как прежде.

Вонь поднималась с полей, и встав плотной стеной вокруг нашего городка, отравляла его, как химическое оружие или газ. Как ту деревню, которую, как говорят курды, уничтожил Саддам (та деревня фигурировала в каждом курдском кейсе, каждый курд в нашем кэмпе нет-нет да и вставлял ту деревню в свой рассказ, и какого-нибудь своего погибшего в ней родственника поминал с тенью в голосе, однако названия ее я так и не запомнил). Окруженный со всех сторон полями, пойманный в эту ловушку, Хануман погибал, как солдат без противогаза.

“Куда ни пойдешь в этом городишке, всюду воняет, — ругался он — Проклятые фермеры! Всюду домики и вокруг них садики с красивыми цветочками. И мимозы, и люпины, и рододендрон, да чего только нет! Глаза видят одно, а вонь стоит такая, что ого-го! В этой стране все вот так. Видишь одно, а получаешь совершенно обратное. Они даже числа говорят вот так, задом наперед. Сперва единицы, а потом десятки. Пять и двадцать. Три и восемьдесят. Сто шесть и тридцать. А семьдесят от девяносто отличить вообще невозможно. Закодированная страна. Гулливера сюда надо. Гулливера!”

“Ладно тебе скалить зубы, — зевал я. — Это еще что... Вот в Германии тоже так числа пишут, а во Франции вообще... Хочешь сказать девяносто три, так язык сломаешь пока скажешь “четыре-раза-по-двадцать-и-тринадцать”, как тебе это?”

“Ерунда, — мычал он в ответ. — Во Франции... Во Франции хотя бы

не обещают ничего. Там даже твой кейс не рассматривают. Там из тебя не тянут кровь помаленьку. Там сразу заталкивают в самолет или корабль и отправляют обратно. И это честно, хотя бы честно. Некоторые местные арабы и негры даже просто зайти в аэропорт боятся: вдруг примут за нелегала, перепутают и отправят куда-нибудь. А тут... Говорят и обещают одно, а выходит совсем другое. Начиная с их чертового языка. Не верь глазам своим! А уши вообще лучше сразу воском залить! Пишется одно, а начнешь читать, так никто не поймет. А скажут тебе, так и не знаешь, как писать. Хочешь купить билет до Фредериксхавна, а в итоге оказываешься во Фредериции. Еще дальше от Фредериксхавна, чем прежде. Вот город, пишется Марьягер, а произносится Майя, мать его! Пишут "nogen", а говорят "нуэ". И таких слов у них, которые звучат как "нуэ", с десяток. Вот и пойми, когда какое значение. А тут еще и вонь эта... Фредериксхавн меня душил-душил, морил-морил, но я выжил. Копенгаген травил, убивал, ментами обкладывал, но я ушел. А этот зачморенный клопами городишко... Хорошо если тысяча душ населения. Сколько улиц с красивыми названиями: и Клевервай, Анимоневай, и Маргеритевай, Индустриевай, Фабриквай, Брандстасьонвай, наконец, Бензинстасьонвай... А тоска смертная, и всюду вонища вдобавок такая, хоть вешайся!"

На меня это тоже действовало, но не так сильно; для него же все это было страшной пыткой. Он галлюцинировал, терял рассудок. Натурально. Он не мог есть, потому что его выворачивало. Он впадал в глубочайшую меланхолию и часами рассматривал три фотографии своих жен, потом начинал рыдать над ними. Он не мог спать. А если спал, у него начинался бред. Что говорил он во сне, мне, конечно, было не понять. А непалец смеялся. Смеялся и не будил Ханумана. Лежал, укутавшись как мумия, слушал бред Ханумана и похихикивал. Уж он-то понимал, что говорил во сне обессиленный индус. Он понимал, потому и хихикал. И еще потому хихикал непалец, что спокойно переносил запах гнили. Он жил в джунглях, в самых топях, ему укусы малярийных комаров были нипочем, что уж говорить о каких-то удобрениях. Запах разложения и гнили для него — родная среда. Поэтому он наслаждался, наблюдая за тем, как страдает индус.

Если Хануман просыпался и замечал улыбку на лице непальца, то вставал и немедленно принимался того бить, ругаясь при этом так, как даже папашка мой покойный не ругался. С течением времени он перестал выискивать даже улыбку у непальца на лице. Ему больше не нужен был повод. Он просто встречался с ним взглядом и рыкнув “что смотришь?”, начинал его лупить сандалией, жалея свои нежные руки. Непалец свыкся с этим, как-то даже очень быстро и с готовностью занял эту позицию постоянно униженного и опущенного, он как будто бы даже желал этого. Для Ханумана же бить непальца стало каким-то обязательством, ритуалом, без которого и дня не проходило. Побив маленького негодяя, Ханни принимался шумно курить, чтобы забить запах. Курил и расхаживал по комнате; курил, расхаживал и бранился; иногда если не бранился, то жаловался на мигрень, проклинал фермеров, кукурузу... Но окно никогда не закрывал. Окно все равно держал открытым. Всегда. Несмотря ни на что.

* * *

Запах появился, когда я лежал и смотрел в потолок... Нет. Я лежал с закрытыми глазами, и в засыпающем уме, уже основательно тронутым зельем, плыли открыточные воспоминания, смешанные с бizarрной реальностью этого кэмп. И вдруг внезапно я понял: что-то не так, что-то нарушилось. Что-то изменилось. Добавилось нечто еще ко всем привычным ощущениям, с отвратительностью коих уже свыкся. К горечи, которая всегда сопутствовала моим болезненным, навязчивым вакациям в прошлое, вкралась еще одна змея, которой не было прежде. В мое прошлое вошла еще одна отвратительная специя, в мое прошлое, в которое я возвращался то призраком, то демоном, то совершенно посторонним лицом (агентом по продаже Гербалайфа или свидетелем Иеговы с кипой журналов), добавился еще некий сильный, но пока неопределенный компонент. Это был запах.

Я сразу же подумал: кто-то где-то сдох, либо кошка, либо крыса у Потаповых. Но это было поле, точнее, удобрения.

Это было так гадко. Хануман тоже почуял, проснулся, сказал слово “йак!” и добавил: “Наш непалец, что ли, обгадился? Эй, мерзавец, вставай!”

Пинками стал поднимать того; перешел для внушительности на хинди; все это само собой для непальца закончилось побоями (а Ханни опять повредил себе палец).

Запах был редчайшей убойности. Настоянный в чанах на азулянтском дерьме, смешанный с компостной гнилью, с экологически чистыми удобрениями, был он небывалой силы. Выброшенный на поле, он расплзался во все стороны километров на двадцать. Затем, объединившись с подобными запахами, идущими от других полей, он начинал подступать. Это кольцо сужалось, сужалось, и вот уже эта вонь властвовала повсюду, и не было больше ни одного места во всей округе, где можно было бы от нее укрыться. В один несчастный день весь Фарсетруп (этот ничтожный датский городишко, посеянный в сердцевине юлландской пустоши) стал в одночасье зловонной зоной.

Мы с Ханни взялись за голову; начали решать, куда бы опять двинуть, потому как это перенести было невозможно. Но двинуть пока что было некуда. На Лолланд не было денег, даже на билет, что уж говорить про постой и развлечения.

“Без двух штук местной валюты там делать нечего, — рассуждал Ханни-Манни. — С этого там можно только начинать делать телодвижения. Это ясно как день! А что есть у нас? Какие-то три сотни. Мальчишки, мы просто мальчишки... Может, задушим непальскую кошку? Вытащим из его задницы сбережения и смоемся?”

“Поймают”, — отсоветовал я.

“Да, конечно, поймают, — тут же согласился он. — Тут они быстро ловят. Однако надо все равно двигать, потому что это уже нестерпимо. Видишь, на какие мысли меня толкает эта вонища? Видишь? Все это может плохо кончиться...”

Оба суеверные, мы тут же усмотрели в появлении этой вонии некое знамение, и решили, что значить оно могло только одно: пора двигать.

Каждый день он говорил, что пора двигать, находя все новые и новые аргументы. Он кричал: “Тут всё провоняло нужником! Куда ни пойдешь, всюду воняет дерьмом... Пойдешь в бар выпить — там дерьмо! На дискотеку — дерьмо! В библиотеку — все равно дерь-

мо. Ничего не остается, как вставить в ноздри бируши! Или отрезать их вообще!"

Он все чаще и чаще курил, ходил по комнатке и говорил сам с собой: "Всё бы ничего, если б не вонища, — начинал он издали, ломая пальцы. — В принципе, можно было бы остаться и тут, в кэмпе. Пока непальца не депортировали, пока рассматривают кейс этого педика, можно жить и у него. Кейс его будут еще долго рассматривать. Им же нужно соблюсти все формальности, все должно быть по правилам. Он по правилам притворяется беженцем, они по правилам ему отказывают, они же не могут посадить его в самолет и выбросить в Непал с парашютом. Что ты! Они же гуманисты, а не какие-то там французы. Это французы могли так с малайцами. Но малайцы парни тоже не промах. Пока летели, разнесли салон самолета вдребезги, его едва посадили, а потом не взлетели, потому что малайцы разобрали его на части, и предупредили, что так будет теперь с каждым, с каждым, с каждым французским самолетом, если на борту будут депортированные малайцы. Так и датчане. Им же нужно придумать, как это все красиво изложить, как красиво послать непальского педераста на родину без нарушения его прав и буквы закона. И так, чтоб была гарантия, что его действительно не убьют там, прямо в аэропорту, как это было с сорока пятью иракскими беженцами, какой скандал. С тех пор убежище дают всем иракцам. Маринуют долго, но в конце концов дают. А если иракский беженец докажет, что он курд, тут уж стелись ковровая дорожка. А непальца стрелять не станут. В Непале сгноят в тюрьме. Все продумано. Никто ничего никогда не узнает. Еще одна непальская кошка сдохла, еще одна непальская жаба захлебнулась в собственных испражнениях. Никому до этого дела нет. Мир от этого не перевернется, и ладно. Великая благотворительная организация сохранила лицо, Непал принял блудного сына, а что там с ним было дальше, всем наплевать. Но: нужно выслать тихо, и еще так, чтоб без особых затрат, и это главное. Ха, скандалы никому не нужны. Кто хочет скандал? Все хотят остаться чистенькими. Он сам сдох. Никаких статей в местных газетах, никакой шумихи вокруг непальской креветки. Им не нужны толки в поездах, им не нужны шествующие гомики с транспарантами в за-

щиту непальского педераста. Нет, непальца нужно выслать любым способом, но тихо. Еще одна непальская мокрая задница им не нужна в ДК. Тут и так хватает задов. Выслать нужно, но надо сохранить видимость милосердной благотворительной организации, которая решает, кому можно дать право остаться, а кому нельзя, в согласии с требованиями, изложенными на одном клочке бумаги, поэтому эти требования так замысловато сформулированы, что уж очень трудно им угодить, настолько трудно, что некоторым приходится годами носить тонны бумаги, чтобы доказать, что он удовлетворяет одному из трех предъявленных требований. А за годы ситуация может измениться, и требования тоже могут быть пересмотрены. Да и кто будет рассматривать твое дело годы? К тому же все решают на самом деле менты, а не гуманитарная организация, в этом полицейском государстве правят ищейки, и это они будут решать, остаться Непалино в Дании или ехать на хаус. Вернее, они уже сразу все решили, они давно решили, что Непалино едет домой. Они просто передали дело в руки гуманитарных организаций, обязанность которых красиво отказать несчастному, подвести под отказ базу, документально объяснить ему, почему он едет домой. Впрочем, он сам это знает, ему не надо ничего объяснять, он сам все прекрасно понимает, объяснения ему нужны по одной причине: время, чем дольше ему объясняют, почему он едет домой, тем лучше, ему пишут один отказ, он отвечает пятьюдесятью письмами в пятнадцать организаций. Он неплохо осведомлен, его дядя передал все заготовки жалоб и прошений, у него целая стопка бумаг, которые он сидит и перепечатывает. Молодец. А что еще делать? Убивает время и ладно, пишет письма, заодно учит язык, деньги каплют. Он пишет письма — они обязаны отвечать. А он только радуется, потому что каждый ответ — это время. Он радуется, что вся эта волокита так долго тянется. Чем дольше это тянется, тем больше пособий он положит в свой задний проход. И может, за год что-то изменится, может, появится шанс двинуть куда-то дальше, может, двинет обратно в Германию, к своему педриле, будет опять нарезать салаты, мешать черпаком китайские супы, делать тайский массаж хозяину, все может быть, может, подвернется возможность заключить фиктивный брак, с каким-нибудь

таким же педерастиком, как и он. К тому же есть возможность подавать апелляции, и апеллировать можно, как кажется, бесконечно. Любая ничтожная статейка из интернета о Непале может все изменить в корне... Началась эпидемия тифа, и все! Повальные оползни и падеж скота с распространением опасной для жизни человека кишечной палочки. Все! Его жизни угрожает опасность. Кто ж пошлет несчастного на верную смерть в тифом или чумой охваченный Непал? Короче, все это может затянуться, и пока идет бумажная возня, пока суд да дело, пока непалец носит новые и новые бумаги, свидетельствующие о вопиющем нарушении его прав как педераста, так и человека, и человека непальского происхождения в том числе, пока он молится о том, чтобы в Непале вспыхнула гражданская война, случилась революция, или Китай вдруг оккупировал Непал, или Индия, или начался всамделишный повальный тиф, пока включится адвокат в это дело, пока то да се, мы могли бы спокойно тут отлеживаться, ползать по помойкам, скрести по углам, отрезать от чужого куска баранины в общей морозильной камере себе на скромный ужин, собирать бутылки и из десяти пустых получать одну полную пусть мерзкой, но настойки, в конце концов, пока за жопу не взяли, можно было бы жить, все бы ничего, если б не этот запах!"

Хануман сказал, что готов был бы жить в этом кэмпе вечность. Он даже готов был отказаться от Америки. Это была огромная жертва. Он готов был гнить в этом кэмпе до скончания дней. Он сказал, что уже привык к тому, что по ночам нужно было держать ухо востро, а под утро ждать самой большой неприятности, которая только может обрушиться на голову нелегала. Он смирился с тем, что сербы буянили как полоумные, а мусульмане пели свои молитвы как зомби. Он привык к своему призрачному существованию; привык к тому, что никогда не обретет своей второй родины; привык, что Америка останется всего лишь мечтой, в направлении которой совершаются все его действия, несколько физически не сближающие его с ней. Он смирился; он отдался потоку; готов был к тому, что никогда не обрстет вещами, паспортными данными, не обзаведется легальной женой и табором детишек. Он уже и не мечтал о личном коде и счете в банке, на который капал бы социал. Вот на какие

жертвы пошел Хануман! Он даже забил на Бога, потому что Тот забил на него. Он готов был смириться с тем, что вся его жизнь будет су-ма да тюрьма; смирился со всеми возможными и невозможными неприятностями, которые готовы были обрушиться на его несчастную голову, которую он давно уже не посыпал пеплом; был готов ко всему; “Все, что угодно!”, кричал он, и добавлял: “Да, все что угодно вообще! Но только не этот запах. Только не эти мерзкие удобрения. Только не трактор и вонь с поля!”

Да, Хануман готов был терпеть все: полное фиаско и пожизненное звание лузера. Да пожалте! Запросто! Да сколько угодно... Это все чепуха. Чего с ним только не бывало! Он и не такое терпел. Он в своей жизни вытерпел многое. Да чего только Хануману не приходилось пережить. Какие только страдания ему не приходилось переносить. Он терпел издевательства брата, который подсовывал ему в постель змей, а в еду — насекомых. Он терпел отца, который муштровал их как солдат, готовя к очередной войне то с Пакистаном, то с Китаем, то с той же самой Америкой. Он терпел соседских грязноногих мальчишек, которые завидовали его коже со светлым отливом так, что чернели пуще тамильцев, и каждый день, когда он шел в школу, кидали в него лепешками грязи, чтобы сделать его таким же грязновато-темным, какими они сами были. Он вытерпел предательство девушки, которая предпочла богатого бабуджи с кошельком глубже ее влагалища и нижней губой длиннее его члена.

Да, он даже вытерпел погреб, в который его запирали старуха, чтобы отучить мастурбировать. Погреб, где лежал труп, принесенный монахами с кладбища по заказу старухи. Его заперли в него, чтобы таким образом отучить рукоблудить. Он выдержал даже этот проклятый погреб с вонючим трупом, с опарышами и червями, которые шумно возились в гниющем теле старика. Он вытерпел тюрьму, не дал себя в обиду. Он вытерпел голод и сверхдозу героина. Он пережил трюм корабля, в котором три месяца сидел, не видя солнца... Ничего не видя, ничего. Слова человеческого не слышал. Не видел ничего, кроме своей блевотины и ведра, в которое испражнялся. Ведро, которое сотню раз опрокидывал, вместе с ним падал, и растекался на всех четырех в своем дерьме и своей блевотине.

Да, он все это прошел, он все это вытерпел... Но этот запах он перенести никак не мог. Этот запах его сводил с ума. Этот запах был хуже всего... Хуже гниющего трупа в погребе... хуже своей блевотины в трюме... хуже змей в постели и насекомых в рисе... даже жаба с роговым покрытием, бородавчатая жаба, которую ему засунули в трусы... даже она была ничто по сравнению с этим запахом с поля.

“Дания гниет, — заключил он. — Вся страна разлагается как труп. Теперь я в этом сам убедился. Хэхахо! Датское королевство просто на глазах разлагается. Что он там удобряет?”

“Это кукурузное поле, Ханни”, — сказал я сдержанно, не открывая глаз, и напомнил, что мы жрали с ним как-то кукурузу прямо с этого же поля.

“Даже гнилая картошка, которую жарят по четвергам албанцы, не так мерзко воняет”, — сказал Ханни брезгливо.

Да, приходилось с ним согласиться, не так, это уж точно.

* * *

Тут каждое утро начинался обморок. Настоящая жизнь прекращалась, как только я просыпался. Разум закатывался. Начиналось безумие. Затмение чувств. Хаос. Анархия. Душевный разлад. Утро регулярно отравляло кровь, стремилось выдавить из меня человека, последние капли иммунитета, вытравить из меня следы личности, как выводят тех же самых вшей. Чтобы выхолощенный и выпотрошенный, обездушенный, я сдался ментам. Каждое утро — одно и то же, одно и то же. Как репетиция самого невыносимого спектакля. Как возвращение одного и того же кошмара. Утро повторялось в каждом колене коридора, в каждой скрипе двери, в каждом вздохе души, в каждом крике птицы, в каждом сливе в унитазе. Оно было всегда одинаковым до самых ничтожных мелочей. Настолько однотипным оно было, что ощущение продвижения во времени испарялось. Было повторение одного и того же дня. Пластинку заело. Эй, крайний, дунь на иглу!

Тут все давило, терзало, кусало, подталкивало к побегу, испытывало на прочность, сводило с ума. Как будто шептало: “Ага! Попался! Ну, коль назвался беженцем, будь добр, ощути все богатство палит-

ры чувств изгнанника!" Тут тебе и доисторический страх, преследующий род людской с момента появления на Земле; и распирающие чувства негодования, обиды, ревности; и библейская боязнь быть гонимым до конца дней; и такая модная, но все же мучительная ностальгия; легендарное одиночество; груз воспоминаний, тяжелеющий день ото дня; стеной надвигающаяся ненависть мира; жалость к себе; унижение и готовность унижаться; отвращение к себе и еще большее ко всем остальным; бюрократический пресс; способность стать ничем под его давлением и продолжать убывать до бесконечности; научиться на себе измерять бесконечное убывание всех подлинных достоинств человека; стать свободным от всех них навсегда; стать меньше, чем ничто; познать беспредельность ненависти ко всему остальному миру; отчаяние в чистом виде, помноженное на нечистоплотность помыслов, и так далее, и тому подобное... Все те обычные симптомы, которые написаны на лице каждого азулянта, и по которым в толпе коренного населения его можно выделить так же просто, как по особой желтизне больного гепатитом. Все то, с чем беженец живет каждый божий день. Все то, что, собственно, и делает его беженцем, даже если он таковым на самом деле и не является; все равно, даже если его деревню и не бомбят, он боится депорта еще больше, чем тот, чью уже разбомбили. Чувства уравнивают всех. Разве что тот, чья деревня спит спокойно, сам в лагере спать спокойно не может, потому что его могут запросто отправить домой, поэтому он еще и завидует тому, чью деревню спалили, и мечтает втайне, чтоб его деревню спалили тоже.

В лагере человек пробуждался с этим давящим на грудь и горло сжимающим сложным набором чувств. Люди вставали с этой удавкой на шее. С этой уже вставшей комом в горле обидой. С этими в узел завязавшимися чувствами в животе, с воспаленными глазами, почти на ощупь выбирались они из своих комнат, сплюсненные, и брели в поисках кого-нибудь, кому бы сбить эту тяжесть, на кого бы перевалить этот груз, кто бы помог ослабить этот узел, на кого бы вытолкнуть из горла этот ком. Люди начинали висельниками слоняться по лагерю. Сталкиваясь в коридорах, они начинали делиться переживаниями, рассказывая ночные кошмары, заражая

друг друга ощущением тревоги (как будто становилось легче, если заразить этой тревогой другого). Они заводили разговоры, и разговоры заводили их, и как механические игрушки, чумные, взвинченные, они снимались с места и топали дальше, в поисках кого-то еще, кто бы их успокоил. К ним липли другие, такие же одержимые, больные, взъерошенные. Их становилось все больше, больше... И это размножение страха и беспокойства начиналось с самого утра.

Все накопленное за ночь, — думы и чувства, которыми болеет обычный азулянт, — вырывалось из человека с умноженной силой. Словно ты умер за ночь, а утро тебя реанимировало, вскрыло, привело в чувства электрическим шоком и приказало жить. И вот ты стонешь в постели, задаваясь извечным вопросом: «на кой?..»

Так было устроено утро в лагере Фарсетруп. Оно включалось, как некий механизм. Оно прорабатывалось, шаг за шагом, как некий ритуал или процедура. Оно шлифовало нас всех, как строевые упражнения. Утро должно было являться, как палач с набором инструментов для предписанных дисциплинарной комиссией оздоровительных пыток. Инструменты были обычные. Утренний свет, холодок, различные звуки.

Свет, босоногий и зябкий, входил осторожно и неуверенно, как молодой робкий вор, но, изучив обстановку и быстро освоившись, набирал каждую минуту силу и хамовитость, становясь вскоре участливым, ко всему любопытным, и вот уже навязчивый, синий и бледный, он лез в душу лампой патологоанатома, выворачивая нутро наизнанку. Этот свет был как будто дрожащий, помаргивающий, какой-то напряженный, точно его качала в каком-нибудь подвале ото всех сокрытая, скрежещущая всеми суставами динамо-машина. От этой едва зримой дрожи становилось нехорошо на сердце, как-то особенно тревожно, и вскоре начинал бить не то озноб, не то похмель.

Холодок крался, как дух по мертвецкой, как беспризорный призрак, вот только что освободившийся от брэнности плоти и еще не знающий ни чем себя занять, ни куда бы приткнуться, ходил и щипал спящие тела наугад и наудачу, авось проскользнет.

И звуки, звуки, звуки... Звуки дурачили, издевались, кривлялись, дразнили...

Каждый раз утро пускало первым свет, ощупывая в сумерках предметы, делая зримым то, что лучше бы не видеть совсем и никогда. За светом на поводке шел холод. А за ними следовал маршем оркестр бесшабашных звуков нарождающегося дня.

Свет почему-то был металлический, или даже стеклянный, совершенно сюрреалистический и циничный, он беспрепятственно вторгался внутрь и начинал жать, жать. Этот липкий ядовитый свет; этот назойливый холодок; вонь с поля. Звуки лагеря; звуки жизни этих отбросов; этих обоссанных беженцев по жизни. Что были они? Избыток природы, которым пренебрегло общество различных стран? Все то отсеченное от совершенной формы дивного мира? Спасавшие свою жизнь, единственные уцелевшие, кого стихия, помиловав, вымела на датское — и даже хуже — юлландское поле, посреди кукурузы, коров и курятников и прочего порядочного хлама. Что, всем им глобус показался слишком круглым? Что, у ребят он слишком быстро вращался под ногами? У многих горел и шипел, плевался осколками разорвавшихся мин, бомб, кровавых гейзеров. Рушились пирамиды; сдвигались исторически сложенные пласты; раскалывались архипелаги государств; за камнем катился камень, и жизнь накрывала как лавина, жизнь обваливалась и уходила как оползень, а потом неслась, как паровоз на полном ходу, и мелькали за окнами прощально вздыхающие ветви, а на пятки наступали страх, ужас, вой, смерть. И вот они очутились в сточной канаве датской провинции. Застрали между кукурузным, щедро удобряемым полем, и полем футбольным, по которому ходить запрещалось. Они оказались заперты насмерть в тупике бесконечного уик-энда, в тесном купе поезда, который шел в никуда, по кругу, по кругу, до дурноты укачивая однообразием. Они слышали каждый день одну и ту же фразу: “Нато немножко потоптать”. И они ждали, топтались, толкались в очередях за подачкой, бранились, крали, пили, дрались, черствели, тухли как овощи, на которых не нашлось покупателя. Они ждали, когда их скормят скоту, они ждали, когда их отправят обратно в пекло, они ждали ответа...

И каждое утро было одно и то же. Голубоватый свет до краев наполнял комнату, возвращая вещам их материальность, а ситуации —

ощущение неизбежности. Неотвратно из мрака вырезался куб старого громоздкого и бесполезного телевизора. Под ним, как пьедестал, показывалась тумба с гадкими круглыми ручками ярко-желтого цвета. На стене был календарь на апрель 95-го (что само по себе было ложью более чем трехлетней давности). Плакат с немецкими девочками, которых звали Тис, Тас и Тое (я не представлял, кто из трех был кто, но Хануман, конечно, знал родословную каждой из этих чумахских собачонок; они были его любимицами). Продолговатые металлические шкафчики, серо-синие. По мере того, как свет становился все более властным, потолок, казалось, опускался все ниже и ниже, и все явственнее становились размазанные летним психозом трупники мух на нем. Гадость! Один и тот же узор каждое утро.

Было это словно предопределено. У этого кошмара был хитрый дизайнер. Он все рассчитал таким образом, чтоб утро несло всю гадость мира в мою душу, будто мстя за выкуренное, выпитое, вколотое ночью. От вони, идущей с поля, меня мутило, тошнило, мое сонное, вялое воображение начинало бредить видениями. И в чадку сквозь сон думалось мне, что таков мир, в который я вляпался, как в дерьмо, родившись не под той звездой. На кумарах думалось мне, что якобы было так предначертано, чтоб, выбившись однажды из мне привычного круга, оторвавшись от мерзкой, но привычно мерзкой жизни, от обычного хода вещей, я, как колесо, снявшееся с оси родной телеги, должен был покатиться да и угодить неизбежно сюда, в кювет, где другим начала дня быть не могло. Потому что почти вся мерзость мира сконцентрировалась в этих стенах, среди отбросов, грязи, воров, наркоманов, беглых террористов, симулянтов, спекулянтов, оборотней-ублюдков, притворяющихся беженцами, жуликов, бежавших в эту страну в поисках сладкой жизни, а оказавшихся в этом курятнике, в этой вонищей клоаке.

В угаре я думал: "Ого-го, это только начало. То ли еще будет. Держись! Если так погано начало дня, то не лучше ли не просыпаться совсем?"

Или мне казалось, что я думал... Потому что мыслей-то каких-то на самом деле не было, а были какие-то медузы, плававшие в аквариуме моей прозрачной головы, случайно слипаясь, образуя некое

подобие думания. И весь я был каким-то жидким по утрам, за ночь вяленным, плохо выжатым, как обтекающая на радиаторе половая тряпка, которую туда вешал по вечерам китаец Ни.

Он всегда ее туда вешал; извечное нарушение, с которым устали бороться все. Ему объясняли. По-всякому. И каждый раз, когда с ним заговаривали, китаец доставал из кармана свою замусоленную бумажку, на которой было написано: "I speak only china tonge".

Записка была такая старая, что, казалось, могла рассыпаться у него в руках, как пергамент. Бог знает какой безграмотный идиот и сколько лет назад ему ее написал. И Бог знает сколько раз Ни ее доставал и предъявлял, как справку, как единственный значимый документ. Он столько людей ею озадачил. Невообразимо! Такая старая была бумажка, что не раз китаец обращался к непальцу, который был единственным человеком в кэмпе, кто понимал хоть сколько-то мандарин, за помощью написать другую, такую же. Но Непалино почему-то всякий раз отказывал ему. Видимо, непалец получал какое-то свое непальское удовольствие, когда видел, как китаец лезет в карман за запиской, которая грозила развалиться у него в руках на виду у всех. Он наслаждался, когда видел, как от осторожности все морщинки китайца, и даже волосы на голове, вдруг вздыбливались, как наэлектризованные, и он становился нестерпимо похож на свернувшегося и вытаращившего все иголки ежа. Кажется, Непалино просто грезил тем, что однажды увидит, как китаец в очередной раз отправившись в путешествие по карманам за своей бумаженцией, вытащит ее не целиком, а по клочкам. И тогда он будет собирать ее, собирать, собирать...

Но всякий раз, когда китайцу приходили в офис важные бумаги из Директората, Непалино шел вместе с ним. Там, важно попивая кофе, который им приносили стаффы, внезапно оказавшись в центре внимания, став на несколько десятков минут для всех необходимым, Непалино читал документы, написанные по-датски, и с важностью в лице невероятной толковал их китайцу.

И пусть никто не мог проверить, насколько хорошо или плохо Непалино знал мандарин, зато все превосходно знали, что ни черта не знал он датского.

* * *

Лежал я на отходняках в бреду, и мерещилось мне всякое. Мир, который скатался в смрадный мусорный ком и покатился с какой-то горы вниз, и я вместе с ним. И дым, и водоросли мыслей плыли сквозь меня. Набирая скорость и обороты неслись какие-то обрывки слов, фраз, какое-то эхо плескалось, позвякивало в голове, всхлипывало да постанывало; выл ветер; мелькали сплюснутые лица; набегали столбы, задавая вопросы; тянулись в серую мглу уходящие провода; ухала жестяная крыша; и всё быстрее и быстрее, рыгая клубами белого пара, шлаковым шквалом нёсся поезд Фарсетруп-Бесконец. И казалось мне, что я на дне ада, окружен демонами, пиявками, вурдалаками. Так мне казалось, когда я слышал со всех сторон подкрадывавшиеся голоса молящихся мусульман.

Это был просто кошмар. Из всех углов, из всех щелей, как тараканы, в мозг заползали монотонные звуки молитвы. Они ползали по телу, как лилипуты; они вязали, они как будто отпевали тебя или совершали ритуал перед тем как сожрать тебя заживо; их голоса действовали, как седативное, и даже если ты хотел подняться, то уже просто не мог... А потом начиналось по коридору их хождение в туалет, каждый обязательно с бутылочкой для подмывания. Звук их шагов тоже будоражил воображение: это монотонное шепелявое шарканье, этот удар шлепанца о пол, это прошаркивание, и обязательно напевал что-то свое заунывное, сволочь, шумно отрывивал что-то, плевал на пол, хлопал дверью. А потом слышно было, как льется вода, на некоторое время покрывая молитвы. За одним другой, третий, четвертый... И повторялось все: и шарк, и плевок, и хлопок, и вода. И если двое встретятся в коридоре, то несомненно поприветствуют друг друга восторженно и напыщенно, а потом шаги их расшаркаются, и снова все покроет вода. А потом все возобновится: хлопок, плевок, заунывное пение туда и обратно. Будто разыгрывается один и тот же эпизод: "Мусульманское утро в Фарсетруп-кэмп", дубль второй, дубль третий, и т.д., и т.п.

Нам с Хануманом повезло с комнатой: через стенку с левой стороны был туалет, а с правой была комната Михаила Потапова и его семейства — жены Маши и ее дочки Лизы. А так как нас обложившие

со всех сторон люди в виду своей примитивности не умели жить иначе, как повторять изо дня в день одно и то же, каждое утро начиналось одинаково. Слева смывалась вода, справа — “Почему ты не ешь? Ну что ты молчишь? Что ты сидишь и смотришь на меня коровьими глазами? Ешь, тебе говорят!”

Стены в кэмпе были тонкие и слышимость была прямо такая, будто в картонной коробке живешь. Спать мы с Хануманом ложились поздно, по сути, под утро. По ночам было лучше не спать: ночью могли наехать менты, могли устроить облаву на укрывавшихся от депорта нелегалов, на воров, наркоманов, всякую сволочь вроде нас с Ханни. Поэтому каждое утро голос Михаила Потапова будил нас, вот только прилегших: “Бля, ну что ты вылупилась, ешь!”

Этот голос сметал стены сна; стены курятника содрогались. Каждое утро как бой часов — “Да будешь ты есть или нет!” — и он, этот мужчина, как раблезианская кукушка в этих часах.

Просыпаться было ужасно. Просыпался я как в бреду; не успевал лечь, как начиналась неотменимая действительность, начиненная аллахами с одной стороны и русской бытовухой с другой. Вот между двух этих мельничных жерновов мой дух проходил перетираемый каждое утро. Почти как калека, пережеванный и выплюнутый каким-нибудь молотильным механизмом, я лежал и с закрытыми глазами, распадаясь на несметное число зерен чувств, слушал, как бранит свою дочь русский мужик справа да как подмываются мусульмане слева, а снизу...

Обычно я лежал на верхней постели сборных металлических нар, а там, подо мной, внизу, уютно укутавшись в два одеяла, как в пещере жил-поживал да горя не знал друг мой по несчастьям, индус Хануман. Так вот спать мы ложились под утро; это чтобы больше не пихать впопыхах друг друга в окно, чтоб не устраивать нелепую свалку с бьющимися сердцами и дыханием в темноте и этим “come on, man, come on” у окна, которое мы предусмотрительно держали открытым. А то до того мы чуть не попались. Приехали как-то менты, нагрянули, как призраки из мрака, как некий смерч о множество ног и рук, с фонариком в каждой второй, лающими голосами, и двери захлопали как ставни от ветра, захлопали, приближаясь и при-

ближаясь к нашей двери. Пьяные, мы не сразу поняли, что это был за ночной балаган. Мало ли, подумали мы, кто приехал и кто кого шукает, может, цыгане что украли и теперь покупателей ищут... Но, расслышав датскую речь, поняли и еле успели выпрыгнуть и улепетнуть в кукурузное поле. С тех пор мы не спали по ночам, окно держали открытым, и непальский юноша, которому серб Раденько дал прозвище "Непалино", по-своему мстил нам за это.

Ему, непальцу, пока что были не страшны менты; не так, как нам; он жил в кэмпе, ожидая официального уведомления о том, что его дело рассмотрено и пора бы на хаус; так что покамест ему не надо было прыгать в окно при ночной облаве; он мог спать спокойно, и хотел бы спать с закрытым окном. Но Хануман окно держал открытым, не считаясь с Непалино, невзирая на умозрительные права хозяина последнего.

Непалино и его приятель, тамилец, буквально приютили нас, безпризорных нерадивых нелегалов, пригрили почти как бродячих собак. Помню, как я обрадовался, что могу принять душ, помыться настоящим шампунем, но испытал известную каждому белому человеку брезгливость, когда вместо полотенца тамилец мне дал свою простынь, чтобы я вытерся ею. Ту самую простынь, в которой до того он ходил после душа, как в тоге, завернувшийся в нее, как полубог. Он ходил в ней по билдингу, побрякивая замочками на своих сандалиях. Ходил вальяжно и неторопливо пил свое пиво, дешевое датское пиво, и хрумкал своим подгоревшим чапати, макая его в салатницу с начиненным перцами дрессингом.

Тамилец не жил в кэмпе вообще, он квартировался у какого-то своего приятеля; у него была черная работа, он работал на какой-то мануфактуре, это было какое-то деревообрабатывающее предприятие. Он частенько заявлялся проверить почту, получить карманные деньги, пособие, создать видимость присутствия в лагере, из которого по закону азулянт не имел права исчезать на продолжительное время, и заодно помыться. Воду друга экономил, а может, друг намекнул, что надо бы экономить. Он приходил постирать бельишко. Закинет робу, всякое такое в машинку, откроет пиво, сидит, пьет, жует что-нибудь. Поболтает с кем-то, проиграет мне в шахма-

ты, поспорит с Хануманом на их тарабарском наречии, вытащит белое, всем скажет “фарвель” и исчезнет. Когда он заявлялся вот так, весь лихорадочный (как знать, что за письма могли прийти за время отсутствия, а вдруг депорт в Шри Ланку? А какому хлебнувшему датского пива на халяву тамилцу захочется ехать в Шри Ланку, где, возможно, придется срать и блевать кровью?), весь пружинистый, он обычно был покрыт мелкой пылью, даже не опилками, и тем паче не стружкой (хотя однажды он пришел и с красивой, спиралью завивавшейся стружечкой на носке), а древесной пылью.

Хануман рассказал мне как-то, как они с другом работали. Беженца, то есть не беженца, а азулянта, который только подал прошение об убежище и ждет статуса беженца, взять на работу не могли. Тамилец работать не мог. Тогда друг его, тоже тамилец, но уже облагодетельствованный, обласканный датским королевством, придумал следующее. Он каким-то образом договорился с боссом, что будет работать ну, скажем, не двадцать четыре, а где-то шестнадцать часов, то есть две смены, и получил такое разрешение. Мотивировал свою неутомимость и работоспособность он тем, что якобы занимается йогой с детства, блюдет чистоту духа и плоти, не пьет, не курит, придерживается чудодейственной диеты и так далее.

На самом деле они с нашим азулянтом, будучи для европейского глаза практически неотличимыми, просто подменяли друг друга. Правда, чтобы довести сходство до максимума, тому, легально проживавшему тамилцу пришлось сесть на всамделишную диету и похудеть на три килограмма, а второму, неполноценному, сбрить и состричь с себя все то, что он не стриг и не сбрасывал в течение полугода. Они, конечно, одевались одинаково, подражали друг другу в походке, и наш тамилец в короткий промежуток времени овладел датским настолько же хорошо, как и его старший друг. Хотя подвиг тут не понадобился, так как тот говорил так плохо, что другому не пришлось напрягаться, да и по роду занятия им не требовался датский, так как все, чем им приходилось заниматься, была рубка листов фанеры на гигантской гильотине. Ну, а мимика и жестикация у всех тамилцев одинаковые, и потому никто не замечал, что их двое. На людях вдвоем они не показывались. В бары и кафе не хо-

дили. Ели одно и то же и одинаковое количество, не дай бог один из них располнеет или наоборот. Они превратили свою жизнь в какой-то спектакль или игру в шпионов. Заботились о внешнем виде как модели. Придерживались этого сходства во всем, как канатоходец удерживает равновесие, но в данном случае можно было вообразить, что по канату шел не обычный канатоходец, а почти что сиамский близнец.

Я мучался вопросом: сколько получает наш тамилец от своего благодетеля; изобретательный сукин сын едва ли давал много. Едва ли и половину половины.

Впрочем, тому было все равно. Лишь бы что-то давали, ради ничтожной подачки он был готов выплясывать с листом фанеры возле лезвия гильотины. Каждый день по восемь часов он таскал и рубил на гильотине листы фанеры, рискуя искалечиться. Безумец.

Разумеется, ничего другого тамильцу и не дали бы делать. Я бы даже за полную ставку не подошел к той машине. Я как-то побывал в таком цехе на мебельной фабрике, я уже наслушался историй о том, как срываются пилы и летают с визгом меж работяг. Я бы даже за двойной оклад не вошел бы в такой цех.

А этот тамилец шел на работу и был счастлив. Что ты, такая возможность! К тому же свои покеты-мани он не тратил, он их копил. Как почти все беженцы. Конечно, кто знает, как оно повернет. Своенравная судьба-старуха... Они, эти побитые жизнью люди, уже знали, по чем фунт лиха. Да, они повидали видов. Они понюхали пороха и свежего человеческого на части разорванного тела. Они вкусили говна пирога. И кто знает, как оно могло пойти дальше?

Они всегда ожидали негативного ответа, в душе снедаемые мечтами о позитиве; они готовили себя встретить лицом к лицу отказа, они были готовы его получить и — замизерабленные — вновь потащить свои легкие на подъем задницы искать удачу где-нибудь еще. Все они мечтали о Штатах, земле, объединившей, как им казалось, беженцев всех стран. Им грезилось, как поднимается им навстречу из вод статуя Свободы; как на белом корабле они к ней приближаются; как их с музыкой встречают на берегу; как на блюде несут раскрытый американский паспорт. Они видели в мечтах, как они

вселяются в дом; как уже покуривают трубку у камина, потягивая вино с пледом на коленях и котом на плече; их дети резвятся на полянке, качели поскрипывают, пони бежит по кругу, солнце пробивается сквозь боярышник; и вереск цветет, и пони бежит по кругу, пони бежит... "Но сначала, — говорил стар младу, — научись беречь малое, самое малое, но твое, научись дорожить малым!" И млад учился; наш тамилец не был исключением; также не был исключением наш непалец.

У Непалино был дядюшка, который жил где-то в Копенгагене... Он, по словам Непалино, работал в каком-то индийском ресторане. Об этом Непалино говорил с непонятной мне гордостью; потому "непонятной", что у меня самого был дядюшка и тоже в Копенгагене, — и не потому, что мой дядя драил унитаза... Даже если б его картины занимали самые выгодные места во всех современных галереях!.. Вряд ли я б гордился... Не в этом дело... Может тот факт, что его дядя работал в "индийском ресторане", наполнял грудь Непалино гордостью, не знаю, может это у них в Непале принято считать индийский ресторан раем обетованным для непальца, венцом развития, не знаю... Еще у меня была тетушка в Стокгольме, но и это никогда ни в коей мере не было предметом моей гордости, — она присматривала за впадшими в маразм стариками, — но это не имело значения, — я просто никому никогда о ней не говорил! Я стыдился, что у меня дядюшка в Копенгагене, тетушка в Стокгольме, а я, я — сукин сын! — по уши в дерьме, в этом насквозь вонючем юлландском кэмпе! Что я здесь делаю? Почему я не на пуховой перине в Стокгольме или у телевизора в Копенгагене? На то были причины, причины... Я никогда не умел ладить с родней... По мне так лучше б никакой родни никогда и не было! От них только неприятности, головная боль, странные телефонные звонки и еще более странные письма... Все беды в первую очередь от проклятых родственников! Родственнички последними пожелают тебе добра. Они спят и видят, как ты загибаешься, чтобы в последний момент выудить тебя, как щенка, за шкуру, с одной целью: обязать тебя на всю жизнь спасением, чтобы до конца дней читать тебе мораль! Мы существуем в обратнo-пропорциональной зависимости друг от друга, родственники

и я: чем лучше им, тем почему-то хуже мне; и чем хуже мне, тем отчего-то лучше им! Еще — они имеют свойство помирать ничего тебе не оставляя, кроме осадка невысказанных упреков... Ну их к черту!

Так вот, о непальском мальчике, и о том, что происходило внизу. Непалино был голубым, настоящим педерастом, самым доподлинным геем, что и составляло суть его кейса. То есть прошения о предоставлении убежища. Его дело было нелепым, даже смешным, моему мало изобретательному уму совсем непонятным. Я не мог постичь, как тот факт, что человек — содомит, может стать существенным основанием для получения убежища в... Да где угодно. Хоть в Гоморре! Но он просил убежища. Мне было непонятно, как такая смешная причина могла породить такое серьезное следствие. Сам он утверждал, что его преследовали в Непале, за его политические и религиозные убеждения.

“Хэхахо! — смеялся Хануман. — Паршивая мокрая непальская задница. Он утверждает, что может надеяться на обретение покоя только в странах Европы, где демократия и так далее... Тем более в Дании, где даже браки между голубыми узаконены. Это же нонсенс!”

И хотя его делега¹ была всего лишь частично правдой, по сравнению с большинством дел это было хоть как-то правдоподобно. Да, а почему нет? Кто знает дикие племенные обычаи у этих горцев? Может, есть затерянные в джунглях племена, где все еще едят друг друга? Почему не допустить возможность того, что в строго гетероориентированных племенах бытует истребление по признаку сексуальной дезориентации? Почему нет? В Гималаях-то всякого сброда хватает. Там же едят собак!

Почему не сказать, например, что есть преследование геев по политическим убеждениям, если политикой племени, например, является забота о продолжении рода, и, следовательно, только на размножение направленные отношения, сугубо меж мужчиной и женщиной, строго во влагище и никуда мимо, и чтобы кончать, только кончать во влагище и не вынимать! Тут всякое альтерна-

¹ дело (тюремный жаргон)

тивное сношение представителей одного секса является идущим вразрез с политикой племени, так как несет пропаганду, нарушающую саму идею совокупления ради размножения, не так ли? Таким образом, однополая любовь являет угрозу самому племени. Политическая проблема? Политическая. И религиозная тоже. Ведь религия всегда измышляется так, чтобы поддерживать политику. Тут уж можно наворотить такого, что ого-го. Какие-нибудь каменные боги, призывающие плодиться, плодиться, плодиться, какие-нибудь древние наскальные фрески в пещерах, отображающие обряд совокупления, какие-нибудь молитвы Кришне-многоженцу и так далее, и тому подобное... Тут всякий, кто присунул в зад, уже иноверец! Даже если бабе присунул! Так что его кейс был не таким уж и вопиющим абсурдом. Никаких пришельцев из космоса в его постели, никаких спецагентов на хвосте, никаких чипов в прямой кишке. Все правдоподобно. Ничего даже придумывать не надо. Ведь он не лгал, что был геем. Пусть его кейс был ложью, но он был хотя бы частично и правдой тоже. Он не врал, что он пидор. Он и правда был педерастом. В этом не могло быть никакого сомнения, особенно когда я видел, что творилось внизу, когда с одной стороны подмывались мусульмане, а с другой Михаил Потапов засовывал в рот дочери кашу. Пусть Непалино мне был противен, но он хотя бы никогда не надоедал. Как прочие, со своими историями. Он никогда ничего не рассказывал. Разве что чуть-чуть о своем дядюшке или о Германии, где он жил у какого-то старого педераста, которому он готовил, мыл ноги, делал массаж и все остальное. Но он никогда не углублялся в детали своего кейса, никогда не ныл и не жаловался.

Нет, он, конечно, жаловался и надоедал, канючил, но иначе. Он тихонько вертел повсюду своей любопытной задницей и на мир смотрел слегка прикрытыми узкими глазюками. Он, прошедший институт европейской жизни в Германии, зримо презирал прочих, грубых, нецивилизованных, неотесанных варваров, которые повторяли одни и те же истории без конца и без конца лили слезы. Эти идиоты иногда падали в обморок, содрагаясь всем телом, как в фильмах. Он смеялся над ними. Они делали это только затем, чтоб привлечь к себе внимание, чтоб всех убедить в том, что они заслу-

живают положительного ответа, как никто другой, и немедленно. Они все стремились залететь в больницу, чтобы получать дополнительные деньги. Он презрительно фыркал. Ему на все это было наплевать. Он только шурился и брезгливо усмехался. Наш Непалино был самодостаточен. Он, конечно, тоже не отказался бы от дополнительных денег. Но он скорее подставил бы ради этого зад или отсал бы, чем упал в притворный обморок, изображая эпилепсию.

Ему было трудно в лагере. Его донимали ублюдки. Его все гнали. Его никто не любил. Его часто спрашивали молодые дебилы: “Ты — гей, Непал? Да, гей?”, и смеялись. Он никогда не отрицал, что он пидор, но и не стремился выставлять это напоказ. Он не стыдился этого, и не был горд; для него это было естественно. Что ценнее всего, он никого и никогда не убеждал, что у него подлинный кейс, и что он как никто другой заслуживает положительного ответа и немедленно. Ничего подобного никто от него никогда не слышал.

Он не хотел казаться чем-то, чем он не был. А был он всего лишь гей, и ничто больше. Вот и весь кейс. Ничего выдумывать было не надо. Не надо даже было лгать. Не надо было напрягать мозги. Говорят, когда его спросили менты: “Зачем Вы пожаловали к нам просить убежища? На каком-таком основании? Какова причина?”, — он, глядя на ментов против направленного на него света сквозь свои длинные бархатные ресницы, спокойно сказал, что причина одна: “Я — гей”.

В этом он был по-своему герой. Похабный. Но в этом отстойнике он был герой и гений. Потому что он был натурален. Он не врал, не юлил, не скрывался. То, что было его сутью, стало сутью его кейса. Это было самым честным поступком в его жизни. Так мне казалось.

По утрам он выползал как уж из постели. Так как окно было открыто 24 часа в сутки (не важно — зима или лето), ему всегда было холодно. Он выбирался из-под всех семи одеял и приползал к спавшему подо мной Хануману, как будто чтобы согреться.

Непалино был похож на изнеженное теплолюбивое экзотическое растение, которое могло жить разве что в парниковых условиях. Проклятое окно убивало его. Он не мог этого вынести. Каждую ночь я слышал, как его зубы танцуют у него во рту. Я засыпал под эту музыку: танцующие зубы Непалино.

Он всегда носил много футболок; как будто они могли бы его согреть. С чужого плеча свитер, огромный, пускающий нитки, мешковатый, с каким-нибудь скандинавским национальным узором, чего я всегда не переносил совершенно (любые национальные узоры). Он выглядел комично и чуть-чуть диковато, и был похож на ожившее пугало. Купить другую одежду хотя бы в том же секонд-хенде он не хотел, потому как копил каждое ушко, каждую банкноту, бумажку к бумажке, одну к другой. Каждую вторую неделю, получив карманное пособие, он складывал купюры в пачку, обвязывал резиночкой, заворачивал в пакетик и — боже мой! — запихивал их в задний проход. Во всяком случае, так утверждал Хануман. А уж он-то должен был знать наверняка.

Непалино даже ел раз в трое суток, и то только в том случае, если ему не перепало с чужого стола. Он всегда крутился по билдингам в поисках, где бы урвать кусочек. С надеждой ждал, что кто-нибудь получит позитив. Получит вид на жительство и устроит вечеринку. Вечеринку для всех! А какая вечеринка без Непалино? Он необходим. Ведь он так хорошо готовит! И тогда он будет ловко, с быстротой машины, огромным ножом резать лук на фантастически мелкие кусочки, а затем курицу, а затем сядет и будет есть с остальными — бесплатно! Гратис! Это его маленькая победа: он снова пожрал бесплатно; идеальный день — день прожитый совершенно гратис! Он сэкономил целый день жизни, которым оттянул наступление черного дня. Это была маленькая, но очень значимая по его меркам победа. Если ему не удавалось перехватить халявной хавки, тогда медленно и неохотно шел Непалино в магазин, сквозь дождь, пересекая футбольное поле. Печальное зрелище. В магазине он купит риса, муки или хлеба, с горя украдет какую-нибудь мелочь (вроде баночки паштета или тюбик горчицы). Вернется в лагерь, поставит рис на плитку, достанет намертво замороженный кусок барашка, отрежет тонкий ломтик от него, пожарит и будет есть. Есть он будет с выражением такого разочарования, будто черный день — вот он, уже наступил, и что теперь ничего хорошего не будет вообще никогда.

Да, он экономил, экономил, готовясь к самому страшному — отказу, и нелегальному проживанию у дядюшки, когда ему придется

тратить, тратить все то, что он копил сейчас. Целых полгода он будет жить у него и тратить свои деньги, пока не выйдет время, и со свежими непальскими газетенками, с новой одежкой, якобы приобретенной в маленьком непальском городке, свидетельством чего будет подлинный непальский чек, присланный ему родственниками, и ничего больше, он явится в полицию, чтобы открыть свое дело вновь. Но полгода он будет изымать из своей задницы купюры, и пачка — месяц за месяцем — будет уменьшаться, и он это будет чувствовать — в буквальном смысле — своей задницей. О, я представлял, как мучительно ему было думать об этом. Я видел, как он серел порой, когда на него наваливались такие думы. У меня сжималось сердце, когда я видел его...

Он был тощ. Он пах специями и говном, потому что когда лазил к себе в задний проход пополнить сбережения или пересчитать, то после вытирал руки о брюки. Брюки всегда были мяты, просто невероятно измятые брюки, жеванные как жвачка анасваи во рту старого узбека; это были не брюки, это была ветошь, тряпье; он и спал в них же. Волосы у него были длинные; сам он был короток, просто шкет, как мальчишка четырнадцати лет.

Казалось, что он был всегда грязен. Он и был всегда грязен. Даже когда он выходил из душа, его кожа была такого же грязноватого оттенка, что и до посещения душа, и отливала зеленью. И не было тому объяснения... Потому что он ничего такого не делал, чтобы так замараться. Тем не менее кожа его всегда отливала этой болотной зеленью, местами лоснилась, шелушилась как ряска.

И вот по утрам начиналось. Непалец выскальзывал из-под всех своих горой наваленных одеял, выматывался из тряпок, выбирался из брюк и пытался проникнуть как кошка в постель Ханумана, который как-то раз дал слабинку или дал понять, что мог бы, если б очень хотел, и вообще, иной раз не прочь и с мальчиком, почему бы и нет?

В сущности, именно поэтому Ханни и уговорил Непалино пустить нас к ним жить, пообещав тому плотские утехы в полной мере взамен на постой, а уж тамильца-то Непалино смог уломать. Да того и не надо было уламывать, так как он почти и не жила в кэмпе.

Но Хануман не торопился обещанными утехами баловать непальца, поэтому тот сам свои делал попытки, да все по утрам.

Я был уверен, он умышленно моменты выбирал, потому как знал физиологию. Наверняка. И не по себе. Сам он, наверняка, всегда был бы рад подъебнуться, да только не всегда получалось склонить кого-то к тому же, соблазнив своей дыркой. Вот он и лез из кожи вон по утрам.

Да, ранним утром, когда пружина у одинокого мужчины тянется к чему-то такому, что вот только пригрезилось во сне да растаяло, и по инерции тянется, да так, что кажется — не все ли равно к чему. Непалино, видимо, зная об этом, считал, что можно воспользоваться моментом, и он крался к постели Ханумана как мартышка, на всех четырех. Хануман его отбрасывал, пинал ногами, плевал в лицо, говорил что-то на хинди, и тот стоял на коленях и, сложив ручки перед собой, тараторил на хинди в ответ какие-то смешные слова, жалобно, обидчиво, плаксиво. Потом забирался под свои одеяла и там уж сам как-то, но тоже как-то довольно шумно, и нарочито шумно, чтоб не давать спать, как бы в упрек Хануману, что ли; вот ты, мол, не подпустил меня, а я вот теперь тебе спать не буду давать.

А иногда Ханни пускал Непалино, делал ему одолжение, и тогда начиналось чавканье, с каким-то урчанием. Это случалось, как правило, тогда, когда Хануман был не в силах сопротивляться, когда он был слишком пьян или слишком обдолбан, или то и другое вместе.

Но тогда это случалось не слишком часто, потому что мы были бедны и еще не так изобретательны, чтобы иметь деньги. Даже жажда алкоголя не могла нас заставить что-то делать. Мы так обленились, что даже не собирали бутылки. Последний подвиг, который мы совершили, был телевизор. Этот гроб весом в пятьдесят килограммов. Мы его со свалки тащили всю ночь, обрывая руки, напрягая спины. Три шага — стоим. И так все десять километров. А потом включили и неделю не выключали, потому как если его выключить, он не включался по часу: приходилось разогревать его феном (догадка Ханумана) минут по сорок; ставили в таких случаях Непалино, и он стоял, как статуя, и грел кнопку феном. А потом смотрели

фильмы, сутками, просто сутками... И так громко, что оглохнуть было можно. А потому громко, что тише было сделать нельзя.

То была депрессия, запахом которой был запах кукурузного поля. И вот однажды во время облавы нам пришлось прыгать из окна и ползти в кукурузное поле, политое удобрениями. Там мы легли, затаившись, перешептываясь, как при бомбежке; и пролежали, пока менты не уехали. А удобрения были не только химические, но и натуральные (эко-натур-продукт), то самое дерьмо, которое копилось в специальных чанах возле кэмпя, это было говно азулянтов, тех же мусульман.

И вот там в поле, лицом в говно, лежал я и думал, что столько дней по утрам я слышал, как смывает свое говно мусульманская нехристь, но не думал, что придется мордой в него лечь, и лечь только потому, что хотелось продлить эфемерное мое существование в этой стране. А стоило ли оно того? Стоило ли мое бессмысленное нелегальное существование в этом кэмпе того, чтобы ради этого лечь лицом в дерьмо мусульман? Да чье угодно дерьмо! Чье бы ни было! Какая разница, чье это дерьмо, когда ты в него лицом лежишь!

Именно с того дня я стал задаваться вопросами вроде: "Зачем я так странно живу? Чего я жду? Какой рыбы ловлю в этом кэмпе?"

Особенно тягостные думы на меня наваливались именно по утрам, когда выползал из постели, штанов, футболок, разматываясь как мумия, проклятый Непалино; когда напевая что-то свое унылое, с бутылочкой по коридору шел араб; когда доносилась брань Михаила Потапова, и раздавался сдавленный не то плач, не то вой маленькой Лизы.

2

К тому времени как мы добрались до Юлланда, мы уже слезли с иглы и даже озаботились своим здоровьем (Хануман стал проповедовать троекратное питание и отказался от гамбургеров). Сначала тому способствовала обстановка. Мы ненадолго осели у одного

югослава, который работал приемщиком на свалке. Познакомил нас с ним Свеноо. А со Свеноо мы познакомились чуть раньше; он работал в Фарсетрупском лагере для беженцев и мы познакомились с ним через такой же сброд, каким мы были сами. Он занимался в лагере детьми, спортом, досугом, черт знает чем. То есть, создавал видимость занятости; с его энергией это недурно получалось. Он создавал видимость такой кипучей деятельности, что никто не мог усомниться в том, что работы ведутся. Пил он много, так много, что сколько бы ему ни платили в Кресте, ему бы не хватило, потому они с сербом затеяли свой тихий, нелегальный бизнес.

Они продавали всякую технику; главным образом, компьютеры. И Хануман, который двумя фразами смог убедить их в том, что он не то что разбирается, а просто все знает о компьютерах, стал починять выброшенные на свалку компьютеры. Для этого мы тайно их вывозили со свалки, предварительно проверив, насколько те годны для употребления, а потом Хануман, как завзятый специалист, делал из говна конфетку, расширял память, вводил виндоуз 98, игры, всякое такое, уснащал старый ком всем тем, чем его снабжали Свеноо и Ласло...

Мы жили в домике югослава, в небольшой комнатке. Югослав, который был настолько же серб, насколько и венгр, был одинок, уже весь седой, дряблый, жадный, весь потертый, лицо в капиллярную сеточку старого пропойцы, нос просто фиолетовый, а глаза в масле. Готовил он, правда, хорошо. "Жены нет, научился", кратко объяснил он. Был он немногословен, угрюм, даже суров, и был он со странностями. Мог заплакать ни с того ни с сего, назвать меня или Ханумана странным именем, мог говорить с самим собой, не замечая нас, или с кем-то еще в комнате, и тогда становилось жутковато, как при участии в спиритическом сеансе. Иногда на него нападало беспамятство, некий духовный паралич. Он мог часами сидеть и ничего не делать, не то что просто не делать, но и не соображать при этом ничего. Тогда готовить приходилось мне. Я готовил ему русский борщ и жарил картошку со стейком. Поев, он мог очухаться, даже сказать что-нибудь на своем языке, но все равно мог еще долго пребывать в этой прострации.

Свеноо говорил, что это нормально, просто человека шибко контузило на войне, и это в порядке вещей. Для него, Свеноо, это дей-

ствительно давно стало делом обыкновенным. Потому как ему и не требовалось, чтобы его кто-то слушал, о чем-то с ним говорил, ему было достаточно себя самого, он тоже был со странностями. Он мог сам себе умиляться, сам себе хохотать в кулак о чем-то ему одному известном, и мы вскоре ко всему этому привыкли. Свеноо против серба был просто сорока, тархтел без умолку, и всякую чушь нес. Главное, что Свеноо о нас постоянно заботился; он покупал нам выпивку и сигареты, если серб отключался; или когда он дежурил на своей свалке, Ханни звонил Свеноо и тот привозил все, что Ханни заказывал, а заказывал он от души! Но он имел право, все это окупалось, возвращалось им сторицей. Хануман работал круглосуточно. И еще потому, что югослав, несмотря на апатичность, не мог побороть свою жадность, которая овладевала им по пробуждении. Он заставлял Ханумана работать. Как только он приходил в себя, он с удвоенной энергией начинал привозить все больше и больше компьютеров. Даже те, которые не работали. Тогда он говорил Хануману: "Могли бы пригодиться на детали, не так ли?"

Да-да, вздыхал Хануман, и засылал югослава в магазин за Джонни Уолкером, говоря, что привык к айриш кофе, не может без него работать...

И тот плелся в магазин, бормоча на ходу себе что-то под нос. Он поил Ханумана кофе с виски, сам намешивал, чуть ли не вливал в рот, а вливал так, как иной в машину бензин. Зло, с сопением, вливал и смотрел, смотрел, как на мониторе шла загрузка, как бежали цифры. Он смотрел на это с каким-то детским восторгом. Точно то, что происходило на экране, было эффектом вливания виски в горло Ханумана. Еще смотрел он так, будто чувствовал, что от этого роста загрузки зависит рост счета у него в банке.

Так мы залегли у серба. И становилась такая жизнь Хануману в тягость... Каждый день он рылся в корпусах компьютеров, что-то извлекал, проверял, пробовал, несколько компьютеров могли загружаться одновременно, а он как лунатик с кровавыми глазами мог бродить по комнатке, выискивая сам не зная что. Детальки были разбросаны повсюду, ступить босиком было нельзя (я два раза проколол себе ногу), корпуса громоздились вдоль стен.

Комнатка была маленькая. Как гробница. И мы в ней — две мумии. Хануман корпуса и прочий хлам уже в коридор выставлял, или, вернее, меня просил. Говорил, что дышать нечем; и правда — пыль плавала в воздухе слоями, слоями. Коробки и корпуса громоздились в коридоре. По ночам мы спотыкались о них по пути в туалет. Лампочки нигде не работали. Коробки вскоре стали появляться на кухне. Дом наполнялся новыми и новыми компьютерами, в то время как покупали все меньше и меньше. И чем меньше покупали, тем больше серб привозил хлам, который был еще хуже, нежели хлам, просто металлолом!

Но мне было наплевать: я не делал вообще ничего, я просто валялся в постели целыми днями, смотрел телевизор и пил что-нибудь. Мне было все равно, что происходит, все равно! Пусть происходит что угодно, лишь бы от меня никто не требовал только одной вещи: предъявить документ!

На улицу выносить корпуса компьютеров серб боялся. Во всяком случае, белым днем он не выносил их, но только ночью, тайком, в фургон Свеноо пронесут, чтобы выкинуть в дежурство на свалке. А позже, как нам с Ханни стало казаться, те же самые и привозил снова. Что с психа взять!

Копились эти корпуса из-за его трусости, из-за его конспирации, ведь не дай бог соседи прознают про это. Был он невероятно труслив, все боялся, что его за жабры возьмут за эту торговлю. Тоже шептал о какой-то комиссии, боялся чистки, перепроверки его кейса. Он и компьютеры-то продавал в газете через Свеноо, свой телефонный номер он боялся дать.

“Мало ли что,— говорил он,— я на свалке работаю, а тут — компьютер...”

Поэтому Свеноо сам занимался продажей компьютеров и покупкой выпивки на кораблях в порту, куда серб сунуться тоже боялся.

“Мало ли кто там на корабле может быть,— говорил он. — А вдруг серб или босниец какой, ножом пырнет и готово! Кто знает, что у них у цыган в голове!”

Тем более, он был не самый чистый серб, и сербом он себя вообще не считал. Он серб, как он говорил, был только наполовину. По отцу

он был серб. А отец его пил, пил безбожно, и помер от пьянки. А вот мать была из Венгрии, и звали его самого Ласло. По имени, как он говорил, он был настоящий венгр. Но когда доходило до застолья, тут в нем просыпались гены отца, тут он становился самым настоящим сербом, просто бездонным! Он последним уходил под стол, медленно, погружался, как субмарина, но последним. Зато меньше всех остальных помнил вчерашний день и больше всех страдал от похмелья.

Иногда мы ночевали у Свеноо дома тоже, в Бломструпе. Совсем недалеко от Фарсетрупа. Дом его стоял на горе, на огромной глыбе, с балконом, с видом на порт, и по утрам кричали чайки, порождая в моей похмельной голове ностальгические чувства. Иногда, еще не проснувшись до конца, слушая крики чаек с закрытыми глазами, мне бредилося, что я дома.

Однажды мы пошли со Свеноо вдвоем на корабль купить контрабандной водки и сигарет. Пришел русский корабль, и Свеноо взял меня в переводчики, на всякий случай, чтобы не обманули. Да и русские моряки, говорил он, не очень-то по-английски, *how much and okey*, и все, а чуть что — отказываются понимать, нихт фирштейн, хоть убей! И я пошел с ним. А там ребята нам не только продали, но и уломали выпить с ними. Был чей-то день рождения. А может, просто шла пьянка, да такая, что караул! Мы сдуру влились в нее, да так и остались на корабле.

Вернее, я не помнил, как остался. Не помнил, как ушел Свеноо. Ничего не помнил вообще. Только проснулся в каюте, увидел нары какие-то, увидел иллюминатор, увидел тельник, почувствовал, что покачиваемся, ага... Так стало мне жутко: а вдруг ушли? А вдруг вышли в море? А вдруг я забыл на берег сойти? И что теперь? И кому что я докажу? Так страшно стало, так дико. Запаниковал, побежал, умножая свой страх топотом ног, и гулкое сердце мое билось во всех направлениях, опережая все мои ноги. Билось и боялось. Как и я сам, в этой металлической банке, как крыса в лабиринте. С грохотом прокатился по всем коридорам. "Куда мы идем?", стучал я во все двери, "Где мы?!"

И только когда выскочил на палубу, когда увидел Бломструп, когда

понял, что мы не вышли из порта, вздохнул, но не успокоился. А вот когда уже вышел из порта и пошел улочками Бломструпа, когда увидел девушек, выкатывающих из магазинов товар на улицу, выставленные на висячих карусельках блузки, брючки, увидел почтальона на светло-коричневом велосипеде, в красной куртке, с тяжелым кожаным чемоданчиком на раме, только тогда отпустило. Но еще долго меня тревожил пронзительный свист и вскрики чаек, долго я не вылезал из норы серба, долго не ходил в порт, все сидел и курил, курил да думал...

Скоро бизнес пошел на убыль. Во-первых, стали почему-то меньше привозить хорошей техники. Те, что привозили, годились разве что на детали. Хорошего товара, из которого можно было бы что-то вылепить, не было. Да и сделано было впрок так много, что оставалось дело за продажей. Но почему-то никто не звонил, никто не хотел купить поддержанной техники. А может, Свеноо просто забыл объявление дать. Что с него было взять! Да и мы сербу надоели, и серб нас достал своей паранойей.

Мы стали все чаще и чаще вылезать из норы. Погода наладилась, ливни прошли, дышалось хорошо, грех было просиживать такие красивые деньки в бункере с компьютерами да в компании придурков.

Однажды мы выехали за гашишем в Ольборг. Там, в кофе-шопе, встретили старого Хью; он нам продал какой-то странной травы, от которой нас переклинило так сильно, что мы пешком побрели в Бломstrup.

Было это очень странно, потому что ехать на автобусе до Бломструпа из Ольборга не меньше двух часов, а идти, идти целые сутки можно. Но мы шли всю неделю. Объяснить, как мы решились на такое путешествие, можно было только травой. Это была ядреная травка, что называется, чернобыльская шмаль! Мы не помнили, как ушел Хью; я помнил только то, что мы с Ханни шли по бесконечной улице Ольборга, передавали друг другу огромную сигару, которая отказывалась куриться и тоже была бесконечной, и еще мы грызли при этом какую-то восточную сладость. Хануман потом не помнил ни сигары, ни сладости, но я помнил, помнил про сладость потому, что у меня от сладкого тогда стал болеть зуб.

Шли мы очень долго. Потому что внезапно встали автобусы. Началась какая-то забастовка. Об этом нас предупредил Хью еще до того, как мы с ним закурили. Он сказал, что после четырех начнется забастовка. Хануман сказал, что ему плевать, и Хью запалил джоинт...

Водители автобусов, кажется, требовали увеличения не то отплаты, не то зарплаты, а может, и того и другого, с надеждой, что авось хоть одно да и увеличат. Автобусы стояли на остановках. На них были повязаны какие-то ленты, в лобовые стекла вставлены картонки с какими-то фразами, которые заканчивались несколькими восклицательными знаками, и были по всей видимости лозунгами с теми требованиями, которые выдвигались. Сами шоферы стояли поодаль. Их легко можно было узнать по синим безрукавкам и голубым рубашкам. Они одели свои кепки со значками. Некоторые пили кофе из термосов, некоторые прикладывались и к пиву, но тайком. Все эти детали нам бросились в глаза, когда мы уже отошли, и могли осмыслить ситуацию. Не трезво, а так, более или менее...

Мы сидели в кафе на вокзале, думая, как бы нам наскрести на билет на поезд, чтобы поехать в Бломструп. Поезд должен был идти из Фредериксхавна, это был вечерний поезд, шел он во Фредерицию. Это был самый красивый интерсити, который я когда-либо видел. Один раз мы с Ханни проехали на нем...

...На втором этаже, в бизнес-классе. Напротив нас, закинув бронзовое бедро на золотое колено, сидела шелковая датчанка, просто golden brown¹! Не женщина, а магнит для самца. В коротенькой юбочке, на лодыжке серебряная змейка, на пальце ноги кольцо, на руках так много всего, что в глазах рябит. Она была в пиджачке, в футболке под ним, под футболкой чувствовалось, как там живут две такие груди, о которых можно только мечтать. Она была подтянута, явно взлелеяна соляриумами и бассейнами, массажистами, парикмахерами, маникюрщицами. Она была просто суперзвезда! Мы с Хануманом сидели и пускали слюни. Ханни купил кофе, закурил и спросил, не хочет ли она сигарету. Она ухмыльнулась и отказалась. Он все еще думал, как бы к ней подкатить, но тут вошли кон-

¹ отсылка к одноименной песне The Stranglers: золотисто-коричневая

тролеры и попросили нас выйти, потому что у нас не только не было билета ехать в бизнес-классе, но какого-либо билета вообще, чтобы ехать в интерсити или в товарном! Ханни не мог пережить такого унижения, он чуть не полез в бутылку, с возмущением показывал им двузонники, которые действительны только в пределах Копена, да и те были действительны несколько месяцев назад. От него отмахивались, на него лаяли. В затылок пыхтели, подпихивали аккуратно в спину, к дверям, — взяли в мягкий оборот, с обеих сторон, под каждый локоток, к дверям, — пыхтели и рычали в каждое ухо, ласково и твердо говорили, чтоб мы убিরались, да, убирались сами, пока не вызвали полицию. Насмешки мелькали как фотовспышки. В нас стреляли взглядами. Безобразие. Все люди как люди, а эти... Скандал. На всю сеть DSB! Shame, shame, porpy shame!¹ Мы были рады убратся. Не надо никуда звонить! Счастливы спрыгнуть на ходу. На быстрый асфальт. Кривыми ногами. К чему проблемы? Какие пустяки! Нам неприятностей не надо. Простите пжлста. Накладочка вышла. Не стоит ругаться. Проехали лишку. С кем не бывает! Не разобрались в расписании. Сели не на тот поезд. Родились не под той звездой. Уже исчезаем. Нас уже нет. Пешком тоже можем! Кинолента интерсити укатила долой. Перевели дух. Ханни оттянул большими пальцами подтяжки. Оттопырил губу. Шире шаг, Юдж! Живее, сыкин сын!.. Ну выкинули из поезда... Делов-то!

...В этот раз, во избежание подобных накладок, решили не рисковать; как бы ни был хорош интерсити, а стоил проезд в нем дорого. Я видел, как Хануман облизывался, провожая глазами каждый мимо пролетавший поезд; я знал, что искушение велико; он просто ловил кайф, когда нас несло через ньюборгский мост... Хануману интерсити нужен был прямо как доза! Но не в этот раз, — до моста было далеко, — нет, не в этот. В этот раз ему все-таки следовало взять себя в руки, прислушаться к голосу рассудка! К тому же денег у нас все равно не хватило бы, даже до Бломструпа, даже не в бизнес-классе. Даже попить кофе из интерсити. Даже просто на перроне рядом постоять. Он готов был стоять, — меня это не устраивало: надо было

¹ Стыд и срам! (англ.)

двигать отсюда, пока на нас не начали обращать внимание щелочки-глазки с мобильными телефонами в карманах!

Плюнули и пошли пешком; он как всегда нес высокопарную чушь, изобретал пешеходную философию на ходу, снова “мы против всего остального мира”, как обычно... К ночи кое-как добрели до Лёгстера; уже нисколько не соблюдая технику безопасности, мы просто вломились на какую-то свалку на отшибе города у самого моря, или канала, влезли в какой-то старый фургон, покурили, вырубались, а под утро у меня началась паранойя.

Я не желал вылезать из фургона несколько суток, потому что мне казалось, что за фургоном следят. Я придумал себе, что снаружи кто-то шастает с зеркальцем, стреляя смертоносными зайчиками. Я все выглядывал, и мне мерещилось всякое, все было подозрительно. То, как помойки стояли у стены, будто сгрудившиеся заговорщики; как нависали над нами синие, зеленые, бурые ржавые контейнеры; у берега покачивавшиеся баржи; хрустящие от натуги провода, волуны, рокот мопеда; и то, как стену заливало солнце; как тени расползались по стене; крик чаек опять же пронзал сердце; да и шум моря, который при желании мог распадаться на вполне отчетливо произнесенные фразы... Мне было подозрительно все, в том числе и сам Хануман.

Его рожа. Она гримасничала. Становилась маской. Иногда он походил на моего отца, каким он был в молодости, — и тогда меня отбрасывало на двадцать пять лет назад, и я начинал пускать слюни. Когда он стал жутко похож на мою тетку, я набросился на него с кулаками. Я кричал на тетку: “Какое ты имеешь право мне говорить, что он мой отец! Ну и что, что отец? Если б у тебя такой папашка был, ты бы его на моем месте давным-давно отравила бы! Я клянусь! Если б тебе мой папаня устраивал допросы, как нам с матерью, ты бы давно нашла способ, как его укокошить!”

Все это бесило Ханумана. Он психовал. Кричал на меня. Бил по щекам. Так он мне потом рассказал. Сам я деталей не помнил. Он уговаривал меня, увещевал, пытался воздействовать.

Ничто не работало, все было бесполезно, я просто сходил с ума. Хануман приносил мне еду, но когда деньги кончились, он настоял на том, чтоб я собрался и вышел.

“Или... — сказал он. — Или я ухожу один, сейчас и навсегда!”

Переступив через страх, я собрался, вышел, перебежал через площадку до помоек, одел солнечные очки, втянул в воротник голову, обмотался шарфом, забинтовался весь, как Невидимка, и мы снова пошли...

Мы шли то полями, полными кукурузы, то мимо коров, которые провожали нас тупыми взглядами, как больные в психиатрической клинике. Мы шли вдоль обочин маленьких дорог, под дождем, скрепя сердце, скрипя зубами, кутаясь от ветра, пряча руки в карманы, отогревая пальцы под мышками, хромая на все четыре ноги.

Сумка стучала по пояснице, лямка натерла плечо, ботинки до волдырей сбили ноги. Мои ступни помертвели, пальцы окочурились, пятки покрылись мертвой кожей, все суставы скрипели. На левой ноге большого пальца я сломал ноготь.

Мы остановились у озера. Хануман пошел опустошить кишку в какой-то туалет подле коттеджей, в которых никого не было. Мне было велено проверить, можно ли заночевать в коттедже. Я залез в один из них, порылся, нашел старое вонючее одеяло со следами засохшей спермы (так мне подумалось) и почему-то решил, что ночевать там было можно.

На окошке была картинка Винни-Пуха, стояли кружечки, в одной была зубная щетка. Я решил, что надо снять ботинки, и лег на деревянную койку. И хотя было очень холодно, я снял ботинки, снял куртку, и тут я увидел, что на потолке, прямо надо мной подвешены какие-то висюльки. Я стал их рассматривать, почему-то почесывая ногтем большого пальца левой ноги заскорузлую пятку правой. Висюлька была славная, пушистая, с какими-то ниточками, перышками и стекляшками.

“Это ловец снов, — сказал Хануман, зевая. — Изобретение индейцев Америки. Сегодня будем спать под защитой предрассудков толтеков...”

Он стал укладываться в постель, а я стал рассматривать свой ноготь, которым до крови начесал пятку. Ноготь был страшен. Я спросил Ханумана, не остались ли у него щипчики для удаления рогового покрова или сухой застарелой кожной ткани. Он сказал, что только для рук, и только для его рук.

“Это же предмет личной гигиены, — добавил он с легкой угрозой в голосе. — Сам знаешь, как я щепетилен в отношении всего, что касается гигиены...”

Я понял, что далее говорить об этом с ним бесполезно; он ничего не даст, ничего. Он мне не давал бриться своим станком; от этого я зарос, как леший. Он не давал мне свой одеколон; от этого я вонял, как шишок. Он не давал мне кусок своего мыла; от этого я был чумаз, как черт. Я удивляюсь, как он согласился со мной спать в одном коттедже! Будь я на его месте, и будь я в его ботинках, Хануманом с его-то амбициями, щепетильностью в отношении всего, что касается предметов личной гигиены, с его-то завышенными требованиями к людям, я бы себя самого выгнал на хуй ночевать в собачей будке!

И думая так, я стал отламывать до конца полусломанный ноготь!

Сколько раз в жизни я это уже делал, но мне никогда не научиться. Я буду наступать на эти же грабли в год по пять раз. Я не куплю ножницы, не украду щипчики, нет, я буду пальцами отламывать ногти! Даже если у меня есть в доме ножницы или щипчики, я все равно буду его ломать! Я одержим этим; каждый раз я думаю, что в этот раз я все сделаю правильно, в этот раз не дойдет до корня, и все равно оторву с кровью, с мясом и буду искать, что бы такое приложить, чтобы остановить кровь.

Я не мог идти после этого, не мог надеть ботинок, боялся натянуть носок!

В коттедже мы просидели сутки, потому что я не мог идти. Потом Ханни уговорил меня попробовать тронуться в путь. Мы прошли километров восемь по петляющей дороге. Погода улучшилась. В небе как будто что-то разгладилось, нечто обозначилось, какое-то просветление. Нам попалась стоянка. Карман дорожный. Стояла машина. Одна фура. Пустая. Одна легковая. С немецкими номерами. В кармане был знак. Был туалет. Была карта местности. Ханни изучил карту. Он сказал только два слова: “I see...”¹ Это меня обнадежи-

¹ Ага, врубаюсь... (англ.)

ло. В меня вселили оптимизм эти два слова и то, как задумчиво они были сказаны. Слова влились в меня, как бурлящее течение.

Была мусорница, в которую я тут же заглянул с надеждой чего-нибудь отыскать. Мимо. Был какой-то подозрительно шевелящийся куст. Голоса в стороне у полосы моря. Детский голос. Смех. Громкий голос мужской. Отчетливо произносящий слова по-немецки. Что-то вроде "Раз-два-три, давай! И еще раз! И еще раз!"

"Гимнастику делают, — сказал Ханни с улыбочкой, потирая руки. — Идиоты, ухха-ха!"

За машиной была скамейка и столик. Мы не сразу их разглядели. На столе стоял термос. На скамейке — корзина. На корзине — полотенце. Внутри корзины были приборы: пластмассовые тарелки, ножи, вилки. Еда! Хлеб в пластиковом пакете, в упаковках запечатанные масло, сыр, сливки, еще какие-то крекеры. Мы сцапали еду и пошли. Быстро-быстро. Скрылись в лесу и сожрали все. И быстро пошли дальше. У меня возобновились рези в желудке. Мне надо было попить. Сухое-то натошак! Я не мог больше идти. Меня тошнило от ходьбы. Я лег на землю. Я смотрел в небо. Оно было низким. Жужжали какие-то назолые мухи. Ползли серые редкие облака. Равнодушные ко всему. Они ползли, будто выполняя работу. В этот момент я себя ощутил в ловушке. Ловушка простая. Такая же как музыкальная шкатулка. Я — это букашка, которая случайно попала в шкатулку, и теперь все валики, молоточки и пружины бесятся, пытаются от меня избавиться. Мне стало плохо. Стошнило. Хануман некоторое время курил. Я попросил его курить в сторону. Он спросил: "Куда?" — "В сторону от меня", — сказал я. Он курил в сторону от меня, развивая мысль о музыкальной шкатулке. Он превратил шкатулку в juke-box, меня сделал паразитом или вирусом, который испортил программу этой машины, и все мелодии перепутались.

"Представь, — говорил он, — как ужасно звучала бы "Unchained melody", если б смешалась с "Wonderful world", а?"

"Не знаю, — сказал я, — я ненавижу обе".

И меня снова стошнило.

Потом мы шли какой-то совершенно сельской дорогой, узкой, кривой, как деревенская рябая баба, с редкими знаками; выше нас

поднималась кукуруза, кукуруза, кукуруза и небо... Нас достала дорога; мы пошли напрямик через поле; Хануман бубнил:

“Мы — дети кукурузы, мы — дети кукурузы, мы — дети — мать вашу — кукурузы!”

Так мы доковыляли до Фарсетрупа, просто кукуруза раздвинулась, и мы увидели лагерь, белье на веревках, которое развешивала жена Эдди.

“Уууууу, — сказал Хануман, и полез в брюки. — Это дело надо бы вспрыснуть!”

В сторонке играли визгливые детишки, кидались камнями. Хануман стоял в позе страуса и пялился на иранскую женщину с большой висячей грудью и мял себе член. Мужики что-то жарили на костре за изгородью плетеных ивовых веток. Хануман пригнулся, переломился надвое, вытянул шею, изогнул спину, — теперь он был похож на кенгуру перед прыжком. Он мусолил свои яйца, глядя, как иранская баба наклоняется за бельем, как у нее поднимается юбка, как оголяются ее толстые икры. Я сидел на земле и тупо смотрел, как во влагой подернутых глазищах Ханумана появляется сонная поволока сладострастия. Я уловил тот волшебный миг, когда в его глазах эта мерзкая в сущности бабища, вдруг стала желанной. Кровавые глаза Ханумана налились похотью. Он буквально вожделем отвратительную коротконогую толстуху! Эту вислозадую небритую тварь! Ему было по барабану! Он рьяно работал уже обеими руками, как настоящий кенгуру, вырывающий колтун из своей сумки! На плацу албанцы чинили машину. Капот уже проглотил одного, готов был принять и другого. Третий все пытался снизу подлезть. Хануман входил в экстаз, глядя, как иранская баба поправляет на плечах свою кофту; глядя, как она тянется к веревке, и кофта сползает, оголяя ее шею. Скрипели качели, из кухни вместе с голосами вылетала музыка, арабская, пронзительная; кто-то взвизгивал, мячик шлепал о стены, разбиваясь и множась; доносился запах съестного; шуршала кукуруза. Белье окончательно скрыло с глаз иранскую бабу. Хануман застегнулся, и мы решили войти проверить, чем можно разжиться в кэмпе. Хануман сделал шаг из кукурузы, — я последовал за ним.

Мы вошли в кэмп; тут же Хануман поймал своего старого знакомого Непалино; какая удача! Ханни обернул дело таким образом, словно приехал к нему. Он же обещал навестить старого непальского друга!

“Не так ли, Юдж! — подмигнул он мне. — Разве я не обещал, что приеду? Помнишь, я давал себе слово в Авнструпе, что обязательно найду моего маленького непальского друга? Разве я не сдержал данное мной слово?”

Я не помнил, чтобы Хануман когда-то рассказывал мне про своего непальского друга. В Авнструпе непальцев было пруд пруди, — все на одно лицо, все хитроватые, все пришибленные, зачморенные, я их не различал совершенно, — ни одного из этих недоумков Ханни не провозглашал своим другом, никогда; тем более я не помнил, чтобы он клялся кого-то из них разыскать, но тон Ханумана был такой, что я сразу же закивал, с такой готовностью, будто изображая, что слышал от Ханумана о его “непальском друге” столько всего хорошего... так много хорошего, что сам очень-очень рад, что наконец-то мы его разыскали!

Хануман не давал непальцу опомниться: “Вот он я, дружище! Показывай, где живешь! Рассказывай, как живешь!”

У Непалино от обилия внимания и похлопываний по спине зачесывало в затылке, он с радостью глупой девчонки повелся на слова Ханумана, повел показывать комнату. Хануман нахваливал все: и одежки Непалино, и журналы Непалино, увидел газету на хинди, шлепнул лапкой в нее и выкрикнул какое-то слово на своем, а мне крикнул:

“Восхитительно! Газета из Мумбаи! Вот это да! Я чувствую себя почти дома!”

Я окинул комнатушку взглядом, мгновенно пуская в ней корни через свои кровоточащие мозолями ноги. Через минуту мы увидели тамилца. Он собирался в душ; он нам тоже очень обрадовался; он повел себя в точности как я, когда поддакивал Хануману; но даже если он и притворялся, нам это было только на руку! Был он в толстенном свитере, заправленном в спортивные штаны; штаны были натянуты по самую грудь! Непалец переговорил с ним, и мы остались у них, как бы на несколько дней...

Некоторое время меня радовала смена обстановки; я брал себе пару бутылочек пива (в долг), усаживался с блокнотом, курил, пил пиво, писал стихи, единожды — письмо домой, матери, с открыткой с какой-то церквушкой Ольборга в лучах солнца и с облачком в пронзительно синем небе...

* * *

Я нашел себе приятеля, и даже некоторое время мы пожили в его комнате. Его звали Степан, был он из Самары. Уже больше трех лет он взламывал бюрократические системы разных стран. Безнадежно. Все пытался осесть: сперва в Бельгии, потом в Германии, побывал и в Швейцарии, куда перебрался из Германии вплавь по какой-то горной реке, оттуда бежал, потому что его в несколько дней могли выслать во Францию или в ту же Германию, где заперли бы и в наручниках — домой, но он бежал и остановился в Дании. Он открыл тут новый кейс. Мне он не рассказал, в чем была суть его обоснования прошения о предоставлении убежища. Единственное, что он мне сказал, чтоб я не повторял его ошибки, и не тратил времени, а искал женщину.

“Нужно искать бабу, — бубнил он одно и то же. — Чтобы делать либо фиктивный брак, либо по расчету. А иначе толку не будет... Больше тут нечего ловить...” Он вздыхал и добавлял: “Эх, бля, Дания-Дания, мокрая Германия...”

Он все сетовал, что столько времени потратил на эту страну, ничего толком не скопил, домой мало что выслал, а что выслал, отец его пропил. И вообще, отец его к тому моменту пропил уже все, даже дом.

“Так что, — говорил он, — высылать посылки и деньги больше некуда, да и возвращаться тоже — некуда...”

К тому же он знал, что встретят его люди в гражданском с вопросительными улыбочками на лице. Поэтому надо было что-то думать. Что им такое ответить, как отмазываться. А думать он разучился, совершенно.

Это сонное королевство превратило его в мумию; в особенности этот Юлланд. Он тут на Юлланде просто замариновался, как их сладкий огурец. Фарсетруп, этот лагерь, сделал его студнем, про-

сто холодец какой-то, просто отморозок. Волю его повязала рутина, ожидание разрешения кейса, неоправданные надежды, болтовня различных знакомых, которые отравляли его байками о каком-то небывалом умельце-адвокате, который мог самый безнадежный кейс за определенную плату сделать выигрышным. Степан некоторое время копил на такого адвоката. Он был меланхолик, не стыдился смотреть порнографические фильмы в присутствии других людей, и что еще хуже, не стеснялся возбуждаться при этом и рассказывать отвратительные истории, в которых был не только повествователем, но либо главным действующим лицом, либо очевидцем. Так, он рассказал, как его однажды в Германии подвез один немец. Он долго брел по какой-то дороге, мимо неслись машины, которые почему-то сигналили, он голосовал, но в ответ ему у виска крутили пальцем, и вот, наконец, остановился один, согласился подвезти. Они ехали, даже беседовали. Степан знал чуть-чуть немецкий. Немец был стар. Он рассказал, что был в русском плену. Он рассказывал про войну. Он был совсем пацан еще. Потом был плен. И его там, одним словом, опустили. И ему пришлось по вкусу. С тех пор он не прочь был пососать.

“Ты как, не прочь, если я отсосу?” — И Степан дал тому отсосать. Эту историю он закончил тем, что он не видит в том ничего предосудительного, если кто-то кому-то даст пососать, даже мужику, и тем более — немцу. Богатый старый немец сосет у азулянта, русского нищего азулянта; в этом для себя он находил маленький триумф личной победы над огромной Германией.

Деньги, которые ему давал Крест, он почти не тратил; собирал бутылки, и нам показал, какие и где. Потом показал все помойки, где можно найти было еще более-менее годную пищу; показал, где по осени выставляют фермеры свою картошку, морковь, лук.

“Это тут недалеко, — сказал он. — Пять минут на велосипеде. Сел, крутанул педали, и через пять минут у тебя есть лук, редис, картошка, морковь...”

Он этим и жил, деньги почти не тратил, даже на проезд. Сперва у него был велосипед, на котором он объездил весь Юлланд. Он был довольно спортивен, поджар, даже худ... Потом он нашел в автобу-

се потерянный проездной, это была большая удача, небывалая удача. Так никому еще не везло. Ему в жизни так не везло еще никогда. Потому что это тебе не сто рублей. Это даже не сто крон найти. Даже не десять тысяч. Это же бесплатный проезд по всей Дании на всех видах транспорта!

Проездной билет был хитрый, специальный, принадлежал какому-то зрителю лесных угодий и источников, озер и прочих естественных водоемов. Проездной какого-то егеря. Почти военный. Он переклеил карточку, проехал раз; ему ни слова не сказали. Водила кивнул ему с уважением, он прошел в салон, занял место и долго еще опасался, что могут войти и попросить его предъявить документы. Проехал раз, другой; порядок! И с тех пор катался совершенно бесплатно!

Перед тем, как его депортировали, он дал карточку мне. Но я так и не воспользовался ею ни разу. Во-первых, фотографии, которые можно сделать в аппаратах на станциях, не подошли бы, а в ателье я сунуться не хотел. Во-вторых, подклеить так, как надо, не сумел бы, потому что надо было бы под прошивку, под пластик, под кнопку, которой пробивают весь проездной, под нее надо было бы как-то загнать свою фотографию. Как это сделал Степа, я не знал. Этой детали он мне сообщить не успел.

Перед тем как его забрали, он часто смотрел на свой проездной и все повторял, что ему жаль, ну как ему жаль уезжать из Дании только из-за одного этого проездного, потому что там такой халявы никогда не будет, разве что если под какого-то инвалида закосишь.

Его забрали внезапно, хотя он ожидал депорт со дня на день, был даже предупрежден, но все равно, все равно это было как-то внезапно...

Билет я потом нашел, как мы и договаривались, в вентиляционном отверстии, где он и хранил его обыкновенно. Но тайну своей ювелирной работы он открыть мне так и не успел. Когда я показал эту работу Потапову, он пришел в неопишемое восхищение. Он крутил билет и так и сяк, по нему видно было, что он готов прямо сейчас же забрать билет у меня, но также видно было, что он совершенно бессилен понять, как Степану удалось засунуть свое русское

худосочное личико под датскую кнопку и пластик рядом с именем какого-то датского егеря, Пера Уле Педерсена.

Степан успел показать нам на карте все близлежащие свалки; сказал, где и что можно взять, и кому что продать, даже познакомил с людьми, которые жили в эмигрантских общагах. Это были здания в три или пять этажей, грязные, вонючие, шумные, хуже любого кэмпса. Люди в них жили самые разные, но, в сущности, те же, что и в лагерях. Только они сделали еще один очень важный шаг по пути к гражданству в Дании. Они получили статус беженца; им не грозил больше депорт; и они получали немного больше денег, что и делало их людьми, а не лагерными крысами. Поэтому ползать по помойкам они уже брезговали, но были готовы купить все что угодно, даже принесенное с помойки, по самой ничтожной цене. Они всегда с наслаждением ждали, когда им что-нибудь принесут, они ждали, чтобы начать торговаться, бойко, со слюной и неприличными жестами, они настолько скучали в этих своих общагах, что были рады поторговаться из-за любой ничтожной ненужной дряни со свалки.

Все это Степан нам показывал и рассказывал, будто считал своим долгом рассказать и показать, будто старший, или дед в армии, или будто сдавал нам объект, он делал это так, будто готовил смену себе. Сам же готовился к депортации. Потому что дело его, как он считал, пошло с горки, да по такой наклонной накатанной плоскости, что просто настоящие русские горки, хоть в салазки залезай! Адвокат его вызывал несколько раз в месяц, все вздыхал и говорил:

“Ну ты слышал, чтоб русский получил позитив?”

“Нет, — говорил Стёпа. — Не слышал”.

“Ну вот”, — говорил адвокат, разводя руками; чего ж ты, мол, от меня еще хочешь...

“Так оно и есть, — говорил мне Степан. — Чую: скоро на хаус, все уже на мази...”

И так как терять ему было нечего, а на что-то жить поначалу в России надо было, он собрал себе “броник” и пошел по магазинам. Тырил в основном диски, игры, мелочь всякую, а потом продавал. Но ему не повезло; он попался. Потом, напившись, он мне горько сказал: “Вот, Дания уже выпихивает меня из себя. Куда ни кинь,

а всюду клин!" И я чуть не ляпнул тогда — "куда ни плюнь, всюду мунь"¹, чуть не выдал свое тщательно скрываемое ото всех "эстонское происхождение", хотя Степан бы, конечно, ничего бы такого не просек...

Вскоре его депортировали. Перед тем как он отбыл, он нам завещал все бутылочные и свалочные россыпи Фарсетрупа, наказывал не лениться и собирать бутылки, а на собранные деньги — ехать в Ольборг на улицу дискотек, цеплять бабу.

"Да такую, чтоб брак делать. Больше в этой стране ловить нечего, — говорил он и добавлял свою присказку: Эх, бля, Дания-Дания, мокрая Германия..."

* * *

До Ольборга, ближайшего крупного города, было прилично пить, а денег у нас не было. Поэтому мы, захотев повеселиться, выбрали городок, что поближе и чуток побольше Фарсетрупа, наскребли на бутылку, билеты и заявили туда на какой-то карнавал. Городок славился своей свалкой. И еще названием. Произносился он как "Орс", но так как писался с той же буквы, что и Ольборг, то есть с "А" с кружочком, то мы его звали просто "Arse", то есть "задница".

Мы поехали развлекаться, цепануть кого-нибудь. Гулянка на дискотеке была такая, что не протолкнуться. Все три этажа были забиты разодетыми в женщин мальчиками и девочками, почти ни во что не одетыми. И все шальные, не то под колесами, не то обдолбанные. Я заметил, что ребята пускаются в пляс, зачастую оставляя свой бокал на столике. И этим воспользовался. Так как был уже неплохо выпивши и ничем не брезговал. Мы на троих выдули бутылку ольборгской водки за углом до того. Я пошел по бокалам. Пил пиво на халяву. Воровал эти бокалы только в путь. Вскоре я так насосался, что уже не понял как оказался в компании девушек, которым Хануман втирал, что он террорист из "Аль-Каиды", а я, его приятель, ирландский террорист. Хануман при желании мог себя выдать за араба, пакистанца или перуанца. В случае, если он выдавал себя за араба, он назывался Мухаммадом. Если он назывался пакистанцем, то го-

¹ член (эст.)

ворил, что его зовут Парамджит. Если же он назывался перуанцем, то играл несколькими именами. Имена могли быть Эдуардо Амаран Сантос, Рикардо Сантос Амаран, Амаран Сантос Эдуардо и так далее. Я предлагал ему назваться именем Хуренито, но Хануман говорил, что такого имени нет. Что я его сам выдумал. Так было и в этот раз. Все по сценарию. Он назвался Мухаммадом. Меня назвал Юджином. Через несколько мгновений я уже был на воздухе и щупал какую-то датчанку. Она хохохотала, а у меня в руках уже были ее влажные трусики. Еще через несколько мгновений я обнаружил себя уже у нее дома, уже на ней, и тут же соскользнул коленом по коже кресла и ударился ребром о крепкую деревянную ручку. Финиш! Это было больно. Но я зато протрезвел и уверенно довел дело до конца, два раза. Затем пил из бара ее родителей чинзано. Снова оказался на ней. Было даже ничего. Too drunk to have sex¹. Снова сосал из того же бара мартини. Потом сгреб какие-то цепочки с полки вместе с мелочишкой и несколькими бумажками, поцеловал ее на прощанье и якобы помчался на какой-то корабль. Обещал зарулить на обратном пути из Нью-Порта. А сам побрел полями. Сквозь туман. По щиколотку в грязи. Хлестал дождь. Меня мутило. Трясло. Я вышел на дорогу и остановил первый автобус. Объяснил на пальцах, что меня обокрали подонки на дискотеке и мой проездной тютю for helvede²! Вот мелочь осталась. Выгреб и вывалил на пухлую ладонь водилы. Все что осталось, бубнил я в надежде, что тот откажется принять. Но водила непоколебимо взвесил монеты, брезгливо пальцем перебрал, как чешуйки, и швырнул в ячейку своей автобусной кассы. Не слушая мой ломанный датский, он виском отправил меня в салон, вызвал во внутренностях автобуса скрежет, сосредоточился на туманом затянутой дороге. Двери уже захлопнулись, а я все еще по инерции продолжал бормотать, что, мол, карточки нет, ничего нет, до Фарсетрупа подбрось... — Яа, яа, яа, рыгал мне в ответ водитель, у — ко, у — ко... ОК!

Когда проспался, попытался подняться. Защемило ребро. Боль

¹ Слишком пьян для секса (англ.)

² к чертям (дат.)

была такая, что караул. Полтора месяца не мог лечь на бок. Дышал на одно легкое. Вот те и погулял. Зарекся выезжать на дискотеки. Прирос к койке. Потом полегчало, стал выходить, изучать городок.

Фарсетруп примечателен тем, что в нем есть домик-музей одного датского писателя, Нобелевского лауреата... Я пытался читать эту дребедень; невозможно. Меня возмущало, что ему дали премию. Видимо, шведы в ту пору вообще не понимали, за что и кому стоит вручать Нобелевскую премию, вот и бросались ею как могли. И бросали по большей части неподалеку, вокруг да около своих... Такой скучной книги мне еще не доводилось читать, разве что "Правда и справедливость" Таммсааре, вот с чем можно было бы сравнить. Но даже старика Таммсааре было сравнительно весело читать, с его собаками, которые гадят на порог соседа, книга не так скучна, но это, это был просто скрип датской телеги, едущей ухабами да колдобинами, такая тянучка, такая жвачка, такая тоска...

Впрочем, такова она и была юлландская жизнь, а Фарсетруп был типичный юлландский городок! В нем было два бара, в которых редко бывало больше троих посетителей. Одна гостиница, в которой вообще никого не бывало. Свалка, на которой было нечего взять, но почему-то была колючая проволока. Озеро, с единственным рыбаком, старым армянином, который, таясь в камышах, умудрялся что-то выудить из этой лужи.

Озеро было маленькое, просто блюдечко, в котором плавало одно-единственное созвездие. И когда я бродил вокруг озера, вместе со стариками, которые вылезали пройтись тоже, у меня возникали странные, бредовые мысли.

"... какие огромные звезды", думал я, гуляя вечером вокруг озера, — надо мной шуршали листья тополей, — под ногами шуршали первые опавшие листья. "... странно, — думал я, — как могут звезды... такие огромные по сути... как они могут поместиться в таком маленьком озерце... ведь мы видим только их прошлое, отблеск... в этом озере... каждую ночь... я вижу то, что было когда-то звездами... Не об этом ли писал Малларме, не об этом ли? Это как сон... больше, чем сон... это почти как смерть... смерть, из которой старый черт умудряется выудить рыбу!"

На меня вдруг стала наваливаться тоска; ощущение, будто я погружаюсь куда-то в батискафе, усилилось; странная меланхолия овладела не только умом, но и телом, точно теперь на меня давили тонны и тонны воды; у меня не было жизни в теле; я перестал выбираться наружу; я еле двигал ногами; все время тошнило; перестал выходить. Ноги к тому же стали пухнуть, отчего-то...

“А может, у тебя печень?” — как-то брякнул Хануман, не мне, а куда-то перед собой.

“Что?” — спросил я, не понимая: о чем он там гундит? что плетет? какая печень?

“Ну, печень... Я слышал, люди, у которых что-то с печенью, вялая печень, вялый кишечник, они становятся такими мало активными, молчаливыми, ко всему безразличными... Вечно ходят с такой вот гримасой, как у тебя на лице... Так вот ко всему относятся... У тебя есть тошнота?”

“Конечно! Постоянная!”

“Вот видишь! Это точно печень!”

“Да иди ты к черту!”

Погода стала сильно портиться, будто Фарсетруп, и вся природа, в которой он выстроился, все вокруг заболело. Деревья чихали и кашляли, швыряясь салфетками-листьями, небо было какое-то серое, обморочное. Дождило постоянно. Иногда шел мокрый снег. Было нестерпимо грустно. Сперва я засопливил. Потом заболело горло, чуть-чуть. И я плотно залег в комнате. Никого не желал видеть. Просто лежал. На самом дне. Будто бы являясь грузилом какого-то измерительного прибора, какими измеряли глубину в старину. И измерял я собой глубину депрессии, самый бездонный омут, какой может быть. Мысли мои вращались вокруг одних и тех же планет: жизнь, как бесконечное мучение, и смерть, как избавление бесконечным отсутствием жизни, болезнь к смерти, исцеление духа... Я просто тихо сходил с ума. Еще бы, как не сойти, в этом вонючем кэмпе, посреди полей, мусульман и слез ребенка за стенкой.

“Кто-то, когда-нибудь”, — бормотал сквозь сон Хануман снизу, и умолкал, засыпал; сопел, просыпался и начинал сызнова: “Кто-то

должен научить этого ублюдка, как надо обращаться с детьми... Кто-то должен научить его быть человеком... Он человеком быть не умеет, а еще художником хочет называться!"

3

Да, Михаил Потапов часами простаивал перед мольбертом, выпятив свой барабанный живот, выкатив черные безумные глазищи, выставив влажную нижнюю губу, нахмурив густые татарские брови. Своей бордатостью и щекастостью, своей животностью, коротконогостью да крабурокостью, всей своей импозантностью он претендовал на место между Климтом и Муссолини, но деспота в нем было, конечно, больше, чем художника. Да и картины его оставляли желать...

Вообще, картинами назвать их было трудно; их можно было называть, и называть как угодно, потому что они все были бессодержательные; что на них было намалевано, никому понятно не было. Конечно, плоские. Конечно, абстрактные. Совершеннейшая мазня!

Я говорил Хануману, что даже слоны рисовали лучше.

"Слоны тех идиотов, которые бежали в Америку из Союза!" — объяснял я Хануману.

"Какие слоны?" — не мог понять он. "Что ты мелешь?" — "Да, слоны!.. Сперва эти диссиденты пытались поразить западного ценителя живописи фюрером в обнимку с Лениным, Сталиным — в обнимку с Наполеоном, да в каком-то НЛО в окружении голубых инопланетян с характерными большими головами и лукаво суженными миндалинами глаз. Но когда они убедились, что никому их символистская ностальгия, поднявшаяся на дрожжах запоздалого подражания, да выпеченная в горниле суррогатной сюрреалистики, не нужна, они взялись учить слона держать хоботом кисть и возить ею по пятидолларовой холстине. Ничего получилось. Купили! Они поставили дело на конвейер: другого, третьего к станку! И те, надо сказать, не только хорошо работали, но и продавались. Там, во всяком случае, не было претензии, да и что со слона взять..." — "Слоны", задумчиво проговаривал Хануман, думая о чем-то своем...

Да, черт подери, слоны! Вот о чем я говорил и о чем думал, когда смотрел на картины Потапова. Так называемые его шедевры были полны амбиций, и назывались они с вызовом. Взять хотя бы “Время № 1”: колесо с мелькающими спицами разрезало пенную волну. Или “Время № 2”: покрывка катилась с горы; “Аристократия”: вот это был бы истинный шедевр. Мог бы быть. Тему подсказал я; если б он умел рисовать! Большие разноцветные пузыри в луже с бензином. Но ничего не вышло. Потом были “Технократия”, “Бюрократия”, “Иерархия” и прочая, прочая дрянь.

И все же он их продавал. Редко, но продавал. Потому что умел здорово говорить о том, что подразумевается под тем или иным символом. Можно сказать, чем хуже было нарисовано, тем лучше он говорил о том, что нарисовано. Тем более многозначительные символы и термины произносились с важностью в лице самой что ни есть православной. Иногда он так увлекался, что переходил на крик, иногда, задышавшись, шипел, сипел, кашлял. Очень часто, почти всегда, он говорил: “Тут, конечно, задан насущный экзистенциалистский вопрос”. Вот этого я вообще не мог понять. Мне многого стоило, чтобы удерживаться. Когда он включал свое бормотание, мне частенько приходилось прибегать к своему старому избитому приему. По-шендиански я лез за платком то в один карман, то в другой, завязывался в живой узел, потом выгребал из карманов хлам, записки, билетки, которые еще можно было реанимировать и проехать разок, мелочь, которую зачастую ронял и долго собирал, кашлял в кулак, маскируя смех, потом доставал платок и сняв очки протирал стекла, смотря на свет, прищурившись. Когда-то для всех моих друзей это был знак, что я стебусь, и все начинали лихорадочно бороться со смехом. Но теперь об этом знал один Хануман, который умел сохранять безразличие в любой обстановке, потому что он никогда не лез за словом в карман, как я за платком, и смеялся в лицо любому, когда ему этого хотелось, даже если Михаил Потапов покупал ему пиво.

Несмотря на то что картины Потапова были ужасны, а от той высокопарной чепухи, которую он плел, просто тошнило, ему удалось две картины продать, втерев предварительно очки и выставив напоказ

свою пузатую тельняшечью бедность. Одну картину купил Свеноо, другую — парочка свидетелей Иговы. Первый купил “Аристократию”, другие купили “Бюрократию”. Заработав таким образом крон триста, Михаил Потапов взялся малевать какой-то религиозный бред. Но это все оборвалось, когда он познакомился с Корнеем.

Тот тоже был коротковат, с животиком, с бородкой, но на Климта был похож больше, чем Михаил, и ничего общего с Дуче не имел вообще. Он тоже рисовал, и тоже все, что угодно, и тоже готов был согласиться на что угодно. Только он никогда не имел храбрости как-либо назвать свои творения. Впрочем, того и не требовалось, так как они были до примитивизма конкретны, в них абстрактность отсутствовала настолько, что даже назвать его картины было страшно. Они были просто лубок. Вот — церковь на холме. Вот — на том же холме мельница. Вот — лошадь, или корова, или запускающий змея мальчик, и все на том же холме. Да, картины были максимально конкретны, настолько, что даже не требовалось их как-либо называть. Они были просты, как фотографии, и — что было ужасно — как плохие фотографии. Но Корней не просто так рисовал, он был хитроват, несмотря на эту простоту в творчестве. Он сперва подбивал под заведомого возможного покупателя клинья, узнавал, что бы тому понравилось, а потом рисовал, как бы на заказ, без ведома самого заказчика. Как бы сюрприз! Вот приходил человек, и его, как бы случайно, Корней подводил к картине, написанной чуть ли не телепатически. Но все равно продавал мало; больше дарил, рассчитывая на всяческие услуги и помощь. Он ведь был азулянтом, он все надеялся вызвать в датчанах жалость к себе, прослыть непризнанным гением, который развернется по эту сторону уже не существующего Занавеса; он прикидывался блаженным, хотя на самом деле был банальным алкоголиком.

Он дарил картины, а потом просил, чтоб ему, например, если не трудно, составили бы письмо куда-нибудь, например, в тот же Директорат, с просьбой о переводе на квартиру, или в лагерь для больных. Ведь он был так болен...

Он еще и под инвалида косил, и очень настойчиво. Глотал какие-то жидкости; пытался притвориться язвенником. Старался выбить се-

бе какую-то добавочную пенсию, хотя бы крон триста в месяц на лекарство, которые бы пустил на тот же табак. У него с табачком всегда выходило накладно. Урезать табак он не мог, не мог себе отказать, но и денег сберечь хотелось. Вот и не получалось. Да еще и выпить тоже хотелось. Вот и придумывал себе то язву, то эпилепсию.

Однажды, в коридоре, в очереди за пособием, он стал истошно блевать, чуть ли не кровью; вызвали скорую, его увезли в корчах. Кончилось тем, что он пролежал три дня в больнице, где его изнасиловали трехметровым зондом, плохо смазанным, заставили сидеть на диете, ставили клизму, клали под какие-то аппараты, но так ничего и не нашли. Он вернулся худым, больным, измученным и абсолютно здоровым. Впав в депрессию, он нарисовал воистину свою лучшую картину, единственную, которую он осмелился как-либо назвать, да еще как: "Изымание сердца из груди Данко". Ну чего еще было ожидать от шестидесятника? Ничего другого придумать он не мог.

Но эта вскрытая грудная клетка, и из нее вырываемое почему-то щипцами и почему-то на будильник похожее сердце, все это было очень натурально; говорят, он обращался к анатомическому атласу за деталями. Все же лучше, чем мельницы, русские церквушки в снегу, поля тюльпанов, которые он якобы видел в Нидерландах (по легенде его тоже якобы везли в Данию в машине через Голландию; обычная азулянтская брехня).

Почуяв талант в кисти Корнея, Михаил взял на себя роль его импрессарио или Бог весть кого, а проще говоря — он приносил ему краски и холсты (рамки вытачивал потом сам), давал темы и толкал картины в разных местах. Но платил он Корнею даже не пятьдесят, а только тридцать процентов, при этом Корней никак не мог поверить, за сколько на самом деле была продана картина. Сам Михаил тоже не все остальные деньги клал в свой карман, потому что говорить ни по-английски толком, ни тем более по-датски он не умел, и ему нужен был человек для переговоров с потенциальными заказчиками. А человека лучше Ханумана на эту роль найти было нельзя.

Ханни и я, мы как-то неплохо нагрелись на этом. Не то чтобы на-

грелись... Ну, Ханни сперва толкнул там пару картин какому-то лысому любителю всего такого “русского”, который не устоял перед напором Ханумана, почесал подбородок и взял мельницы с коровой на холме. И мы скурили все тем же вечером (а утром, сука, снова Непалино снизу чавкал).

Потом случилась история, которая все изменила, изменила в корне. Хануман нашел одного типа, который держал ресторанчик, или кафе, или магазин, или видеопрокат (фильмы были только индийские), все вместе, словом, черт знает что! Маленький, обшарпанный домик в одном из закоулков Ольборга, с дверью, над которой была вывеска, сообщавшая о том, что это не просто домик, но в некотором роде магазин-ресторан, а что именно, магазин или ресторан, войди и сам себе выбери.

Там, в Ольборге, полно было всяких таких странных мест. Взять хотя бы конспиративный кофе-шоп, в котором мы покупали гашиш и ту злосчастную травку у проклятого Хью. Тоже странное место, жуткое, мрачное, окутанное клубами курящейся ганджы. Вокруг на улице ржавые мотороллеры и велосипеды тех, кто однажды приехал и, видимо, не смог уехать. Шуршавшие пакеты, дерьмо всех видов, от засохшего собачьего до расплывающегося человеческого. В сторонке, привязанный к мотороллеру, одинокий пес, выглядевший как просящий подаяния нищий. А внутри — расписанный странными психоделическими картинками паб. И еще более мрачный, еще более жуткий декор. Например, чего стоил один только сухонький старичок, выбирающийся из чашечки мака с улыбкой и полным дрянным шприцом. Да и посетители были немногим лучше.

Тип, которого нашел Хануман, владел и управлял двадцать четыре часа в сутки своим ресторанчиком, который назывался “Рушди”. Старик был индус и педераст при этом; и Ханни меня затащил зачем-то в этот ресторан. Он якобы пообещал старику, что познакомит его с настоящим русским писателем, пишущим по-английски. Я тогда немного делал вид, что писал книгу, а на самом деле — убивал время, выводя на бумаге всякую бессвязную белиберду. И вот, в жуткий дождь, под одним зонтом, мы пришли к этому старику. Знакомство русского писателя с хозяином индийского ресторана состоялось

под канонаду грома, аплодисменты хлопающей ставни и вспышки молний, заглядывавших во все щели, как любопытные папарацци. Мне думается, ему было лет семьдесят, никак не меньше, таким дряхлым он выглядел, просто развалина. Я долго уделял внимание своему плащу, с которого стекало и сыпало во все стороны. Я попросил чаю. Чай был давно готов. Даже успел остыть. Я не попросил разогреть. Я понял, что ждать тут нечего. Старик был не только хозяин, но и кок, уборщик, продавец, официант и так далее. Хануман пытался снять с него бремя хотя бы частично, то есть взять на себя одну или две роли, с которыми старый пердун уже явно не справлялся. Но тот странно воспринял предложение Ханумана.

“Ну что Вы! Как можно! — засопел старикан, глядя Хануману в глаза снизу вверх, как пес. — Такой образованный, такой блестящий молодой человек и в таком заведении? Вы, должно быть, смеетесь над старым дураком!”

Старик был не только педераст, но был он просвещенный педераст, и он бредил культурой. В частности, он бредил Россией, о которой ничего не знал, и, вероятно, ничего знать и не хотел. Так как 70 лет — не тот возраст, чтобы добывать какие-то достоверные сведения о чем-либо, не тот возраст, когда формируют какую-то четкую точку зрения на что-то. Потому что она уже не нужна. Все, что нужно человеку в 70 лет, это готовый завтрак, пилюли после завтрака и то же самое на обед и ужин. Человеку в 70 лет нужна комнатная температура и не нужно ничего, что могло бы пошатнуть уже имеющиеся представления о мире. Ему нужны свои сформировавшиеся, проржавевшие, подгнившие, но все те же взгляды на мир и представления о нем, короче, то, что человек в 70 лет еще может держать под рукой или в памяти, если он в здравом уме.

Этот еще был в здравом уме. Он даже читал книги. Очень любил Рушди, конечно. О чем я догадался, когда увидел вывеску. Он с гордостью показал свою коллекцию, выставленную на полке прямо в ресторане над самым лучшим столиком для самых лучших посетителей. Дюжина книг Салмана Рушди, далее портреты писателя, даже лист, на котором, как мне он перевел, написано не то на фарси, не то на арабском, что за голову Салмана Рушди дается десять миллио-

нов долларов, якобы та самая проклятая фетва. “Ах!” — воскликнул Хануман. Там мы и сели, попивая холодный и какой-то странный чай.

Он сказал, что Рушди — это то, что их, индусов, людей Востока, связывает с Европой и Америкой, то есть с Западом. Обычная чушь; я едва удержался от того, чтобы сказать какую-нибудь колкость. Например, пуповину, с которой сравнивался писатель, заменить на прямую кишку. Ханни наступил мне на ногу, и я понял, что надо кивать. С умным видом сказал: “Ну да, конечно, сборник рассказов “Запад, Восток”, ну да, конечно...”

Не помню, что еще там было сказано, разговор был, конечно, смешной, но мне он тогда показался скучнейшим, я даже позволил себе зевнуть, когда Хануман предложил поработать над дизайном ресторана. Он мог бы сделать, например, картину на стене: “Последний вздох Мавра”.

“Да, это было бы круто, — говорил Хануман, надувая губы и откидываясь в плетеном поскрипывающем стуле. — Представьте себе дерево и пригвожденная к нему рукопись, а там дальше — Альгамбра в дымке...”

Старик замечтался; Хануман сказал, что договорится о работе с человеком, но он слишком известный, чтобы ему мало платили, хотя он и глухонемой и убогий...

“Тем более, — всплеснул руками старик, — тем более!..”

“Но, — сказал Ханни, поднимая указательный палец, — было бы недостойно брать дилетанта для такой серьезной работы...”

И с этим старик немедленно согласился. Поэтому цену назначили такую большую, что у меня начали чесаться ладони. Я мысленно перевел сумму в граммы гашиша и бутылки вина, и мне стало и легко, и как-то волнительно. Заразившись фантазиями, я тоже стал что-то говорить. Мы долго беседовали, старик нас угостил чем-то, кажется, даже вином, а потом, не знаю как, но вдруг я вспомнил, совершенно спонтанно, без всякой связи с чем бы то ни было, о своей старой идее — сделать кафе или ресторан, который назывался бы “Chez Guevara”¹. Старик не понял сперва, так как, видимо, не знал

¹ у Гевары (фр.)

французского. Тогда Ханни ему в двух словах объяснил о некоем созвучии имени героя с французским предлогом, и этот нехитрый и довольно-таки ущербный даже омонимизм привел старика в неописуемый восторг. Ханни тут же добавил, что бывал в Праге, у него там жена и ребенок (где их у него нет!), и там он на каждом шагу наткался на кафе “Кафка”.

“А “Chez Guevara” намного круче будет”, — сказал он.

“Да-да-да”, — затараторил старый индус.

Он был поклонником всего такого, он, оказывается, любил не только Махатму Ганди, но и Ленина, и всех прочих идиотов этого помета, а Че Гевара как бы вливался в это хозяйство красных и, разумеется, сливался с идеями всемирной революции, одним словом, пришелся ко двору. Я неожиданно увлекся, заговорил о том, что в этом кафе работали бы только мужчины, исключительно молодые мужчины, похожие на Че Гевару. “Да-да, — говорил я, — курчавые, обросшие ребята, бравые, в беретах, с майками, на которых был бы портрет Че, вот как моя, например...”

“Потрясающе!” — всплеснул ручками старичок.

“Да-да, — продолжал я сурово. — Никаких женщин!”

“Да-да-да”, — соглашался понимающе старик.

Ресторан превратился бы, как стал я более или менее умело намечать, в некий гей-клуб для избранных, богемных педерастов. И тут старика прорвало, он даже вскочил, заломив руки за спину, он пустился мерить свой ресторан слепыми шагами; не глядя на нас, он размышлял вслух: “Конечно, это будет наш ответ! Наш ход! Наша война! Наша борьба! Наше планомерное завоевание мира! Ведь можно же сделать целую сеть подобных ресторанов или кафе!”

“Да, — сказал спокойно дернув плечиком Ханни, — можно и даже по всему миру, надо только выдвинуть идею, толкнуть ее, взять ссуду в банке, связаться с кем следует. Может, даже с кубинскими магнатами. Все это оборудовать, и это так и пойдет!”

Глаза старика остекленели, он видел нечто большее, и более не был вменяем, он бредил, ничего вокруг не замечая. Идея, как вирус, пожирала его сознание. Мы его оставили пораженным этой болезнью, а сами ушли в дождь, под одним зонтом.

Выждав некоторое время, когда брага настоится, мы все явились в его ресторан: Корней, как полагается, разыгрывал глухонемого; Михаил Потапов просто делал вид, что что-то делает, что он зачем-то нужен; мы с Ханни толковали со стариком.

А того уже мало интересовала картина с Альгамброй, которая поднималась бы где-нибудь там, в дымке; там, в дымке, уже поднимались рестораны “Chez Guevara”, которые бы объединили всех педерастов мира; сеть ресторанов и владельцев, объединенных идеей мирового господства красных и доминиона однополой любви над двуполой!

Старик отказался от картины, но сказал, что непременно воспользуется услугами художника для работы в новом проекте. “Ресторан “Рушди” закрывается!”, объявил он в припадке какой-то эйфории, и даже погнал из ресторана двух молодых девушек, которые что-то собирались заказывать, он хлопнул дверью у них за спиной и крикнул: “Мы открываем новый ресторан, ресторан “Chez Guevara”! Ясно?!”

За эту идею ухватился Потапов. Он настаивал на том, чтоб старик сделал полную реконструкцию помещения. Сказал, что необходимо перекрасить стены в красный цвет, а потолок — в белый. Он сказал, что нужно выткать золотой кантик с лепными гипсовыми розочками, как в домах культуры при советах делали, усыпать красными, красными звездами это белое-белое небо. Он бы за это взялся, как маляр-штукатур, он бы, конечно, все сделал как надо. Уж кто-кто, а он-то, дитя Советского Союза, знает, как оно должно быть!

Но его никто не слушал; старик, несмотря на свою жажду новизны, был скареден настолько, что дальше портрета не шел; он считал, что достаточно намалевать портрет и сменить вывеску. Хануману и мне он предложил поработать мальчиками в красных маечках, а глядя в сторону Потапова, которого он почему-то сразу же невзлюбил, он все время задавал один и тот же вопрос: “А что этот человек делает здесь?”

А тот все шатался по ресторану, не зная, чем бы заняться, к чему бы прилепиться. Как пьявка, он полз вдоль стены, прощупывая, где можно было бы шпателем пройти, а где колупалась краска —

кистью. Он предложил положить плитку в туалете, сшить гардины с портретами героя для витринных окон, которые бы смогла сделать его супруга; предложил себя даже в качестве повара и фирменное пролетарское блюдо “борщ”. Я даже не утруждал себя переводить все это старику, который в конце концов прямо спросил Потапова о том, что он делает здесь. И тот ответил, что ждет Корнея, он должен его везти на машине домой.

“Ах! — всплеснул руками старик. — Я так и думал, что это шофер!”

Корней должен был рисовать большой портрет Че. С нескрываемой завистью Михаил смотрел на то, как тот начал делать эскизы; он чувствовал, что у него из-под носа уводили и деньги, и художника, и все лез к нему, советовал выбрать из предложенных Хануманом снимков портрет с кубинской сигарой. Но было решено, что снимки с сигарой будут увеличены и пойдут отдельной серией на стену в каком-нибудь другом месте; этим должен был заняться Хануман.

Мы перевезли некоторые вещи к старику, мы перебрались, кажется, мы снова могли залечь. Я впервые вздохнул с облегчением: больше не было шлепанцев и воды, больше не было криков по утрам, и не было непальского чавканья; можно было спокойно спать ночью, не дергаясь, не вздрагивая, можно было спокойно идти в чистый туалет... Но было холодно, жутко холодно; старик экономил.

Мы с Ханни с трудом помещались в маленькой комнатке, как два трупа в мертвецкой, настолько холодно и тесно там было! Чтобы скрасить наш убогий быт, он принес нам огромное количество одеял; они сделали нашу комнату похожей на цыганский фургон. Также с какой-то материнской или бенефакторской заботой старик принес какую-то смешную раскладушку глухонемому Корнею, постелил ему и, не то чтобы дать понять для чего это, не то просто из своего старческого маразма, старик постучал по плечу художника и, легши на постель, крикнул ему: “Со-ва, со-ва, со-ва”, что по-датски означало “спать”...

И я вспомнил, что как-то мне дядя рассказывал о том, как его в первые кормили в приемнике для эмигрантов, когда он бежал в Данию из совка, в конце восьмидесятых. Как-то вот так же, как не то чтобы глухонемого, а как дикаря. Зашел к нему в комнату охранник, поставил перед ним поднос с едой, и вдруг запрокинул голову назад, рас-

пахнул рот и, как бы ущипнув еду пальцами, запустил воображаемую щепотку пищи себе в распахнутый рот. И сказал дяде: “Eat, eat!”

Потом, когда Корней лег, уже глубоко ночью, старик пришел в его комнату, поставил возле него газовый допотопный обогреватель, включил и ушел. Корней утром сказал, что так перепугался: “Этот аппарат так гудит, пламя такое сильное, а что ежели бабахнет?” Выключить его он побоялся, а сказать что-либо старику он не мог, так как прикидывался немым. Что ж, он просто отодвинул его как можно дальше от себя, сам отодвинул раскладушку в самый дальний угол и спал, отвернувшись к стенке, с подушкой на голове!

Перед тем как покинуть ресторан, Михаил сделал последнюю попытку как-то зацепиться. Он сказал, что у него семья и он не может так запросто переселиться, ему надо перевезти много вещей, для дочери нужна кровать, к тому же она ходит в школу, и так далее. Старик сперва не понял, о чем тот лопочет, потом сказал ему, что он и не собирался приглашать его, и тем более вместе с семьей; он может жить с его семьей там, где он жил, где бы то ни было, он и не предлагал ему оставаться; он махнул ручкой и сказал: “Шофер нам больше не нужен! Художник остается у меня! Шофер не нужен!”

Урвать напоследок Потапов все ж таки урвал, какой-то мешок, который был выставлен в коридоре, который вел из кухни к черному ходу. Но то был мусор, как выяснилось потом. Михаил уехал с зелено-каменным злым лицом; на третьем километре от Ольборга он попался ментам. Мало того, что он превысил скорость, за что его и задержали, так у него не оказалось прав, технического осмотра и он был также вдребезги пьян. С ним в машине была какая-то шалава, которую, как он сказал позже, он решил просто подвезти, но вез, конечно же, куда-нибудь в лес, как это он обычно делал.

Мы зажили у старика. Началось его хождение по всяким банкам, конторам. Бог его знает, куда он ходил. Он просто пытался взять ссуду, что ли, чтобы открыть еще пару ресторанов. Он пытался выдвинуть идею сети подобных ресторанов. Все было спланировано и написано, и переведено на датский. На него смотрели, как на моего дядю в бюро изобретений.

Хануман мне все время твердил, что я должен заявить старику,

что идея принадлежит мне, что я должен получать деньги за идею! Не имеет значения, намалевал я Че Гевару над дверью ресторана или нет, но я принес идею сети ресторанов, я принес с собой целый дизайн, я принес брэнд, трэнд и так далее...

Я только отмахивался от него.

Он сказал, что другой такой идеи у меня в голове может не возникнуть!

Я сказал, что мне все равно.

Он некоторое время молчал об этом, часа три-четыре мы просто занимались своими делами: я перебирал записки, он листал свой порножурнал. А потом мы стали пить пиво, которое нам покупал старик. И Хануман сказал, что ладно, плевать, но он сдерет со старого пердуна сколько-то, хоть что-то!

Но старик быстро убежал и слег. Его идея не понравилась никому; революционер не был популярен в Дании. Разве что среди ауткастов и андердогов, своего рода панков и аутсайдеров, а делать в расчете на эту аморальную маргинальную публику сеть ресторанов — все равно что плодить ублюдков и притоны с клоаками, где те бы множились и таились, гнездились, занимаясь своими грязными делами. Нет! Идея была отвергнута.

Ему, конечно, дали какие-то деньги. Как предпринимателю или человеку, который закрутил частный бизнес и хочет расширить его. Какие-то совсем скромные деньги, каких-то двадцать пять тысяч, чтобы он снял в аренду еще один подвальчик в каком-нибудь на корточках присевшем домишке, мы бы повесили яркую вывеску на набекрень сдвинутый козырек над входом, Корней намалевал бы на стене портрет Че Гевары, за импровизированную стойку уже готов был встать идиот-доброхот в майке с профилем героя, самому ему ничего делать не надо, лепет Ханумана действовал как опиум, он просто околдовывал старика, Хануман пошлепывал своей мягкой ладонью его старческую руку, с усмешкой нашептывал: "Да делать вообще ничего не надо — бизнес встанет и побежит как трамвай по рельсам! Вы отстегивали бы банку за ссуду проценты, сами бы загребали свой доход — ревеню — профит — рантье..." — О, эти волшебные слова! Ну, кто б не мечтал такое услышать?! Сладкие

ядовитые капли, они срывались с губ Ханумана, как бабочки, они кружили над головой старика, осыпая волшебной пылью его ржавые мозги... Старый хер на глазах впадал в кому! Он возносился... Он плыл... Его уносило на волнах прихода...

Старик встал на ноги, поднялся, собрался с силами, взял ссуду, взял и тут же слег; его схватили и начали медленно душить приступы астмы, перемежавшиеся с застарелой мигренью. Я впервые увидел на лице Ханумана искреннее сочувствие; ведь он тоже, как многие индусы, приехав в Европу, вместо ностальгии страдал мигренью.

Мы ухаживали за ним недели три, делая вид, что работы идут, что мы ищем подходящее помещение для нового Че-ресторана, и брали деньги на еду для нас всех, на краски. Но Корнею строго-настрого запретили работать, да он и не мог бы работать, потому что красок мы не покупали. Мы все пытались спровадить старика в больницу; сказали, что отвезем его на машине или отнесем на руках. Но он уперся; он не желал идти или быть несомым в больницу; он не хотел видеть того шофера возле своего ресторана. Такое сильное негативное впечатление произвел на него Потапов. "Эта отвратительная личность... я не хочу его видеть!" — сопел он сквозь кашель. "Никакой больницы!" — ревел старик. Его грудная клетка вздымалась, как если б он был одержим бесами, которых вместе с нашептываниями впрыснул ему в уши Хануман. "Ненавижу докторов! Это лжецы! Обиратели честных трудяг!" — стонал он, как если б речь шла о священнослужителях. Он не обращался к врачам, никогда. Он избегал поликлинику как черт церковь. Помимо того, он не ходил в парикмахерские. Он не обращался к гадалкам. Он не ездил в такси. Он говорил, что знает, что эти люди сдирают намного больше, чем приносят пользы, если есть от них вообще какая-то польза!

Поэтому он остался умирать дома.

"Он умирает", — очень серьезно сказал Хануман, который вновь прикинулся опытным в этих делах ("experienced in a death business").

"Он умирает, — говорил Хануман, констатируя для него очевид-

¹ опытен в том, что касается смерти (англ.)

ный факт. — Определенно умирает". Он говорил с убежденностью хирурга, говорил так, будто тысячу раз видел, как умирают. Говорил так, словно сам его отравил и ни капли не сомневался в им выбранной смеси.

Чтобы скрасить угасание старика, чтобы ему умиралось веселей, чтоб он отдавал концы с музыкой и каким-нибудь героическим пафосом на устах помимо кашля и стонов, чтоб он выпускал дух оптимистично, резво и без никому ненужных проволочек, мы скрывали от него правду, что он умирает, и спокойно ввали о том, что строится второй Че-ресторан, что денег вполне достаточно, что нашелся человек, заинтересовавшийся этим делом, что скоро будут еще и еще Че-рестораны.

Мы приходили из борделя и устало, но с блеском в глазах, какой обычно бывает после посещения борделя, сообщали старику о том, что идут работы, что есть люди, которые уже стоят в очереди на роль мальчиков в маечках, что установлена связь с кубинскими магнатами, которые согласились нас поддержать, а заодно будут продавать в наших кафе только свой кофе, настоящий кубинский кофе! Под настоящую живую кубинскую музыку! И Ханни ставил диск, который он купил за двадцать три кроны, потертый, бэушный диск с трещиной, которая проходила по портрету Че Гевары, как некий шрам. Это был не слишком популярный диск с семнадцатью песнями каких-то кубинских и аргентинских музыкантов, какой-то патристический триббют герою, с его портретом, с его датами жизни и смерти, с цитатами, и прочий бред, одним словом, дребедень! Но и тот пришелся ко двору. Старик здорово умирал под это жизнеутверждающее брентчание. Он хрипел: "Ах, какая музыка! Ах! Какая музыка! Жаль не понять, про что поют..."

Хануман вскрикнул: "Как же! Вот Юджин переведет сейчас, нет проблем! Он хорошо знает испанский!"

Под страшными взглядами Хануманьяка я садился рядом со стариком, я закатывал глаза и переводил. Переводил, не зная при этом испанского, кроме слов "мучача" да "уна пеладурa де платано"¹

¹ «девочка», «шкурка от банана» (исп.)

и проч. Но если Ханни сказал, что я знаю испанский, то я должен был производить впечатление человека, который знает испанский, а не отпираться, как идиот. Поэтому я сидел и речитативом плел, что попало, прищулив тоску в левом глазу. На старика это сильно действовало, его ввергали в печаль мои напевные «переводы». Он плакал, слушал и плакал, а потом давился от кашля. Мы сообщали, что нужны деньги. Для каких-нибудь работ. Ханни выдумывал каких. То на унитаз, то на закупку пива с портретами героя. Мы не просили; мы ставили старика перед фактом: нужны деньги — дело стоит без денег — паровоз нужно двигать в гору — того гляди наша политическая индустрия захлебнется. С достоинством и видом мецената старикан отправлял руку в путешествие за пазуху, сжав челюсти, чтоб кашлем не сбиться. Прищурившись, он вслепую на ощупь отсчитывал под одеялом купюры, доставал их из кожаного кошелечка, краешек которого Хануман пару раз видел, — о чем лихорадочно мне шептал: “Как знать сколько там!.. Кошелек-то мне показался пухлым!.. Вздутым от денег!” Мы брали деньги и уходили в гаш-паб, где курили, убивая время, в ожидании, когда оно убьет старика.

И это наконец-то случилось. День был четверг. Был он дождливый. Прощальный. Хромой. С какими-то грузовиками, которые все тащились и тащились по шоссе мимо дома в направлении моста, за которым начиналась жизнь. А по эту сторону была смерть старика. Он тихо ушел; мы нашли его ранним утром. Был жуткий озноб; была хмарь; похмелье; я замерз так, что с трудом поднялся; я вошел в комнату старика на зов Ханумана. Он сказал: “Финита делля комедия! Комедиант — фьють! — ушел со сцены”, — и спокойно взял у него с груди кожаный кошелек, пересчитал и подмигнул мне. Там было что-то около пятнадцати тысяч. Хануман тут же предложил накуриться и пойти в бордель. Это предложение прозвучало как-то жутковато, почти кощунственно; я отказался, просто поморщился, мне было холодно, тошно.

Первое, что я хотел сделать, это включить отопление на полную мощность. Но Хануман мне запретил это делать; он сказал, что старик начнет быстро разлагаться, а нам это ни к чему. Я не понял его; он сказал, что жить с трупом в одной квартире трудно не с психоло-

гической, а, скорей, с эстетической точки зрения, потому что он — труп — воняет, когда разлагается, поэтому надо снизить влияние факторов, способствующих разложению трупа!

Я сказал, что мне плевать, я не собираюсь жить с трупом в одной квартире, а напоследок я хотя бы согреюсь, и снова попытался повернуть тумблер. Но Хануман сказал, что он не собирается покидать старика, он еще с месячок поживет тут, поэтому, если я хочу, я могу идти, но тумблер трогать он мне не позволит. Я махнул рукой и остался; а он открыл окно, сказав, что в комнате должно быть холодно, как в морге! И это почему-то выглядело, как какая-то запоздалая месть старику, будто теперь Ханни пытался студить его, в отместку за то, что старик нас держал в холоде все это время.

Мы, ничего не объяснив, спровадили Корнея в кэмп, дали ему какие-то крохи на дорогу и пиво; словом, избавились от него. И зажили в холодной квартире мертвого старика, который, несмотря на все принятые меры, вонял так, что хотелось блевать.

Там мне начали сниться страшные сны; мне снились болота, топи, свалки, кладбища, всякая муть... Иногда снился старик, он слонялся из комнаты в комнату с дурацким вопросом: "Почему ни в одной комнате нет часов? Время Че, ребята!" И кричал он почему-то голосом моего отца.

По утрам я просыпался в поту и замерзший, как покойник, просто задубевший, пытался двигаться, чтобы согреться, но это было просто невозможно. Тогда я бежал в душевую, включал там кипятик, ждал, пока пар наполнит маленькую комнатку, а потом медленно и осторожно раздевался и отдавал себя по частям кипятику, и долго, очень долго приходил в себя...

Большую часть времени мы проводили в кофе-шопах и барах, мы болтались в поисках кайфа и шлюх. После продолжительного простоя в лагере нам хотелось жизни, всего сразу, одной большой дозой! Зачастую мы мешали все кайфы в кучу: алкоголь, бордель, травка и "speed"... Как грузины, которые варили частенько "кокнар", мешая героин с кокаином, адская смесь. Но в бордель ходить было накладно. "В бордель не пойдем", — сказал Хануман после второго такого похода, когда он увидел, что у него пусто в карманах. Поэто-

му он решил, что надо искать дешевых сук, а не ходить в бордель. "В бордель ни в коем случае ходить больше не будем. Ни ногой!" — сказал он.

Я тогда так вопросительно глянул на него: для меня только это имело смысл. Плевать я хотел на зелье и порошки. На кой хер нужны порошки, если некого драть? Он поймал мой взгляд и тут же реабилитировался: "Но шлюх мы обязательно цепанем, обязательно! Пусть уродливых, старых, бесформенных, гундявых, с редкими зубами, запахом утробы во рту, вечно пьяных, с грязными жопами и бритыми исполосованными лезвием лобками, но дешевых! Да, как можно дешевле! Когда у тебя такая жизнь, лучше трахать грязное животное, приобретая одно отвращение, чем тянуться к чему-то привлекательному. Понимаешь, в нашем положении имеет смысл достигать высшего уровня отвращения к жизни и всем физиологическим процессам, сопутствующим ей. Красивая баба может вызвать укол отчаяния. Это даже опасно. Нам необходимо отвращение к жизни. А что, как не избыточный натурализм, способствует отвращению! К тому же клевые чувихи нам не по карману, даже одна на двоих, если мы отдадим все свои бабки. А все те, что дешевле, даже те в борделе, в принципе в одинаковой степени отвратны. Они почти такие же, как любая из-за угла, только чуть отмытые. Они не стоят тех денег. Зачем переплачивать? Если можно переступить через брезгливость! Мы будем искать дешевых сук, самых дешевых сук. В этом даже что-то есть такое, не правда ли, Юдж?" "В чем? О чем это ты?" — спросил я. "Как в чем? Как это о чем? В дешевых суках! Я о дешевых шалавах сейчас говорю!" "А! Ну да, возможно, — устало ответил я. — Мне все равно, все равно..." "Вот и я говорю: не все ли равно!.. У тебя точно что-нибудь с печенью... Тебе на все наплевать!" "Да пошел ты!.."

Но на шлюх нам поначалу не везло, пока мы не зарулили в один затхлый подвальчик, просто пропустить по рюмке, согреться, отдохнуть. Устали шататься по городу, по интернет-кафе, по туристическим бюро, по магазинам. Ханни сам не знал, чего искал. Я с ним измучился. У меня промокли ноги. Был скверный ветер, дождь мелкой рысцой бежал то там, то тут, как бы играючи. Сопливило. Про-

дрогли. Сели. Дернули. Закурили. Хануман развернул распечатку из интернета, разложил буклеты, брошюры, что набрал в бюро путешествий. Теперь он их разложил совершенно иначе, без какой-то враждебности. Он раскладывал и разглядывал их, как человек, который может себе многое из предлагаемых увеселений позволить. Предложил доехать сперва до Грено, а оттуда уже паромом на Лолланд. Я кивнул.

“О! — воскликнул он. — Недалеко от Грено есть чудный городишко Эбельтофт. Пишут, что там какой-то музей, потом там очень красивый Старый город, с чудными милыми улочками, которым уже больше тысячи лет... Ну, это они врут. Узенькие улочки, как в Париже... Ну-ну, посмотрим! Значит, много магазинов, значит, много туристов, можно спокойно чего-нибудь — трам-пам-пам — у-мык-нуть... А в Грено, пишут, есть Аквариум, акулы, осьминоги, всякая мразь...”

Я отрицательно покачал головой, но тут услышал вполне отчетливо русскую речь. Навострил ухо. Это были две шлюхи.

“Русские шлюхи”, — сказал я.

Хануман натянулся тетивой, готовой выстрелить. Мы подсели к ним. Наше вам с кисточкой.

Блондинка с брюнеткой, лет по двадцать, одна смуглая, другая совсем белая; как говорится, на любой вкус. Маленькие груди — острый сквозь майку сосок. Грубые глухие голоса — тени под глазами — шальные глаза. Обе из Питера — дворовые кошки — похотливые твари — что надо. Они живут тут поблизости — за углом — в борделе польского альфонса Марио. Жирный урод уехал — можно заглянуть. Но не меньше чем за триста пятьдесят — что-то жрать надо же. А если понюхать вместе — ну если понюхать вместе то можно и не жрать — значит можно договориться — со своими договориться всегда можно — а у вас мобира есть? Мобира найдется — есть знакомый — у него белый.

Позвонила светленькая, Оля, и на скверном английском сказала: “I need something two times ...”¹

Мы стали ждать. Хануман пытался что-то вкрадчиво рассказывать

¹ мне нужно кое-что два раза (англ.)

Оле, но та ничего не понимала и глупо хихикала. Натуля криво улыбалась и тянула из моей пачки сигарету, заглядывая в мои глаза:

“Давно тут?”

“Год...”

“Забыл уж, наверное, что такое русская баба?”

“Да нет, мы тут в Копене повеселились, там много есть...”

“А чо ты тут ищешь?”

“На жопу приключений он ищет, непонятно, что ли!” — взвизгнула Оля и захихикала так же мерзко, как Натуля заглядывала мне в глаза.

Через пятнадцать минут появился черный курдский мальчик, носом зашмыгал, искры пометал глазами, с подозрением на меня покосил, отвел Олю в сторону. Вскоре она вернулась со словами: “Мы идем в бордель! Жирный урод уехал на неделю, так мы чуть от голода не подышаем”. И снова омерзительный смех: “Ну ты блин сказала — по-оотдыха-ае-ем... Ой, обоссусь сейчас со смеху!..”

...так мы убили несколько дней. А потом мы ехали в автобусе, который шел из Ольборга в Эсбьерг (заруливая мимоходом и в Фарсетруп), потому что возвращаться к наверняка уже вовсю кишашему червями старику было страшно. Это был самый медленный автобус в мире! Он шел по мертвой петле, среди самых глухих деревушек и так называемых городков. Вот, например, городок — бензоколонка и автомастерская, рядом дом, за ним другой, третий и все; поля, поля с тракторами, намертво и навечно вставшими в этих полях, ржавые памятники увязшего в собственном дерьме прогресса. Пока ты ехал, юлландский ландшафт за окном вращался как карусель, самая неспешная карусель в мире.

Водители этих автобусов, как всегда совершенно одинаковые, были такими сонными, что казалось могли запросто уснуть прямо за рулем, могли перепутать маршрут, могли свернуть не туда, могли перепутать не маршрут, а себя с двойником-водителем и поехать маршрутом другого автобуса.

Мы уныло ползли несколько часов; дорога вилась, будто издеваясь; несколько раз проехали мимо одной и той же яблони, под которой сидел мастер маленьких декоративных мельниц. Они были выставлены в его саду, на террасе, на балконе, на крыльце, у ворот

дома, и даже на крыше дома стояла маленькая мельница, вращая крыльями, в лопасти которых были вставлены цветные стеклышки, искрившие на солнце, но солнца не было; на воротах его дома было большими буквами написано: HÅNDVÆRK¹. Мы пялились в окно, глотали из горла виски, жевали какие-то булочки с сыром. Хануман всю дорогу пытался вспомнить, на что именно так много было потрачено денег. В конце концов он пришел к выводу: на амфик, виски и шлюх, на их маленькие просьбы, которым не было конца. Он даже зачем-то пытался посчитать, сколько раз мы вызывали барыгу, сколько грамм покупали, сколько раз тот накинул, сколько бутылок виски купили, сколько давали шлюхам на сигареты и шоколадки... и пр. Подсчитав все до последней кроны, он как-то не то успокоился, не то просто сник.

“Проститутки, наркотики, алкоголь, — сказал он тихо, с обреченностью в голосе. — Черт побери! Если б можно было жить без всех этих вещей, я бы давно был миллионером!”

Я сказал ему, что не имеет смысла быть миллионером, если можешь жить без этих вещей.

Он с готовностью согласился.

По приезде мы угощали Потапова вином и гашишем, который курили через кальян с вином, напоили дешевым пивом Непалино, дали понюхать пробку Корнею, и он слег, заснув...

На следующее утро я снова слышал мусульманские молитвы, плач маленькой Лизы, настойчивое приставание непальского петушка к Хануману; у меня снова было похмелье, снова была депрессия, снова не хотелось жить.

4

По утрам, ранним утрам, утрам, наполненным гомоном голосов и шепелявеньем шлепанцев, я стал просыпаться от кошмаров, кото-

¹ ручная работа (датс.)

рые возобновились в те фарсетрупные дни. Мне могло присниться, что я заживо замурован в навозе, как майор Гаврилов, герой Брестской крепости, что я, как и он, лежу в навозе, но только этот навоз распространяется бесконечно, на весь мир, и вся вселенная — сплошной навоз, и я, и Хануман, и прочие обитатели вселенной, все мы заживо захоронены в навозе!

Я валялся целыми днями в постели; я смирился, что моя одиссея подошла к концу, я смирился с тем, что больше никуда не иду. Я решил: все, больше никуда не двинусь отсюда! Что бы там ни было! Плевать на все! Я забил на всех вас, черти! Я просто лежал в ожидании полиции. Пускай приходят! Пусть проверяют документы! Пусть вынесут меня! *Værsgo!*¹

Я решил, что не поднимусь, когда мне будут светить фонариком в глаза, я не стану отвечать на вопросы. Не стану отпираться; мне плевать. У меня нет документов. Я — Евгений Сидоров из Ялты; это все, что я им скажу. И пусть что хотят, то и делают; мне плевать, мне плевать, плевать!

Хануман делал шоппинг и вырабатывал свою философию, находил оправдание “нашему”, как он говорил, жалкому существованию. Именно тогда он сообщил, что ему кажется, что мы “забыли о нашей цели”. Я этого не понял; я не помнил, чтобы он мне когда-либо общал о наличии какой-либо цели. Все, что он когда-либо говорил о цели, были туманные всплески эмоций и — Америка. Все. Ничего конкретного, насколько я помнил, сказано не было, тем более о “нашей цели”. Но Ханни сказал, что, когда мы только-только познакомились и жили у Хотелло, то поклялись на чердаке, и тогда он четко обозначил цели и средства достижения, настолько ясно и четко, что не имело смысла повторять все снова. Я это помнил. Сцена на чердаке отпечаталась ой-ой-ой, но чтоб там были какие-то конкретные вещи сказаны, этого я не помнил... было мелькание рук, воспаленные глаза, влажное дыхание, помпа, сигары и виски, виски и сигары... Хануман скривил козью морду. Сказал, что я прокурил себе мозги. Тогда я ему напомнил, что он сам — первый — так сказать отклонил-

¹ пожалуйста! (дат.)

ся от цели, когда решил, что надо ехать на Лолланд, а не в Америку. Хануман махнул на меня рукой. Как на муху! Сказал, что Лолланд, это так, пустяки, оттянуться, на денек, другой... И затем сказал, что нам не стоило спускать все деньги; не стоило спускать так много. "В другой раз так много мы больше не станем тратить на шлюх. Давай сразу договоримся, — с укором говорил он, словно это была моя вина, словно это я вокруг себя шлюх плодил. — Договоримся, что на алкоголь и гашиш ладно, туда-сюда, но и то — не так много, хорошо?.. А на шлюх тем более... Точно, давай строго: на шлюх — ни кроны не потратим, окей?.. "

Я выдул губами воздух с безразличием; сказал, что мне все равно; мне плевать; что угодно, и подумал: конечно, зачем тратить деньги на шлюх, если петушок есть под боком, готовый сосать каждое утро!

Ханни объявил, что решил экономить. Он сказал, что у него есть четкий план, он якобы отчетливо себе представляет КАК он будет экономить! Я следил за ним, похрустывающим костяшками, я следил за ним с нескрываемым изумлением. Вот по крошечной лагерьной комнатке ходит голодранец и рассуждает о том, как он будет экономить. Как если б у нас был доход, бюджет и т.д., и т.п. Он нес бред. Он требовал от меня работы над испанским языком. Я смеялся ему в лицо: "Как это связать с твоей новой экономической политикой, Ханни?" Он пропускал мои усмешки мимо ушей. "Ты еще не понимаешь, — говорил он себе под нос. — Юдж, ты недурно играешь в шахматы, но в жизни на два хода вперед ситуацию не сечешь!" Он засылал непальца в библиотеку, чтобы тот приносил всевозможные разговорники испанского. И всегда ругался, потому что тот тащил что-то не то... "А это что?! — кричал Хануман, тыкая книжечкой в харю непальцу. — Что это за дерьмо, я тебя спрашиваю! Это вообще итальянский, дурак! Кретино вообще ничего не понимает в учебных пособиях! Как ты выучил немецкий?! Ты говоришь, ты учил по пособиям?! По вот таким вот пособиям? По таким пособиям даже не спросить, как найти улицу в Буэнос-Айресе! По таким пособиям можно разве что спросить "где есть туалет?"... Тупица!"

Потом давал мне пособия, ставил кассеты, мы слушали, слушали

без конца... Это были такие на редкость жизнерадостные голоса, излучавшие солнце, оптимизм, туристический ажиотаж, мне сквозь них слышались шелест океанской волны, шуршание песка и пальмовых ветвей, хлоп крыльев попугаев... Я закрывал глаза и вслушивался в их шепелявую речь: "кабефа — энфима де ла мефа — уна пеладуре де платано"¹... Хануман повторял вслед за ними и требовал, чтобы я тоже повторял вместе с ним.

Он объявил, что начал готовить себя к путешествию; он даже сделал зарубку на стене возле нарисованного бэтмэна; он сообщил мне об этом утром, с необычайной серьезностью беря полотенце и зубную щетку. Он сообщил о "тотальной подготовке", — и я тоже должен был начать собираться. Он назвал это шикарным словом — enterprise. Непалино хмыкнул из-под своих одеял. Хануман проигнорировал это хрюканье. Он сказал по-испански, что идет в туалет: мыться, бриться, чистить зубы. Все по-испански. И того же ждет от меня. Я вылупился на него: так рано!

"А что ты думал! — сказал он, деловито выпячивая дохлую грудь. — Что ты думал, что ты чего-то добьешься в жизни, если будешь гнить заживо в постели? Синдром клошара! Хэх! Юдж, вставай! Шевелись, ублюдок! Скоро мы будем в Аргентине, а там совсем другой часовой пояс: надо постепенно перестраиваться, готовиться к новому времени. Вот, посмотри!" — тут он протянул мне свои часы и сказал с важной деловитостью: "Я уже и стрелки передвинул!"

"Да, да, конечно", — сказал я, ухмыляясь. Он потянул с меня одеяло. — "Это не шутка, — сказал он очень строго. — Все гораздо сложнее... Я тебе сейчас объясню... Сосредоточься!"

Я сел на койке, свесив ноги. С первых же фраз я понял, что он начал здорово свихиваться. Он на самом деле собирался ехать в Штаты — через Аргентину! Из всех им выдуманных путей этот ему казался самым надежным. Но это что... Слушай дальше! И я слушал. И вот что он говорил... Он, как знаток программирования, в чем не один я сомневался, собирался возглавить там какую-то компанию, с которой он якобы уже давно вступил в переписку. Его уже

¹ «голова», «на столе», «шкурка от банана» (исп.)

там ждали с распахнутыми объятиями; уже разворачивались транспаранты: “Бьен бенито, Хануманчо!!!” По его мнению, в Аргентине он стал бы черт знает кем, изобретателем компьютерных игр, вирусов и анти-вирусных систем, — и это по его мнению было даже лучше, чем стать диктатором в Чили или Перу, чем он грезил до этого. Из Аргентины спустя некоторое время он плавно перебрался бы в Штаты. Бесценного пригласили бы занять какой-нибудь пост в какой-нибудь грандиозной корпорации, конечно. Это было смешно, потому что более нелепого способа попасть в Штаты (или в дамки), наверное, еще никто не придумывал! Многие переболели этой “заштатной” болезнью, наверное, все, кого я встречал, мечтали об Америке, которая примет их однажды под свой зеленый подол, но такого ни от одного человека я еще не слышал! “Американский синдром” в среде азулянтов — самая распространенная болезнь вообще. Это перманентно. Как паранойя. Это было и есть и будет априори. Это само собой. Во все времена и во всех народах. В лагере тоже все протекало на фоне этой навязчивой идеи. Более того, допускаю, что большинство сюда потому и попали. Во всяком случае, к этому все стремились. Америка была в сознании каждого. Статуя Свободы была как ось, которая росла из копчика каждой паршивой овцы этой зверофермы, как некая фиксация в черепушке; казалось, подсознание каждого рвалось достичь полной нужданности, вознестись к небесам, и это могло случиться только в Америке, Америка в сознании каждого и была “небесами”. В этом убогом архетипе был и прометеев огонь, и комплекс великой женственности, вечный коитус и эдипов комплекс, все вместе, вообще всё! Мне на это было плевать, — как на опухоль, о которой плакал каждый второй из них, опухоль, которую могли только в датском госпитале вырезать, — мне было плевать на стоны, которые раздавались из всех углов и коридоров, — мне было плевать на то, что они превращали этот свинарник в подмостки, на которых разыгрывали свои срамные водевили, выставя напоказ пролежни, культы, сыпь на жопе, — плевать на всех, на всех этих идолопоклонников! И самое главное: одинаково на всех... Без разграничений! Еврей — русский — армянин — тамиль — араб — негр... Никакой разницы!

В один ряд! На всех плевать! На всех и на каждого... Когда я слышал истории, о том что мусульмане в своих мольбах якобы обращаются к Аллаху, чтоб Тот им послал "позитив", я смеялся. Не над мусульманами, а над шутниками (я это слышал от Маиса, от Потапова, от черт знает кого я только не слышал эти глупости, — от Степана, в первую очередь!). Извлекать процент достоинства из этой безхозной целовеческой материи и выборочно кому-то оказывать уважение было нелепо. Все кругом были поработаны "американской мечтой", которой готовы были в умеренных размерах социала довольствоваться и на скандинавской земле, — все до одного были зомби! Как будто Статуя Свободы излучала какую-то энергию, эманировала команду "приидите ко мне все страждущие и обремененные", и они устремлялись, как новорожденные черепашки к океану, как крысы на дудочку Нильса. Смеяться было не над чем. Разве ж это смешно?! А пуще всех Хануман... Он ввергал меня в транс своими бреднями. Никто еще не мечтал об Америке столь узорчато, столь абстрактно, столь дерзновенно, как он. С трудом ушам верилось! Никто из моих знакомых еще не выдумывал Америку столь изобретательно, и не искал путей проникновения в Ее лоно столь абсурдных. Казанова, Дон Жуан, Ловелас и Фобла — все они ничто рядом с Хануманом. Во всяком случае, то, что он мне говорил, превосходило воображаемое... Не знаю, делал ли он это для того, чтоб меня подурочить, но он говорил, что мог бы сойти за отпрыска индийского аристократа, родившегося на Тринидаде или Тобаго, как Нейпол (которого он много читал, чтобы уметь опять же пустить пыль в глаза и убедить любого, что он действительно оттуда). Он даже не объяснял — зачем! Как будто это и так понятно — зачем... Я даже не отваживался спросить... Я только спрашивал: "Ну а в Штаты тебе зачем? Что ты там будешь делать?" И он начинал раздуваться, пыжиться и кричать: "О, мэн! Что за вопрос! Что я буду делать в Штатах? Хэхахо! В Штатах, ооо! Во-первых, у меня там дядя! И там-то уж я точно не пропаду! Ооо! Я найду работу! 100 процентов найду!" — и щелкал пальцами.

"Какую работу? Что ты можешь делать? Ты!" — спрашивал я его. И он с важностью говорил: "Пфффф! Что угодно! Для начала я буду работать ТАКСИСТОМ в Нью-Йорке!"

Он думал, что достаточно быть индусом, достаточно быть индусом, чтобы, ступив на землю Манхэттена, моментально получить права и такси!

Боже мой, если б я мог думать моей головой! С кем я связался! Как я вообще купился на его трескотню! Как меня скрутила эта ханумания? Как я мог думать, что... Да чего уж там говорить... Если человек с детства едет в Америку... Ну о чем тут вообще можно было говорить! Но что-то же в нем было такое, если я плыл по течению с ним, что-то же было... Да, было, только вот весь его ум, вся его энергия, все то малое, что в нем было, весь запас и все, чем природа его одарила, все сводилось на нет вот таким вот идиотизмом, как Америка или Лолланд. Только я почему-то на это не обращал внимания; я плавно дрейфовал вместе с ним. Мне было удобно это не замечать. Думаю, мой рассудок таким образом оборонялся, мой рассудок заставлял меня любым способом избегать ясности картины, буквально вынуждая меня постоянно курить или закидываться чем-либо, таким образом я инстинктивно спасался от безумия. Потому что если б я призадумался и рассудил трезво, я бы точно свихнулся. Однозначно. Поэтому я смотрел на все сквозь скрещенные на удачу пальцы. Пусть он едет в свою Америку! Пусть едет хоть на Луну! Мне плевать. Я лично не собирался в Америку, вообще никуда не собирался. Мне было важно отсидеться пять лет вдали от родины, чтобы потом стряхнуть с себя цепи страха и допустить мысль о возможном возвращении, в любом виде (желательно в инвалидной коляске с трубочкой у рта и с пенсией, капающей регулярно на счет в банке). Единственное путешествие, о котором я думал, это был Амстердам или Гамбург, но я бы отважился только тогда, когда мне ничем уже фатальным не грозила бы поимка. Когда уже не страшно стало бы попасться в руки властей. А своей Америке я давно сказал "good bye!"; мне Америка была больше не нужна; я из нее вырос; я переболел Америкой и прочими прилагающимися иллюзиями; я излечился. А он — все еще нет. Поэтому Хануман собирался в Америку, а я — так, покурить вышел с ним.

Нет, его, конечно, тоже можно было понять. С точки зрения Попова и ему подобных, человеку нужна была мечта, нужны бы-

ли иллюзии, нужен Лолланд, и Америка тоже нужна. Некоторое время я сам бредил Мексикой, пейотом, грибами. Потом выяснилось, что те же самые мексиканские грибы можно запросто купить на Кристиании, — что я и делал неоднократно, — можно их купить, съесть, и увидеть все то же самое, что показывал дон Хуан Кастанеде. И в Мексику ехать не надо! Три грамма грибов и моя Мексика — вот она, в моем кармане! Три грамма мечты, которая больше, чем реальность! Мост в бесконечность, в вечное заблуждение! Кратковременное помутнение рассудка с просветлением в нечто большее; клиническая смерть и возвращение! Оп-ля! Съел три грамма и шесть часов тебя нет, — или ты есть, но не здесь, — а где, сам не знаешь; исчез! Аукать бесполезно!

Вот так и Хануман со своей Америкой. Америка ему нужна была только затем, чтобы плавно дрейфовать тут и иметь противовес где-то там, который бы оправдал все, что бы он тут ни делал! В Америке Хануман станет таксистом, он не будет курить гашиш, он будет подстригать траву, кусты и пробоваться на роли в какие-нибудь сериалы. Эта американская мечта была хуже героина с гашишем, хуже всего, даже хуже веры в Бога. Это отказ от себя самого, это смерть при жизни, это превращение в зомби, в чучело, у которого вместо сердца китайский калькулятор, а вместо мозгов — Colgate, Head-n-shoulders, Pantene pro v, Urge, Wash-n-Go, all dependable cars, every time you're eating, Never miss your chance, Take an advantage of...¹

У Потапова тоже была мечта. Его мечта была огромной усадьбой. Его мечтой было восседать на балконе, абсолютно нагим, в плетеном кресле. Его мечта вдыхалась в него дымом марихуаны. Его мечта растекалась астраханским арбузным соком по его толстым губам. Мечта стекала струйками на щетинистый двойной подбородок, мечта струилась по груди, по пузу, сбегала в промежность и собиралась каплей на конце, который облизывала грудастая баба, глядя на него оттуда, снизу, глазами в масле. Его мечта бродила в садах, его садах, которые он обзирал с балкона. Его мечта бродила в тех садах в ви-

¹ фразы из рекламных роликов: самые надежные машины, каждый раз когда вы кушаете, никогда не пропуская своего случая, воспользуйтесь возможностью (англ.)

де девственниц, которых ему вели на поругание. Мечтой Михаила Потапова были императорство, владычество, тирания, деспотизм.

А мечта Ивана Дурачкова (появившегося в кэмпе во время нашего отсутствия якобы брата жены Михаила) жила в Париже и по вечерам вращалась вокруг серебряного шеста в чем мать родила. Днем она ходила в колледж, с рюкзачком за спиной, прижимая к маленькой груди бумаги и книгу. Мечтой Ивана была хрупкая девушка в черном, с коротенькой стрижкой, мальчишескими замашками. Она ходила где-то по Парижу, сентиментально глядя то вдаль, дымящуюся и лиловую, то на ботиночки, блестящие с серебряными замочками. Она носила пиджачки, кашне из шелка, шаль из шерсти ламы, шарф, который сама связала. Его мечту можно было найти в бистро на углу Рю де Мюссе и плас де Киккийяра. Вот она, откинулась, держит на отлете сигаретку, в джинсовой юбочке до колен (не выше и не ниже!). Его мечта говорила по-французски и немного по-английски. Она была самая настоящая парижанка. У нее были слегка печальные изумрудные глаза. Она писала стихи в толстую тетрадь в кожаном переплете. Ее рассказы можно было найти на заброшенном сайте www.lesgenscontrelesjaunes.fr, и рассказы ее были о том, как арабы берут себе в жены француженек и издеваются над ними. Она не издевалась над арабами, она издевалась таким образом над француженками, которые выходили за арабов. Она не ездила в метро, потому что ей были отвратительны генитальные ассоциации. Она пила абсент и аперитивы, слушала африканскую музыку, ругалась с матерью, любила отца до безумия, баловала своего котенка Феликса, плодила кактусы на всех подоконниках, курила гашиш по субботам, выступала против секса по телефону, принципиально не голосовала, ненавидела дни рождения своих родственников, танцевала риверданс по четвергам и вторникам, а вечером снова шла в клуб, где вращалась вокруг серебряного шеста. Она вела дневник, в котором ругала все тех же француженок, вышедших за арабов, материлась через каждые два-три слова. Ее любимые слова были "мерд", "салоп", "зют-зют-зют", "бонбон де мерд", "ссссан-кюлот" и "ном де шьян!"¹. Мечта

¹ французские ругательства

Ивана Дурачкова к тому моменту рассорилась с очередным сожителем и ожидала, когда Иван приедет в Париж, чтобы бухнуться в его объятия.

Меня еще интересовала мечта Непалино... но тот ничего не говорил. Вернее, его никто и не спрашивал. Я полагал, что его мечта блуждала по какому-нибудь лагерю. У его мечты были длинные кривые ноги, широкие плечи, крепкий кардан, длинный член, толстые губы, черная кожа, длинные черные в косички заплетенные волосы, огромные ноздри, в которых гнездились зеленые сопли, глубокий пупок со скатавшейся на дне ворсинкой. Его мечта кадрила сорокалетних датчанок, носила спортивные одежды, кроссовки, поднимала штангу и гантели три раза в неделю, посещала все подряд дискотеки, пила все, что нальют те же датчанки, жрала все подряд, высирала тонны дерьма в месяц, и мечтала жениться по расчету на богатенькой, чтобы осесть в Дании. Непалино в мечтах этого негра не было.

Мечта китайца Ни уже, кажется, осуществилась. Он подобрал себе какую-то китайку. Она поселилась у него. Она готовила ему. Она убирала за ним. Они занимались любовью сутки напролет. Их по три-четыре дня не было видно, зато слышно, да так, что крыша ходила ходудудуном. Мы ввиду всего этого обрастали грязью, ничего не делали и мечтали...

Потапов мечтал о своей усадьбе. Иван о своей парижанке. Хануман мечтал о своем нью-йоркском Сохо. Меня это как-то нервировало, я устал. И тут раз Потапов спросил меня:

“А ты? У тебя есть мечта?”

“Я? Нееет... Мечтать вредно. Это может кончиться дуркой, и раньше, чем успеешь понять, куда катишься. У меня есть конкретное желание, одно конкретное желание, с пожеланиями внутри, такой пакет желаний...”

“Dream Package”, — вставил Ханни язвительно.

“Да-да, вроде того...”

“И что же это?” — наседал Потапов.

“Маленький домишко где-нибудь в Гренобле или Авиньоне, не имеет значения, кабельное, интернет, ванна, хорошая пенсия и ка-

кая-нибудь безобидная болезнь, не серьезная, а так, чтобы сказались только на потенции...”

“А это еще зачем?” — тупо спросил Дурачков.

“Чтобы не тратить денег, времени и сил на женщин, да и нервы в порядке. И это не мечта, а желание, которое я загадал бы, попалось мне золотая рыбка...”

Они посмеялись надо мной, не дали мне завершить, не дали мне объяснить, почему мечта вредна, а я б им объяснил.

На мой взгляд, мечты — это паразиты сознания, от которых необходимо избавляться столь же тщательно, как от вшей или вируса в компьютере, как от дурных привычек, как от шалостей, как от вольностей. А “Америка” — настоящая *bête noire*. Самая опасная из всех. Как сирена, заманивает она на верную гибель... У нее полно рыбацких сетей, раскинутых Голливудом во всех странах мира, реклам и мифов, песенок и куколок... И каждая обещает тебе Свободу, каждая содержит семя “American dream”, каждая ведет к катастрофе. Все начинается с малого, с какого-нибудь безобидного обещания. Слова, которое не сдержал. С невинной лжи. С маленького предательства ради огромной мечты. Ведь Америка такая огромная, а жена — всего лишь тряпка, о которую можно вытереть ноги, справиться в нее нужду как в унитаз, так почему бы ее не бросить совсем, ради Америки, ради Свободы! Огромное предательство духа начинается с провозглашения Великой Свободы, увенчанной ничего не значащим поступком, это может быть что угодно: измена, кража, сплетня, которую пустил дальше, унижение, жестокость по отношению к кошке... Что угодно... Это может начаться с соседской двери, на которой написал: “ЗДЕСЬ ЖИВУТ ЖИДЫ!” или “Лена — дура”. Так, слово за словом, поступок за поступком, исчезаешь, предаешь в себе нечто, что тебя составляет, отказываешься от себя самого, от даже самого простого — имени. И все ради выдумки, мечты. Ради нее одной. Ты идешь на такое, что показалось бы идиотизмом, если б не мечта. Ради мечты можешь даже самое страшное. А мелочь так и по-давно. Но самое страшное, как оказывается в конце концов, это мелочи. Тараканы, от которых избавиться труднее всего. Потому как если убил старушку, так один раз убил и все. А если начал врать,

и еще понравилось, так уже и не остановиться. А дальше хуже. Каждый день, взращивая в себе мечту, которая затмевает все вокруг, ты бежишь от себя вчерашнего, заставляешь себя рождаться заново вместе с отвращением к миру и себе самому. Обрастаешь в причудливой среде незнакомцев какими-то новыми характеристиками, порожденными твоим вымыслом. Когда врешь каждый день, когда начинаешь сам верить в то, что врешь, легко, о, как легко потерять себя окончательно! Хочется делать все, чего боялся, от чего отказывался, в чем себе отказывал; можешь начать колотиться. И кажется тебе, что тебе ничего не будет, что не переберешь, не заразишься, не умрешь. Потому что все это происходит как бы не с тобой, а где-то в мечте, с тем, кого ты выдумываешь, воображаешь, с персонажем. А персонажи не могут умереть, потому что они не живые. Они живут в мечте, в воображении, в полной сохранности, совершенно свободные, как герои комиксов или книг. Вот и получается, что мечта опасна, и ближе всего к мечте — только искусство. Но когда искусство очищено от мечтаний, но доведено до зеркальной гладкости в своем подобии жизни, вот тогда, вот тогда мечта в виде искусства безвредна, вот тогда-то и понимаешь, что лучшего симулятора наркотика, чем искусство, нет! Достаточно врубить “Butthole Surfers” — и все, черпай вдохновения сколько хошь! Я слышать не мог, когда говорили, что какие-то там великие музыканты или художники глотают ЛСД или пейот, чтобы вдохновиться. Это уже было, с моей точки зрения, просто извращение какое-то, честное слово. Или очень скользкий отмаз, или очень жалкий предлог. Надо ж быть настолько неизобретательным, чтобы оправдывать искусством желание закинуться! Зачем это вообще оправдывать? Хочешь закинуться — кидайся! Жри грибы или таблетки! Это твоя жизнь, все дозволено, делай, что хочешь! Зачем отмазы строить?

Итак, у нас оставались смешные деньги, и Ханни покупал на них еду, вскладчину с Непалино. Говорил мне, что кошачье существо (“a catlike creature”, как мы звали Непалино, а еще чаще мы его звали просто “she”) опять обмануло его, купив у непальского позитивщика баранину по дешевке.

“А мне сказал, что за сто! Ты представляешь!” — возмущался Ханни.

“Вот видишь”, — буркнул я.

“Маленький делец сделал маленький бизнес!”

“А ты думал... Еще пару дней жизни сэкономил”, — зевнул я.

“Сука! Я ему, этой суке, дал за половину! Целых пятьдесят крон! А потом узнал от Зенона, что его отец у того же непальца купил по пятьдесят за килограмм. Представляешь! Получается, что лягушонок жрал баранину бесплатно!”

“Вот именно!”

Они громко ругались; я ни слова не понимал; все это было смешно, как какая-то сельская, средневековая, азиатская любительская пантомима. Все это, конечно, боком вышло непальцу, потому что Хануман гнал его от себя, пинал, давал щелбаны, плевал ему в лицо, давал тычки и подзатыльники, не жалея своих длинных тонких пальцев. А тому, только того и надо было; он, казалось, просто тащился, оттого что на него обращают внимание, хоть какое-то.

Хануман готовил еду, свою ужасную еду, заправлял чилийскими перцами щедрее тамильцев и мексиканцев; он приносил мне свои шедевры, будто экспериментируя на мне: как долго я протяну на такой пище. Он говорил, что готовит меня к настоящей латиноамериканской кухне. Я ел молча, стойко перенося этот ад.

Он регулярно стирал, стирал и мою одежду, даже мое нижнее белье, но вскоре я перестал снимать с себя одежду. Я спал в свитере, штанах и носках, потому что был жуткий холод. Меня трясло постоянно, трясло так, что я перекусал свой язык и стенки щек. Успокаивала меня только одна мысль: да, мне холодно, мне жутко холодно, да, но непалец-то мерзнет все равно сильнее, чем я, он вообще подыхает, он уже весь зеленый, того и гляди околеет, и скорей бы уж он того...

Если б он сдох, нам бы тогда пришлось свалить, если б непальский петух сдох, пришлось бы уйти. И слава богу! Лучше б и сдох! Я бы ноги в руки и бегом! Мы бы тогда ушли; я бы пошел первым, не оглядываясь, потому что знал, что прежде чем мы свалили бы, я уверен, уверен на все сто, Ханни проверил бы зад мертвого непальца, поша-

рил бы там, в поисках подтверждения того, что Непалино в заднем проходе прячет свои сбережения!

Да, непальская кошка подышал, превращаясь в овощ, становясь все более и более зеленым, он даже коркой покрылся, или коростой какой. Было слышно, как он чесался под своими одеялами. А может, мастурбировал, чтобы согреться.

Зима подступала, как бы танцуя, пробежала ливнями по крышам. Жестяная тонкая крыша не давала спать, она измывалась надо мной. Дождь лупил оглушительно, спать было невозможно, это было хуже китайской пытки.

* * *

Шел косопалый мокрый снег, прилипавший к стеклу, таял, сползая слезнями, оставлявшими грязную дорожку на стекле, точно слюни. Я часами наблюдал, как они сползают, взглядом следил, наедет один на другого или нет, и падала еще снежинка, и начинала таять, и я все следил, чтоб она наехала на другую, чтоб их скопилось побольше, это было почти как Тетрис!

Сумеречно было всегда, а холодно было еще чаще. Согреться было просто невозможно. Даже звуки входили сквозняком, бросая в дрожь. Я проваливался в обморочное состояние, граничащее с комой, погружался в бездны бессознательного, как водолаз. Депрессия вернулась...

Казалось, что какое-то время назад, особенно в те дни, когда старик еще не умер, но мы поняли, что все его деньги скоро станут нашими, и ничто этому не воспрепятствует, тогда отступила депрессия. Я испытал какое-то вдохновение; кажется, написал стишок, послал его на радостях матери с оптимистическим письмецом. С каким легким сердцем я выходил из почты, с чувством выполненного долга и предвкушения новых посягательств на совесть. Но потом, после того как он умер, и деньги внезапно растаяли, депрессия начала неотвратимо отрастать, как хвост у ящерицы. Это могло плохо кончиться; что-то происходило с моей головой, что-то неладное... Тут еще Хануман начал покупать рубашки; он покупал их каждый день; возвращался из магазина и показывал мне, примерял, мурлыкая Синатру. Говорил, что купил с небывалой скидкой.

“Просто грех было не купить! Ведь надо же что-то купить”, — говорил он, как бы оправдываясь.

“Зачем?” — стонал я, глядя на него сверху.

“Как зачем? Ну, чтобы было что вспомнить. Надел рубашку и вспомнил: вот, были деньги. И не просто выкинуты, а с толком потрачены. Есть доказательство практичности: шелковая рубашка!”

Да, рубашки были его слабостью; всегда; а эти тем более. Эти рубашки были дорогие, какие-то слегка искрящиеся, или бросающие ответ. Темно-коричневые, с золотым отблеском, и — самое главное — пуговицы были металлические. Хануман, в природе которого было что-то от сороки, не мог пройти мимо такой роскоши.

Их было несколько; первую он купил осторожно, купил и нервными пальцами разодрал упаковку, примерил, сказал с облегчением: “a good fit just fine”¹, и на следующий день принес еще две. И опять сказал, что на них была скидка. Он потратил около 500 крон. Какая бы там фантастическая скидка ни была, стоило ли то таких денег? На 500 крон можно было жить месяц! Теперь мы были урезаны на месяц жизни в этой дыре, и надо было что-то мудрить. А мне даже думать об этом не хотелось; я даже перевернуться на другой бок не хотел, не то что... А этот рубашки покупал на последние деньги, когда в любой момент мы на улице могли оказаться, подышать в сточной канаве.

“И как он может! — поражался я, насилуя свой мозг. — Как он может?! Хануман, он же никогда ничего не покупал! Он же копил на билет в Аргентину! Ладно у воров купить, вот скидка, я понимаю. Попросил бы армяшку украсть эту же рубашку, да еще за треть цены. Или сам, украл бы сам. Зачем покупать?! 500 крон! В нашем положении! На рубашки! Когда зима подступает!”

Мне казалось это странным, очень странным, я стал подозрительным; порой меня это даже пугало.

“Как это так, — думал я, — чего это вдруг он покупает какие-то рубашки? Зачем ему они? Да еще три! То говорит про экономию, собирается в Штаты, и вдруг — 500 крон на ветер! Что-то не так”, мучился я.

¹ в самый раз, то что нужно (англ.)

Я смотрел на Ханумана, и мне он казался другим, совершенно другим, человеком, который сошел с ума, потерял нить, связь с собой, или вдруг перестал быть человеком, перевоплотился, стал одержим демонами этого мира, или перестал притворяться, и стал демоном, стал собой. Я подозревал, что он — инопланетянин, который приставлен за мной следить, приставлен ко мне, чтобы вернуть на родную планету, приставлен ко мне, чтобы пробудить во мне инопланетянина, потому что я заигрался, забылся, я просто сходил с ума!

А он между тем ходил по комнатке с сигареткой и кружкой чая, то напевая какую-то песенку, то отстукивая ногой что-то, задумавшись, а потом вдруг — будто опомнившись, начинал запальчиво говорить, говорить, и говорил он следующее. Он говорил, что уж лучше он купит себе рубашку, да, вот именно, еще одну рубашку, ха! ха! еще одна рубашка не помешает! И уж лучше он купит себе рубашечку, чем даст деньги этому идиоту; имелся в виду Потапов. Кто ж еще! Конечно. Хануман давал это понять жестом в стену, из-за которой мы каждое утро слышали крики. Он в направлении комнатки Потаповых тыкал “fuck-овым” пальцем.

“Он опять приходил”, — сообщал мне Ханни, совсем не глядя на меня.

“Зачем?” — стонал я.

“Как зачем? Опять с новой идеей”.

“Какой идеей?”

“Как какой? Самой обычной идиотской идеей. Какие у него могут быть идеи? Он же идиот, идиот!”

“Ты же не хотел с ним разговаривать, Ханни...”

“Я и не хотел с ним разговаривать. Мы столкнулись у магазина. Он набил сумку какими-то лимонадами”.

“Мой бог! На улице мороз!”

“Вот и я говорю: на улице мороз, а этот идиот покупает лимонады!”

“Зачем?”

“Потому что они дешевле, чем обычно! Представляешь! Хэхахо!”

“Еще бы мороженое купил!”

“Я тоже так подумал, но ничего не сказал. Хотел пройти мимо, но он прицепился. У него новая идея фикс”.

“Какая идея?”

“Опять идиотская: купить за гроши самую убитую машину, отремонтировать и ездить на ней по свалкам, а потом продать”.

“Бред, просто бред!”

“Конечно, я тоже так сказал! А он сказал, что еще хочет сделать такой ремонт, чтобы она прошла техосмотр!”

“Это вообще фантастика!”

“Я подозреваю, он просто пронюхал, что у нас еще есть деньги”.

“Не надо рубашки покупать за 500 крон. Каждый дурак поймет, что есть деньги”.

“Я купил три за 500”.

“Какая разница! — зарычал я на него. — В нашем положении даже за сто ничего покупать нельзя. Нам дотацию не платят, а ему платят”.

“Нет, я думаю, рубашки тут не причем. Он просто пронюхал, у него нюх”.

Да, Потапов обладал нюхом, и у него был дар убеждения. Он мог повлиять на людей безвольных и податливых всякому внушению. Но Ханни был не таков, он трезво смотрел на вещи, даже когда был в стельку пьян. Теперь Потапов разнюхал, что у нас остались какие-то деньги, и он не знал сколько.

У него уже была недолго машина. Жалкий фиатик ничтожных размеров цвета поноса. Ему ее продали грузины, наркоманы. Они засветились на ней, да к тому же она уже больше не бегала, то есть не ползала, вставала возле каждого знака. Грузины обладали даром убеждения в еще большей степени, чем Потапов, они ему ее втюхали, сказав, что на нее есть осмотр и номера не паленые, и он купился.

Потом ее у него отобрали менты, пришел штраф, 10.000, который ему никогда было не выплатить. Его могли посадить. Грузины сказали ему, успокаивая, что в тюрьмах все чики-пики, курочку каждый день дают с молочком, а надоела курочка, дадут говядину или сосиски с картошкой.

“Это тебе не русская тюрьма, биджо, — говорил Мурман. — Слушай, можно работать, есть телевизор, каждый день снимается 500 крон штрафа! Когда просидишь 20 дней, 10.000 снимут, домой пойдешь, генацвали, а дома хуй так намылят, что ты!”

“Нет”, — сказал Потапову в очередной раз Хануман, когда тот опять появился в нашу комнату, не то затем чтобы покурить на халю, не то чтобы покурить и снова выдвинуть предложение купить в складчину машину.

“Нет, мы никогда не увидим наших денег”, — сказал Хануман.

“Почему?” — заныл Потапов.

“Ты же ее никогда не продашь! Ты будешь на ней ездить, пока ее не отнимут! Частями ты возвращать не станешь, у тебя же столько экскюзов! Хотя бы семья: тебе надо кормить семью, ты же всегда это говоришь!”

Да, Потапову надо было кормить семью, и он ее кормил; каждое утро насильно запихивая кашу в рот маленькой Лизе с рыком: “Ешь, падла! Глотай, сука! Попробуй только не проглотить!” — О, сукин сын кормил семью!

Я даже себя кормить перестал; я не хотел даже себя кормить; а этот семью кормил, из кожи вон лез. Ему надо было кормить семью. Кто ж накормит маленькую Лизу мерзкой кашей, если не он? Кто ж, если не он?

Ему платили две с половиной тысячи в две недели, чтобы могли прокормиться, этих денег хватило бы, чтобы слона накормить, а он ходил, клянчил, говорил, что его деньги кончились, не хватает, ползал на брюхе по свалкам, собирал бутылки, чтобы прокормить семью! И все ныл да жаловался, что в Дании нет нормальных круп. Нету крупы, нету гречки, нету манки! Пиздец: нету манки! “А как же ребенок без манки?!” — ныл он. Была бы манка, уж тогда бы он так закармлил ребенка этой манкой, она бы сдохла. Я знал, почему он, сука, жаловался, знал: была бы манка, он бы только манкой ее и кормил; он бы и жену только манкой кормил; он еще и у Ивана бы деньги забирал, а отдавал бы манкой. “Это ж такой полезный продукт!” — уверял бы он. “Конечно! Там, ну там просто все! И каратин, и йод, и кальций”, — загибал бы мерзавец пальцы. “Да, да... про-

сто все, что нужно для растущего организма! И что там еще? Там этот витамин А, Б, Ц..." Конечно! Да, экономия такая, что ого-го! Можно б сразу было и машину купить, и компьютер, и сони плэй стэйшн, и все что угодно! Манка — вот было решение проблемы!

Как я-то был счастлив, что в Дании не было каш, я просто на седьмом небе был, не было каш ни в каком виде! Вот настоящая страна! В ней знали, что жрать нужно; знали, что нужно человеку, не скотская жрачка, а настоящее мясо. Никаких каш, мясо да сыры! Вот это да! А пива сколько, пиво — самое главное! А этому идиоту крупы было подавай, жаловался: нету геркулеса, перловки...

Я о перловке слышать ничего не хотел, а этому, видите ли, перловку надо. Еще бы сечку, кретин, попросил! О пшенке, сука, вспомнил бы, гад!

Он стоял, чесал пузо и приговаривал: "Есть тут одна гречка, пробовали нах, да только зеленая, в горло не идет. Натурально зеленая гречка! Пиздец! Такая отборная гадость получилась, только свиной такой гречкой кормить! Зеленая гречка нах! Выглядит как тот же шпинат!"

От шпината его уже выворачивало; он так много его набрал в контейнерах, что больше видеть не мог. Я не понимал, куда этот человек девал эти безумные деньги. Я понимал, куда мы дели столько денег: вино, гашиш, амфик и бляди, — тут все понятно, тут не надо было что-то объяснять, все было просто и логично. На это легко можно было потратить и больше. Но прожрать за две недели две с половиной тысячи втроем, где в третий рот пихали кашу насильно... Это было просто нереально!

К тому же он говорил, что он худеет. Он несколько раз заставлял меня и Зенона трогать его пузо, говоря, что тут всего лишь слой жира, а под ним пресс, "настоящий пресс, потрогай какой крепкий". Мы трогали его пузо, я тыкал пальцем в студень и говорил, притворно соглашаясь: "Да-да крепкий, довольно крепкий живот..." Он говорил, что это пресс, "поперечно-полосатые мышцы", во как!.. "Ага, да-да, — говорил я. — Ну да, конечно..."

На самом деле он жирел, просто расплзался во все стороны! При этом говорил, что экономит как только может.

“Но, — говорил он, — нельзя же экономить на еде! Нельзя же экономить на здоровье! И нельзя экономить на семье!”

И он кормил семью. Набивал тележку до отказа, набивал багажник, и через пятнадцать минут того же дня он набивал тележку той же по списку купленной всячиной и проходил, не заплатив. Когда его останавливали, он предъявлял чек со словами, что закатился с тележкой затем, чтобы купить бутылку вина. “Вот она! А жена вон! Вон жена платит в кассе”.

Это был старый трюк, его придумали сербы или сомалийцы, уже лет сто назад, об этом давно все знали, никто давно не использовал его. Трюк в его исполнении сработал два раза, на третий его вежливо попросили разгрузиться, штрафа не пришло, потому что ничего доказать было нельзя, но всем было понятно, что это трюк. Тогда, он не полез в бутылку, просто сделал вид, что оскорбился, сказал, что больше не будет покупателем Римы 1000; да пожалуйста, сказали ему, мы ничего не теряем, вас тут сотни, и все воруют!

Он десять раз возмущенно на разные лады рассказывал эту историю. Я не понимал, зачем ему было столько еды, ведь он ее не продал, он съедал ее.

Он потерял машину и теперь хотел любой ценой купить другую; он не чувствовал себя человеком без машины. Он ходить не мог, у него было что-то с ногами. Интересно, а геморроем он никогда не страдал? Он говорил, что ему нужна была машина, чтобы заниматься бизнесом!

“Каким еще бизнесом?” — спрашивал его Хануман, и Потапов начинал приводить примеры:

“Ездить на свалку, это во-первых. Потом, ездить за бутылками”, — загибал он пальцы. Я не мог этого слышать.

Он получал две с половиной в две недели, и ездил за бутылками. Это мы его с Хануманом научили, собирать бутылки в тарном контейнере, куда выбрасывались даже те, что можно было сдать, на них стоял значок — обведенная кружочком бутылка. Когда-то нас научил собирать такие бутылки Степан; мы с Ханни каждый вечер тащились к контейнеру и рылись в нем, стараясь не производить шума вообще, выбирая в потемках бутылки с таким значком. Пона-

чалу было тяжело, на это уходили часы, мы жутко нервничали, могли застукать и вызвать ментов; потом мы приноровились, и вскоре научились определять их на ощупь, как-то угадывали их в темноте до того, как дотрагивались, мы начали их чувствовать, до чего мы дошли! За ночь можно было сделать до пятидесяти крон в среднем; в лучшие дни — например, праздники — можно было сделать до двухсот! В такие дни стоило выходить на рыбалку, даже если шел мокрый снег с ветром, даже если была температура. Но когда у нас были деньги, мы считали ниже своего достоинства ползать по помойкам, а он ползал, несмотря на то, что получал две с половиной, каждые две недели!

Еще задолго до того, как приехал Иван, Михаил украл велосипед, разобрал его и под предлогом, что у него аллергия на краски и растворители и прочие химические вещества, покрасил его в нашей комнате. И оставил у нас, подвесив под потолком, на ночь сушиться.

На нем он ездил за бутылками; на вырученные деньги пили мы все вместе, потому что про клондайк ему рассказали мы. Мне всегда казалось, что он врет о количестве найденных бутылок; проверить можно было, можно было бы потребовать принести чек, но мы считали это ниже своего достоинства. Тащиться вместе с ним в магазин сдавать бутылки, проверять, да ну его...

Однажды его заметили в магазине и сказали: "Что-то ты много пьешь, приятель"; он криво улыбнулся и сделал неловкое движение руками, будто показывая, что у него нет ничего; после этого он несколько раз посылал Непалино вместо себя, но потом он стал его подозревать в том, что тот тихарит деньги, и снова сам стал ходить.

Теперь он сказал, что ему нужна машина, хорошая надежная машина, на которой можно было бы ездить по городишкам в нашем амте, собирать бутылки, сдавать, посещать свалки. И тут Хануману пришла в голову идея:

"Можно собирать не только бутылки, но и еду, — сказал он. — Ту самую еду, которую выставляют на улицу возле магазинов. Ту просроченную еду, которую мы сами так часто берем. Можно было бы продавать ее в разных кэмпях, как свежую. Разве нет? Если мы ее

жрем, так и другие ничего, будут жрать. Можно продавать не очень дорого. Так же, как это делают югославы или этот непалец, которые привозят нам в кэмп товар, еду, всякую всячину. В тех кэмпях, где людям надо ездить на автобусах, чтобы добраться до магазина, хэх, там будут брать нарасхват! К тому же всегда можно подтереть или исправить дату”.

Тут Потапов всполошился и сказал:

“Да-да, и дату исправлять буду я. Я хорошо умею!” — стал убеждать он почему-то меня, я тут же от него отвернулся со словами “мне наплевать”, а он продолжал: “Я в школе подделывал оценки и подписи учителей в дневнике, да так, что не отличить было, ни разу не попался!”

Я в этом почему-то ничуть не усомнился.

На оставшиеся деньги мы купили еле заводившийся Форд; от себя Потапов тоже добавил немного, и убедил отдать все свои деньги “брата” жены, Ивана Дурачкова. Я был уверен, что это было не настоящее имя; я полагал, что это был плод фантазии Потапова; у самого Дурачкова не хватило бы ума придумать такое нелепое имя и повесить его на себя как ярлык или даже ярмо. Думаю, Потапов прошел через те же бюро, что и многие в Питере и Москве, где с многозначительным видом Вам вещают о царстве небесном и райских куцах, социальном обеспечении и благодати небесной, за определенную сумму денег, конечно. Он, как и многие подобные ему идиотики, тоже продал все, чтобы получить воздушные замки, а в итоге получил вот это: картонный домик посреди голых вонючих полей на отшибе вселенной, в закутке Дании, с албанцами и арабами, лужами в туалете, грязной кухней и душем, в котором гадит иранский мальчонка. Одним словом, сменил шило на мыло, да семью с дураком в придачу. Хорошо хоть деньги платили, и даже в известном смысле немалые. Но на кой нужны деньги, если на них нельзя купить что-то такое, что могло бы хоть как-то компенсировать ту убогость, в которой их поселили. Потому что скрасить там было нечего, так как даже бытом то было не назвать. Жить в курятнике без права на что-либо, без света в конце тоннеля, да только слышать каждый божий день, как стращают: “Депорт! Рауссс! Домой! На хаусс!”

Наше с Хануманом положение, откровенно говоря, было еще более непонятно, мы даже денег не получали. Мы просто добровольно вдыхали вонь мочи и удобрений, слушали молитвенные песнопения мусульман, сливающуюся в промежности воду и трубный вой Потапова. Мы без ожидания чего бы то ни было слонялись по вонючим полям и до отвращения чистеньким дорогам в поисках приключений, в принципе занимая себя только одной задачей: набить брюхо, присунуть и забиться в какую-нибудь норку, чтобы переждать, забиться, а потом снова начать поиски того же. Не знаю насчет Ханумана, но у меня на то хотя бы были причины, причины...

Итак, мы купили фордик. Дизельный, конечно. Чтобы можно было не покупать бензин, а спокойно сливать солярку из в поле стоящего трактора. Они почти всегда были полные. Пососал, и побежала, только подставляй! И тронулись, от одного городка к другому. Мы посещали супермаркеты, их задворки, помойки, собирали бутылки и пакеты с едой, лазили по контейнерам. Лазил в основном Дурачков, он оказался самым спортивным, мы только приоткроем люк, он в него — нырк, и уже подает изнутри. Ханни ему светил внутрь фонариком, я принимал, а Потапов отбирал годные и негодные, нюхал, как крыса. Под утро мы возвращались, мылись, оттирались, перебирали продукты, кое-что пробовали, подтирали даты.

Потапов действительно оказался мастером, он ловко использовал тушь, числа он писал лучше, чем картины, и толку было несравнимо больше; билеты он, кстати говоря, тоже неплохо подделывал. Но все портило бахвальство; все бы ничего, если б он не начинал нахваливать себя самого, восхищаясь каждой циферкой.

Далее шло самое трудное: надо было продать это дерьмо, сбыть весь этот хлам. Насобирать-то любой дурак мог, а вот убедить идиотов купить у нас просроченные продукты, да как можно скорей, пока не скисло, да так, чтоб не засветиться, чтоб никто не заметил, тут надо было хитрить. Надо было ехать черте куда, ждать, пока в кэмпе не останется датчан, стаффов всяких, работников КК и прочих социальных работников, а потом предложить купить еду. То есть это дерьмо, которое надо было выдать за вполне достойный хавчик. А азулянты — народ подозрительный, их так просто было не про-

вести, они сразу чуяли неладное, если ты как-то неуверенно начинал им что-то предлагать.

Если б не мы с Хануманом, ничего бы не вышло. Во-первых, Хануман умел с самым непринужденным видом говорить полную чушь, и ему верили, к тому же он был сикх, а в лагерях полно в рот сикхам смотрящих антачеблов, да тамильцев с бенгальцами, которые все купят у такого как Хануман, только чтоб услужить ему как-то. Во-вторых, я придумал, что надо с собой иметь пластиковые пакетики, как можно больше пакетиков, самых разных, мотки пакетов, чтобы купленное выдавать в пакетах, чтобы создать иллюзию достоверности торговли, или просто что-то вроде магазина или рынка на колесах, будет больше доверия, если вы продадите человеку еду в пакетике. И действительно: пакетики сделали свое дело, эта немаловажная деталь и нам придала солидности и уверенности в себе, и подкупила людей. Также с собой я посоветовал взять албанского паренька, Зенона, который мог бы переводить, за пиво и сигареты, которые обычно он употреблял тайком от родителей. Он всегда крутился вокруг нас с Хануманом, ему перепало от нас и покурить и выпить, в обмен на информацию о каждом жителе кэмпя, и других кэмпов, в которые он ездил иногда.

“Он бы работал на нас переводчиком, — сказал я. — Он знает албанский и сербохорватский, а так же датский лучше всех нас, и он-то уж точно умеет расположить к себе людей, особенно завистливых жадных албанцев. И его все знают, он давно уже здесь, его знают все!”

Хануман со мной согласился. Пакетики и Зенон, и важность уверенного в себе Ханумана обеспечили успех предприятия. Мы катались по всему северному Юлланду, собирая по ночам продукты в помойках, заправляясь соляркой в поле, днем высыпаясь в машине, нажравшись водки или виски, а под вечер вели бойкую торговлю в очередном кэмпе.

Особенно хорошо пошли йогурты. Нам как-то повезло, мы нашли целый контейнер йогуртов, которые вышли из употребления. Потопов моментально забраковал кисломолочные продукты, и никто не хотел их брать, даже не стали смотреть в их сторону, так стройно выставленные пачками в лунном свете.

“Молочный продукт, — рявкнул в темноте Потапов. — Ннет никакой гарантии!”

Но я был уверен, что йогурты не пропали. Я чувствовал, что надо брать, и сказал:

“Датчане их выкидывают напрасно, они могут стоять еще месяца!” — Так пытался я убедить Ханумана, и он разрешил мне провести эксперимент.

“Если хочешь, бери себе, пробуй!”

Потапов попытался было забыть что-то о том, что у нас места не особо в машине, но Ханни глянул на него, как на вошь, и тот умолк. Я тут же у них на глазах выпил литр. Они посмотрели на меня, махнули рукой и загрузили весь багажник десятками литров.

Я чертовски всегда любил йогурты, а там были такие, каких я никогда не пробовал, такие необыкновенные йогурты, с манго, с киви, с ягодами, с кусочками ананаса; я хотел пробовать все! Но Потапов отнял у меня пакет, когда увидел, что я не доел первый, а уже открываю второй, сказал, что мы лазаем по помойкам не затем, чтобы брюхо набивать, это бизнес! Я был разочарован, затаил на него зло; я только что держал в руках литр йогурта, на пакете которого были изображены какие-то мне незнакомые тропические фрукты, я никогда не пробовал таких фруктов, не говоря уже о йогуртах с ними! Так и не попробовал. Мы их все продали; всю дорогу я надеялся, что этот может и не купят, и тогда я его съем, или хотя бы попробую. Но пришел какой-то афганец и по-русски спросил цену, и когда услышал “семь крон”, он просто вцепился в пакет, даже не стал смотреть на дату, заплатил и стал прямо там же, на месте, запрокинув голову, пить; ему понравилось; я видел, как он округлил глаза, причавкнул! “Вот скотина”, подумал я.

Эти приключения меня чуть-чуть развлекли, но их не хватило на долго. Меня убивал холод, я не мог спать в этой машине, в тесноте я чувствовал себя шпротиной в консервной банке. Я не высыпался; постоянно знобило, подташнивало, укачивало, трясло, мутило... От водки и виски у меня появилась страшная изжога. От того, что мы жрали то же дерьмо, что и продавали, у меня было страшное расстройство желудка. Но Потапов часто запрещал мне идти в туа-

лет. Он говорил, что я таким образом делаю очень плохую рекламу нашему товару. Он всем запрещал ходить в туалет. Перед тем, как подъехать к лагерю, мы все должны были высраться либо на вокзале, либо в поле. Так придумал Михаил. У него было шикарное обоснование: "Чтобы никто не сказал: ага! Посмотрите на них, хавку они привезли! А как их проносит в туалете! Да у них просто понос! Что ж за жратву такую они нам тут привезли! Поняли? Никто покупать не станет, если услышит, как вы пердите там!"

От всех его директив мне еще больше хотелось в туалет. Шныряние по помойкам тоже утомляло, я все-таки совсем был не приспособлен к ночным вылазкам; у меня начался насморк и появились первые признаки ангины. Мне нужно было регулярно менять носки, ноги жутко запотевали; необходимо было сделать перерыв, отлежаться. Но эти одержимые мелкой наживой гнали машину все дальше и дальше на север, откуда мне было уже не вырваться. Там бы я наверняка и сдох. Хануман говорил, что надо ехать, пока не объедем все лагеря. "Куй железо, пока горячо!", — кричал Потапов. "Что это — куй?" — спрашивал Зенон, который уже неплохо выучил русский. Я отворачивался в окно. Становилось невмоготу. Казалось, что все больше и больше сгущался туман, все холоднее становился воздух. Я надеялся, что поля кончатся, но они не кончались; я надеялся, что перестанут попадаться тракторы, но трактор стоял в каждом втором поле; я молился, чтобы их баки были пустыми, но они всегда были почти под завязку полные. И Потапов жал на газ, гнал машину на север. Я начал желать, чтоб машина сломалась, лопнуло колесо, застучал движок, что угодно, но она, казалось, обрела вторую жизнь, и неслась все быстрее и быстрее. Как-то я взглянул на карту, распечатанную Хануманом, я увидел им помеченные города с лагерями на севере, и мне стало дурно: там их было не меньше пяти; там можно было застрять надолго. И я совершенно скис.

Ближе к концу второй недели торговля отмытым дерьмом мне смертельно опротивела. Я себя не утруждал чем-либо; я только накручивал мотки пакетиков в магазинах, больше ничего не делал. Потапов, который следил за каждым и за каждым движением ка-

ждого, стал это подмечать и ставить мне на вид. Он начал мне подсовывать всякие мелкие дела. То заставил меня держать крышку помойки, потом фонарик, потом таскать сумки, потом сказал, чтобы я бойко продавал и всем объяснял на идеальном английском, что чего стоит и откуда товар. Я больше не мог его видеть; и албанские морды тоже; женщин в платках, с прищуром выбиравших всякую дрянь. Особенно муку, которую Потапов по дешевке купил два мешка, и прибыль от проданной муки клал только в свой, сука, карман. Тоже самое было и с шоколадками, с чупачупсами, колой; он покупал ящики дешевой колы, которые всю дорогу стояли на коленях у меня и Зенона. Потом он бойко продавал их в два раза дороже; иной раз покупали сразу все, и орешки, и жвачки, а потом снова были поля... Я не мог уже пить виски в накуренной машине, слушать шуточки албанского мальчишки; от хохота Потапова, от его довольной рожи меня выворачивало. Хотелось выпрыгнуть и поскакать по полям, по полям, каркая, как ворона.

К тому же я жутко парился, когда мы колесили по центру какого-нибудь города; я боялся, что нас остановят менты, что спросят права у Михаила и как бы заодно — документы у нас. Еще больше я боялся, что в лагере, посреди торговли, наедут менты или еще кто-нибудь, и возьмут нас за жабры. Как знать, стуканет кто-нибудь и пиздец.

Я вышел из бизнеса; отказался от доли. Когда в очередной раз мы вернулись в Фарсетруп, чтобы они (Потапов, Иван, Зенон) смогли получить свои карманные деньги, чтобы отлежаться чуток, чтобы отмыть кое-какое набранное дерьмо и, придав помоям презентабельный вид, толкнуть в своем же лагере, я объявил всем, что отказываюсь принимать дальнейшее участие в этом фарсе.

Толчком к тому послужила моя первая ссора с Потаповым. Это случилось после того, как мы с ним держали пари. Мы набрали огромное количество брюссельской капусты. Я был очень доволен. Я очень любил брюссельскую капусту.

“Ух ты! — думал я. — Вот так повезло! Теперь уж никому не дам меня лишить права пожрать ее от пуза!”

Мы ехали, и я все говорил, что очень люблю капусту, и хотелось бы поесть, так я проголодался, что три килограмма бы съел!

“Да ну, брешь! — махнул рукой Потапов. — Три килограмма не съешь!”

“Запросто!”

“Спорим!”

“Давай!”

Мы поспорили на 20 крон; я тут же в уме совершил калькуляцию: 20 крон — это две бутылки “Мастер Брю”, которое было крепче питевской девятки! Если пару крон сверху, то можно было даже две бутылки карамельного пива “Ганс Христиан Андерсен” купить. А это пиво даже покрепче молдавского портвейна было! Бутылку выпил — и на боковую. А проснулся — вторую всосал и опять спать. Двое суток спать можно. И никого не видеть! А это было самое главное. Убить двое суток. За это время они насобирают свое дерьмо и укатят на север недели на две. Какой праздник: лежать, ни с кем не разговаривать, никого не видеть. Можно даже было не есть ничего, можно было потерпеть; лишь бы никого не видеть.

Довольный я подкатывал к лагерю; довольный стал варить капустку; тут же поставили вторую кастрюльку. Все на кухне собрались, вся шайка-лейка, всем охота было посмотреть, как я буду брюссельску капусту жрать. Я начал, быстро справился с первой пачкой, начал вторую. Потапов мне стакан воды поднес, а я подумал: “ну-ну, ищи дурака, воду пить я не стану”. Я же помню, как раз мой таллиннский приятель Леха выиграл, когда они ели с одним мужиком метр сосисок на спор. Метр не вдоль, а поперек выложенных сосисок! Это не три килограмма капусты, даже не пять. И выиграл Леха тот спор только потому, что тот мужик, обжора, просто Гаргантюа, уже сантиметрах в десяти от победы, покуда Леха первые полметра осиливал, тот мужик с дуру стакан воды пропустил, и вся его сосисочная сущность наружу и поперла, прямо на месте. Нееееет, я решил, что не стану пить! Стал наворачивать, а Потапов еще один котелок уже варил, и мне тут же поднес, я начал его есть и тут же понял: пересолено!

“Пересолено! — объявил я. — Отказываюсь! Пересолил! Давай новый вари! Я сам сварю!”

А Потапов закричал на меня:

“Какой вари! Это же пауза! Договаривались без перерыва!”

“Такого условия не было, — взвыл я. — Пересоленную капусту жри сам! Я не стану!”

“20 крон! — вскричал Потапов. — Проиграл — гони деньги!”

“Да пошел ты...”

Я даже не стал договаривать, — хлопнул кухонной дверью, и ушел коридорами, — завалился в постель на верхнюю полку, завернулся мумией в одеяло, погрузился в спячку с намерением не выходить из нее всю зиму, всю жизнь!

ЧАСТЬ II

1

В нашей комнате становилось все холодней и холодней. Мои ноги мерзли так, что я перестал снимать ботинки. Но эти ботинки были ужасны, гребанные польские ботинки; просто колоды какие-то; маленькие гробики для моих измученных ног. Эти ботинки не были сделаны в расчете на человеческие ноги вообще. Они были устройством для пыток. Они выжимали из меня остатки воли. Они не были обувью. Они ею казались. Они были всего только видимостью; они были задуманы как бы под обувь; их можно было поставить на продажу, их можно было примерить и даже купить, но носить их было нельзя. Да, эти ботинки были похожи на обувь, как те маленькие польские машины были похожи на транспорт, но ездить в них было тоже нельзя. Я тыщу раз просил Ханумана купить мне что-нибудь; я устал уже об этом говорить; каждый день я ему напоминал; более глухого человека я еще не встречал! Ему было просто плевать! Я мечтал о мокалинах из оленьей кожи; потом я просто говорил, что мне б хоть какую-нибудь, абы-кабы шитую обувку; я ему говорил, что уже ходить не могу, даже в туалет, но он отвечал, что покупать обувь бессмысленно, тем более в этой стране, где всюду непролазная грязь.

“Хэхахо! — вскрикивал он, запрокинув назад голову. — Никакая обувь не поможет, такая грязь. Тем более мокасины, что ты! Вообще глупо покупать что-либо; проще украсть, а это ты можешь сделать только сам. Никто не может за тебя померить обувь. И потом, зачем тебе обувь? Ты же никуда не ходишь! Разве что в туалет. Но в туалет

можно ходить и босиком. Из кэмпя вообще можно не вылезать всю зиму. Можно вообще всю жизнь жить в кэмпе и никуда не ходить. Или не всю жизнь, так несколько лет точно. И никто, ни один Интерпол в мире не будет знать, где ты!"

Эта фраза меня парализовала. Я снова начал мучиться, задавать лихорадочными вопросами: Что ему могло быть известно про Интерпол? Почему он сказал Интерпол? Почему не ФБР? Почему не КГБ? Почему именно Интерпол? Мог ли он что-то знать? Или я болтаю во сне? Но если болтаю, то, надеюсь, по-русски болтаю, и он не мог бы понять. Или он все-таки знает русский? Умный малый знает все языки, приставлен следить за мной, выяснить, кто я такой, почему скрываюсь... А не работает ли он сам на Интерпол?

Мы были на мели и дрейфовали; но я знал, что у Ханумана оставались какие-то деньги, потому что он сказал, сказал, глядя в окно, глядя на то, как снимали менты с машины номера, и беспомощный Потапов разводил своими руками, будто показывая, что у него нет ничего, но номера сняли, потому что техосмотра у машины не было, страховки тоже, еще что-то заплачено не было тоже, так вот глядя на это в окно Ханни сказал:

"Мы ничего не потеряли. Потапов — да! Он потерял машину. Но нам-то она была нужна только, чтобы крутиться самим! Теперь нам машина не нужна, и нам ее не жаль. Пусть забирают. Мы вернули наши деньги, которые вложили в эту рухлядь. Мы прожили три недели практически бесплатно, как будто бы не пили и не ели, словно лежали в анабиозе. Мы даже успели неплохо попить и попыхать, и не потратили ни кроны из своих запасов, как будто не жили вовсе!"

Я сквозь зубы заметил:

"Мы лазили по помойкам эти три недели, как черти, а так жить я не хочу! Лучше лежать под одеялом и голодать как Ганди, нежели лазить по помойкам и убеждать себя в том, что мы жили так, как будто бы мы и не жили вообще. Это все самообман. Выдавание желаемого за действительное. Симуляция. Мы жили! Хануман, уверяю тебя, мы жили, и жили мы эти две недели отвратительной жизнью, мы лазили по помойкам, продавали дерьмо, жрали дерьмо, такого забыть нельзя!"

Теперь Потапов ходил по людям и предлагал купить машину без

номеров, которую у него могли в любой момент забрать за долг. Он нашел одного негра из Конго, которому дали позитив. Одному из чертовой дюжины. Всех прочих продолжали проверять; им еще предстояло доказать, что они из Конго. Этот доказал и теперь важничал; ждал, когда ему найдут коммуны и квартиру. Ходил и говорил: "Они должны мне квартиру подыскать... Они должны..." Он теперь на датчан даже на улице смотрел так, словно те ему должны квартиру и все остальное. Он готовился к человеческой жизни, и ему препятствовали, ему никак не могли подыскать квартирку. Он уже второй месяц ждал, когда заживет как человек. Как все азулянты, он повторял одно и то же: "Just like a normal human being"¹. Это была их любимая фраза; это их излюбленный рефрен, это их блюз, рэггей и рэп. От них только это и можно было слышать, по десять раз на дню: наконец-то можно будет жить, "just like a normal human being", наконец-то можно будет расслабиться, "just like a normal human being"... Бесконечное азулянтское нытье. Этот тоже вздыхал и строил планы; воображал свое будущее. В своем воображаемом будущем он, по-видимому, видел себя сидящим в машине. Можно только гадать, что может вариться в голове у негра, которого вот только-только обласкали благами соцобеспечения и статусом беженца. Денег он точно начал получать больше, потому как к нему стали приставать воры, предлагая купить такое, чего бы прежде ни за что даже показывать не стали. Он еще сказал, что открыл счет в банке, и деньги ему кладут на счет, и его больше не видели в очереди за пособием. Теперь он даже деньги получал "just like a normal human being". Неизвестно, что там он себе придумал, но он почему-то стал брать уроки вождения у Потапова. И тут хотел выгадать, видно. Знал, что ни один датчанин с ним так возиться не станет; тем более ни один другой негр не дал бы ему так насилловать коробку своей машины, даже если б он платил ему в десять раз больше, чем то, что он платил Михаилу.

Они ездили в лес, там они занимались вождением за каких-то 25 крон в час; больше никакой, даже самый богатый в мире негр за такое не дал бы. Потапов все надеялся, что тот в конце концов

¹ как нормальный человек

пропитается любовью к машине и купит ее, но тот ее возненавидел и запорол практически окончательно: машина стала хандрить, сидеть и кашлять, глохнуть на каждом повороте.

* * *

Мы были на мели, мы дрейфовали, клянчили сигареты. Хануман делал какие-то импровизированные переводы писем из Директората и службы по делам об иностранцах для арабов и курдов. А потом те, кому он сделал переводы, просили его написать ответ на переведенные письма. Это облегчило его задачу. Он стал писать то, что ему вздумается. Иногда он приходил с распечатанным письмом из Директората и зачитывал мне, просто валясь на пол от хохота:

“... на Ваш странный запрос по поводу лишая советуем обратиться к медсестре. Красный Крест обеспечивает всем необходимым...”

За эти маленькие услуги он получал пиво и сигареты. Иногда он делал какие-то работы в интернете, по ночам, в детском клубе. Какой-то длинноволосатогой араб решил написать письмо Клинтону. Ханни взялся за это и написал недурное письмишко, в котором просил Билли посодействовать арабу. Араб объявил себя жертвой репрессий Хусейна, говорил, что мог бы помочь в компании по разоблачению Хусейна, дескать, знал, где какие велись разработки бактериологического и атомного оружия, еще ребенком ползал по ущельям и пещерам, видел, где что хранилось, был пойман, подвергнут каким-то лабораторным опытам; вся семья была истреблена, он единственный уцелел. Ханни почесал подбородок и еще написал в постскриптуме, что араб отсосет получше, чем Моника; араб не понял содержания письма, купил Хануману бутылку пива; ответа не получил, чего и следовало ожидать.

Потом к нам переселился Дурачков. Он долго терпел скрягу-еврея, который вселился в комнату Степана; некоторое время они жили вместе. Еврей доставал его своей экономией и все время толковал об экологии, нарушении баланса в природе, о парниковом эффекте, гринписе, глобальном потеплении и терактах в Израиле. Еврей приехал в Данию только с одной целью: выучить уникальный датский язык. Он уже выучил таким образом итальянский, немецкий, шведский, и вот, как он сказал, “настала очередь за датским”.

Он был приверженцем дурацкой гипотезы о том, что праотцом индоевропейской группы языков является язык скандинавов. Язык викингов. И не шведский, и не норвежский, а именно датский. Я подзревал, что в Швеции он толковал то же самое, что шведский является языком-праотцом, а в Норвегии был норвежский, а в Италии была совершенно другая гипотеза и т.д и т.п. Он утверждал, что он профессор лингвистики, что он написал около трехсот работ! Каких именно, он не объяснял. Однажды вскользь брякнул, что его всегда интересовала лингвистическая антропология и тезаурус, а так же возникновение мифа. Особенно мифологическое время сновидений австралийских аборигенов. Произносилось все это так, будто он думал, что он произносил всем вполне очевидные вещи, которые не было необходимости растолковывать, которые имели общеизвестный и общедоступный смысл. Производил он впечатление очень серьезного, очень умного человека. Всегда солидно держался. Говорил с паузами, иногда даже практически по словам, будто пытался ввести собеседника в транс. Но как был скареден, как был несравнимо жаден! Он пересчитывал даже крупу и муку в пачках! Брал пачку, открывал и ложкой пересыпал в отдельный пакет, считая, сколько ложек получается, а потом делил: энное количество ложек на каждый день, и все подсчитывал, насколько хватит. Продержался он недолго, какие-то два месяца с хвостиком, и все его проживание у нас можно было бы запросто измерить количеством ложек крупы и муки. Уж сам-то он точно знал, сколько ложек муки он съел за свое пребывание в Дании.

Он носил нелепые галстуки, стиранные раз триста, он носил жеванный пиджак в крупную клетку, он ходил в вельветовых брюках (однажды мелькнул в джинсах, но только однажды); у него было такое количество носков, что проще было сосчитать звезды на небе; он не сносил бы их за всю жизнь, потому что каждую пару донашивал до такого состояния, что больно было смотреть; он запасся на триста лет вперед!

Он приставал ко мне и Хануману, выпрашивал у нас презервативы, которыми была набита кожаная папка Ханумана. И Ханни уступил однажды, дал ему пригоршню. Он попросил еще. Ханни грубо от-

резал: “Зачем так много? Что ты будешь с ними делать?” — “Это мое дело”, — отрезал еврей. — “Тогда пошел к черту!” — махнул на него Хануман. Мы долго гадали, зачем ему было так много презервативов. Но потом само выяснилось. Как-то его видели блуждающим по пляжу, у Тренда, и в Греноо, где в кемпингах отдыхали немцы. Он подходил к ним и назойливо предлагал купить презервативы, он постоянно повторял: “Сейф-секс, джентльмены, сейф-секс!”¹

Дурачков пережил эти мучения; он дождался, когда немецкие власти призвали еврея обратно, чтобы рассматривать его дело, которое было не рассмотрено до конца, потому что тот бежал в Швецию. Дело, вероятно, было пуковое. И безнадежное, конечно. Его наверняка отправили на родину; неизвестно, правда, на какую. Его национальность не вызвала сомнений, но родом он мог быть что из Одессы, что из Актюбинска.

Еврея забрали; после себя он не оставил ничего, совсем ничего. Более того, даже шарф Дурачкова пропал. Но это было ничего, главное сам он исчез; Дурачков вздохнул с облегчением. Но ему не дали расслабиться и насладиться одиночеством, к нему сразу же подвели иранца. “Видимо, нас будут держать в напряжении”, сделал вывод Потапов. Иван убежал от иранца через день! Не выдержал, перебрался к нам.

Поставил нары над непальцем, взлез на них всеми своими конечностями, как мартышка, и затаился. Затих. Я даже не стал спрашивать, что там у него с иранцем вышло, так он затаился, так он затих. Было как-то неловко его расспрашивать. Он лежал и его ноги торчали из-под одеяла: длинные, голые, с длинными желтыми ногтями. Мне холодно было на них смотреть; мне было страшно вообразить, что я мог бы вытащить свои вот так же наружу далеко. У него были такие длинные желтые ноги, с прелостями и грибком между пальцами; у него была такая жесткая пятка. Но как бы ни были его ноги ужасны, как бы ни были они отвратительны, я просто боялся смотреть на свои. Я думал, “может, они уже гниют?” Я давно не проверял; я давно не заглядывал. Может, там возникли какие-то загно-

¹ безопасный секс

ния? Потому что воняли они страшно. Спасало только окно, и то, что я держал их под одеялом; сам боялся смотреть на них и решил, что не стану, пока не прижмет; да, пока петух в темя не клюнет; боялся, что увижу нечто ужасное. Показывать кому-то было вообще очень страшно; еще страшней, чем смотреть самому.

Дурачков много трепался, рассказывал о себе и Михаиле, говорил, что вот, его сестре повезло с мужем, Михаил мужик что надо, мастер на все руки, все умеет, вообще все, просто клад, а не мужик! Он, дескать, даже не знал, чего Михаил не умел. Иногда он называл Михаила сенсеем, иногда наставником, иногда мастером. Я старался его слушать внимательно, чтобы забыть и не думать о проклятых ногах.

Иван говорил, что был у Михаила в подмастерьях, когда тот занимался печами и каминами, они строили камины каким-то новым русским, собирали фирменные камины, камешек к камешку.

“Тут нужна голова, — говорил Ваня, — какой к какому пригнать, тут знать надо. Все ж разные, особым образом выточенные, мраморные и бог весть какие. Так просто не поймешь. Тут опыт нужен!”

Платили хорошо, но не всегда бывала работа. Не каждый мог себе позволить такой камин, да еще и мастера заказать. Тем более такого мастера как Михаил, что ты! Порой подолгу не бывало работы. Голодали даже. Тогда приходилось делать ремонты по заказу; иной раз просто за еду, ведь не станешь же брать с пенсионеров. “Михаил человек благородный, — говорил Иван, — поклеит обои и денег со старушки не возьмет, но поест, если та что поставит”.

Потом у них в Москве была своя мясная лавка, чуть ли не магазин...

Все это была ложь, конечно; я не верил ни единому слову этого лже-Ивана-царевича; он все придумывал и вообще никаким Иваном он не был. Я же слышал, как Михаил зашипел на свою жену, когда та его Гаврилой назвала, и увел ее в комнату, где внушал ей, полагая, дисциплину соблюдения конспирации битых полтора часа. С тех пор она вообще старалась на людях только молчать.

Может, у него и была мясная лавка, но никак не в Москве; может, и лавка, но где-нибудь в Кременчуге; или даже не лавка, а рубил где-нибудь мясо на рынке за гроши, вот и вся лавка.

Про себя он тоже рассказывал, но мало, гораздо меньше, нежели про своего старшего товарища, этого толстопузого бенефактора. Про Ивана нам по сути почти ничего не было известно. Или известно, но как-то туманно, расплывчато, и знание это было настолько недостоверное, что больше походило на выдумку. Известно было, что отец их бросил, когда ему было совсем ничего, пил да гулял, а однажды в такой загул ушел, что так и не нашелся. Жили они в разных городах. Мать его все время передвигалась и беспорядочный вела образ передвижения. Зачали его в Комсомольске (отец там отбывал), родили в Пионерске, о котором он помнил только ночи, надуваемые мехами суховея; бурю за окном, бившуюся в ставни; степь, гудевшую степь кругом; луну в мертвой тиши, желто-кровавый диск ее, в его воображении всегда сливавшийся с пятикопеечной монетой. Мать его была журналисткой на подхвате. Она писала статьи, но чаще либо просто перепечатывала чьи-то статьи или фотографировала, а то и вовсе проявляла чей-то материал; самостоятельности ей не давали, подползти к цеху, где раздавались права на самостоятельность, ей как-то не удавалось. Ее держали только за то, что ей никогда не требовалось предоставлять аппаратуры или лаборатории, которой нигде никогда не было. Она сама все доставала и печатала свои и чужие фотографии. Еще она имела талант выдумывать шапки. Ох, она придумывала такие заголовки, что все только что и цокали от восхищения языками. Ее часто просили придумать заголовок к бездарной серой статье. Она прочитывала статью и, недолго думая, выстреливала название. Все только охали. Сама она настолько устала от того, что ее статьи не пропускают, что говорила, что заголовок намного важнее, чем сама статья. Поэтому все статьи, написанные другими, к которым она придумала заголовок, были почти ее. Еще она считала, что все статьи советских газет и журналов были написаны одной рукой. Но даже если и так, можно было менять заголовки. Как бы часто похожи ни были, иной раз все же нет-нет, а хорошими бывают. Иван не помнил, чтоб она читала сами статьи, но был уверен, что по заголовкам она пробегала. Еще она говорила, что можно вообще не писать статьи целиком; больше не было нужды их сочинять; на все случаи советской жизни уже написано было

шаблонов в избытке; можно было чуть-чуть изменив имена и названия, придумав новый заголовок, пускать одну и ту же статью снова и снова в печать.

“Новые заголовки — это все, что современным советским журналам нужно!” — так говорила она.

Долго она не задерживалась нигде. Ей не сиделось на месте. Дольше всего они прожили в Ермаке, где Иван доучился до пятого класса. У него даже был там отчим, дядя Сема, инвалид. Вечно небритый, гундявый, с запашком спиртного. Он не гулял и не уходил далеко. Его всегда легко можно было найти. Возле пивной бочки с разливаемой. У пологого склона к Иртышу. Где росли черемша и щавель, ржавели кузова старых машин, в которых Ваня с друзьями играли в танкистов. Где иной пьяный, если разморило на солнце, мог уснуть на старом сидении. И дядя Сема там тоже порой спал, выпростав единственную ногу и два костыля из пробитого окна. Дети иногда брали его костыли, просовывали в окна машин, и играли с ними, как с пулеметами.

Дядя Сема пил так много пива, что его даже прозвали Селитером. Но все ему наливали. У него была банка, которую он держал всегда подле. И кому было не жаль, наливали. Со словами “Герою-стахановцу наше уважение”. Или просто “Герою наше”. Он не допивался ни допьяну, ни до чертиков, ни до белой горячки, он просто тихо шлялся на своих костылях, он даже свою пенсию умудрялся сохранить и с умом потратить на Иванушку или его мать. Жили они неплохо, тихо-мирно, но потом ей все это надоело. Как-то она познакомилась у них в местной газетенке с каким-то заезжим репортером, который не прочь был гульнуть, как все гастролеры, и с катушек съехала. А после того, как тот уехал, она впала в печаль, выйдя из нее с воплем: “Ой, бля, мне этот ваш Ермак — вот такое ярмо на шее!”, собрала чемодан, схватила Иванушку и на автобус.

Они объездили весь Союз. Она всюду все снимала! Она раскладывала по вечерам свои фотографии, как гадалка карты, и длинными тонкими пальцами перекадывала, рассматривала, и он, он тоже рядом с нею. Они часами просиживали за этим делом, они сидели, рассматривали фотки и болтали, даже голода не чувствуя. Они облазили

все лесостепи и плоскогорья, он катался на всех видах транспорта: от дробного ослика по высохшим горным речкам, жмуясь на Казбек, до верблюда к легендарным колодцам пустыни! Иван видел все! Он даже видел, как едят сырую рыбу, даже не потроша! О каждой республике у него сохранились свои особые впечатления, замершие на ее фотографиях. Впечатления сохранились, но фотографии нет. В Когалыме она спуталась с очередным гастролером; он работал на стройке, заезжая на два-три месяца, и на это время становился ей мужем, а ему — наказанием в виде отжиманий и прямого угла у стенки, а потом уезжал, становясь тем же для кого-то где-то неизвестно где. А она бесновалась и искала кого-то себе взамен, путаясь с новыми и новыми гастролерами, и все больше и больше заливая свое горе самогоном. И это уже доходило до белой горячки. И она даже таблетки какие-то пила. И с какими-то странными личностями она что-то курила. Жили они у какого-то деда. А дед все больше и больше впадал в инфантильное помешательство. Сперва он все собирал бутылки, потом пакетики, потом бечевки, потом гвозди и осколки стекла, пробки и проволоочки, все что угодно. Он так серьезно всем этим занимался, так подолгу наводил порядок в своем подвале и сарайке, так это все раскладывал по полочкам и коробочкам, что никто даже не заподозрил в нем сумасшедшего. Для всех он был обычным стариком, тяготеющим к бормотанию себе под нос, бережливости и идеальному порядку. Поэтому для всех был большой сюрприз, когда его прорвало. Однажды, когда надоело ему шляться, сел он у окна и стал смотреть, покачиваясь да напевая какую-то свою грустную песню. А потом стал плевать на головы прохожим, браниться-материться да кидать в окно все то, что насобирает. А потом вышел во двор, влез в песочницу и стал играть с детьми. Старухи давай его гнать, а он штаны, бесстыдник, снял и своим хозяйством стал потрясать! Тогда его и забрали. Мать спивалась. Иван пошел в армию, где ему пришлось известие о том, что она отравилась. В армии он служил на Каспийском море, ползал водолазом по днищам кораблей, выскабливая их от наростов барнакля. В свободное время все курили травку или пили каннабисное молочко. Кое-кто ширялся. Слушали “новую волну”, так называемый “полит-рок”, игра-

ли в карты и бухали... Вернулся он в Когалым, чтобы достраивать то, что никак не прекращало строиться. Там он и снюхался с Михаилом, который на те стройки за длинным рублем подался, как те гастролеры, с которыми когда-то мать его путалась, вот и он тоже влил, спутался, после этого все и началось... А что "все", собственно, так никогда он и не объяснил...

По утрам арабы ходили в туалет подмываться; за стеной кричал на Лизу Потапов; непалец уже не выбирался из постели, а только лениво на всякий случай спрашивал что-то у Ханумана, а тот ему даже не на словах, а каким-то хрюканьем отвечал что-то отрицательно. В открытое окно видно было голое поле; то падал мокрый снег, то шел дождь; так продолжалось, пока не сделали мувинг. Вселились сербы и начались беспробудные пьянки.

Сербы были горазды пить и курить, у них первое время водилась шмаль; я незаметно для себя влился в эту феерическую жизнь и забылся. У меня появились приятели: парни из Краины, которые живописали ужасы военных дней. Один был любителем рока и говорил кусками из фильмов Тарантино; другой любил футбол и знал всю его историю от первого чемпионата мира до последнего (включая такую статистику, как кто на какой минуте забил гол). С третьим у нас были смешные взаимоотношения: он мог высунуться из окна и крикнуть меня, я мог высунуться и спросить, чего ему надо, он мог сказать: "Shit, man!"; я отвечал: "Such is life", — и он заключал: "Life is shit".¹

Среди них был цыган Горан, он воровал так много, что про него ходили легенды, будто он выносил целыми магазинами. А пил он еще больше! Сколько бы он ни воровал, у него никогда не было денег достаточно, чтобы пить столько, сколько он хотел; так много он пил. И пить один он не мог, ему нужна была компания, ему нужен был праздник, шумный, с песнями и какими-нибудь мероприятиями. Поэтому он поил целую банду, водил за собой орду, вовлекал в балаган каждого, и меня в том числе. А мне что? Мне было лишь бы раствориться в какой-нибудь суматохе, в каком-нибудь веселье, за-

¹ Дерьмо, мужик! — Такова жизнь. — Жизнь — дерьмо.

быться. Я с удовольствием составлял им компанию; пил дешевый Карлсберг, рыгал вместе с ними, состязаясь, кто громче, крутил самкрутки (кто быстрее), жевал-швырял чипсы в мойку на спор, плевал в нарисованную углем на стене мишень, горланил их сербские песни, и неплохо получалось... Когда Горан напивался в стельку, он кричал припадочно:

“Я — белградский цыган! Мне на все насрать! На ментов. В пичку матерь! НАТО, ООН, на американцев... Они нас бомбили, я видел это! Вот это я Клинтону во так понял... Кто такие эти американцы нас бомбить? Кто они такие? Я знаю, кто я такой: я — белградский цыган. Хочу — зарежу; хочу — украду; обману любого; ограблю банк, если надо; яйца у Клинтона отрежу, он не заметит. Мне что? Ништо! Я в картонном городе у нас в Белграде жил; в карцере три недели сидел. Мне все ништо! Я — никто, понял, никто я! Цыган, и все. А они кто? Кто они такие нас бомбить? Я-то понятно, я — цыган; я в картонной коробке жил. Ни еды, ни тепла, ни крыши над головой. Украл — тюрьма. Хотя бы крыша да хавка есть. Другой раз лучше не попадайся, другой раз сажать не станут, а до смерти забьют. Им насрать. Цыган — кто? Никто. Забил как пса и в канаву бросил, из канавы вылез, в канаву бросили помирать. Судьба цыганская. Свободный как ветер, потому и прав нет. Поэтому сюда и приехал, в Данию. Пусть дадут и права человека, и документы, и дом. А то дома нет. Да и не нужен! Насрать! Водительские права мне дай! Перми де кондюир! Разумешь? Мне машина мой дом! Сел и поехал... Украду бензин, дорогу найду. Да так поеду, что и водка, и песня, и гулянка, и веселье будет! И всем хорошо будет, понял, а!..”

Началось все с того, что Горан пришел к нам смотреть видео. У нас был все тот же требовательный к температуре окружающей среды старый телевизор неимоверных размеров, тяжелый, деревянный, местами лак на корпусе облупился, кинескоп вовсю шалил, и цвета были странноватые, ненормальные. Но несмотря на некоторую размытость и удлиненность черепов на экране, цыган все равно к нам ходил; несмотря на то, что видик у нас тоже был старый и иногда жевал пленку, он ходил. И ходил он к нам потому, что экран у телевизора был — как он сказал — 78 см. Я не знал, правда ли это, мо-

жет и 78; мне было все равно. Смешно было то, что ему нужен был такой большой экран, чтобы смотреть, как Чичолина — всемирно известная порно-звезда — совокупляется с псом; он хотел рассмотреть все в деталях; он хотел удостовериться, что все натурально, что нет никакого подлога, никакого розыгрыша или монтажа, что все, что надо, входит туда, куда надо. И он сидел в метре от телеэкрана и смотрел во все глаза на то, как это происходит у нее с псом, и кричал: “В пичку мать кер! С кером Чичолина!”, хлопал по коленям и чесался в паху. Потел он при этом так сильно, что я забывал про свои вонючие ноги.

Он был уродлив, маленький, пузатенький, весь черный, длинно-волосый, с серьгой в ухе, а мочка уха оттянута и на ней татуировка, маленькая звездочка; нос у него был длинный, как у стервятника; глаза были хищные, алчные, похотливые. Пива он выпивал так много, что даже смотреть было тошно, начинало мутить, потому что пил он самое дешевое пиво. Там были какие-то уценки, о которых все знал Потапов, был Карлсберг, по смешной цене за ящик, по-видимому, несвежий, но им же все равно было, все равно, что в себя вливать, какого качества топливо (если человек по классу не Мерседес, то и на дерьме ездит).

Так вот, Потапов купил несколько ящиков этого пива. Воспользовавшись тем, что в билдинге у него под носом постоянно шла пьянка, стал продавать его по ночам. По ночам, когда внезапно топливо кончалось, и надо бы залить еще, чтобы бурлеск продолжался, но нигде купить было нельзя, ведь ночь стояла на дворе, и последний киоск закрылся уже пару часов тому, а хотелось продолжать, тут же появлялся Потапов, со своим пивом. Как же, он отбрехивался, говорил, что себе купил и не собирался никому продавать, потому что себе купил-то. Но его уговаривали продать, и он не долго думая уступал, и продавал в три раза дороже, сукин сын! А потом еще и бутылки требовал обратно, чтобы сдавать. И сдавал, чтобы снова купить!

Так продолжалось недолго, потому что Горан и прочие взбунтовались. Особенно возмущался Самсон, маленький эфиоп, которого прозвали Тупаком. Они все быстро задолжали предприимчивому По-

тапову; все ходили к нему по ночам и клянчили еще пару бутылочек, бразер. Начали хитрить: самого Потапова угощать. А этот дурак пил, да еще и бутылки требовал обратно. Идиот! Деньги за все ими выпитое, у ужратых мужиков, у пьяного цыгана деньги требовать стал! Ну не кретин ли? Стал еще цифры накручивать, присовокупляя все то, что сам выпил, ай-ай-ай! И тогда эти бутылки полетели в него самого. Он спрятался у себя, и пьянка переросла в погром. В итоге разнесли в кухне все стекла, вышибли входную дверь, побили все лампы. Потапов на следующее утро первым побежал в офис стаффам жаловаться на Горана и эфиопа. Мол, они его семье спать не дают; разнесли кухню; все ночи напролет пьянствуют и поют "Killing me softly"...

Потапов и Горан враждовали три дня, волком смотрели друг на друга, но в целом ничего не изменилось. Горан по-прежнему продолжал воровать и пить. Теперь он сам загодя покупал это дешевое пиво, ящиками, ящиками вносили втроем, вчетвером, с шумом, с уханьем ставили на стол ящики, зажигали сигареты, рвали со смачным шелестом пакетики с чипсами, бутылку о бутылку открывали так, что пробки летели в разбитые окна, и пили, пели и пили, пили и пели: "Killing me softly"...

Но потом неожиданно для всех они помирились. Вот как это произошло.

Привезенная из Кристиании травка кончилась; у молодых сербов не осталось марихуаны. Пить дешевое пиво всем надоело. К тому же порнография перестала вдохновлять...

Наверное, им захотелось чего-то крутого. Мы с Ханни почувствовали перемену в настроении, некий спад, потерю темпа, который набирало бурное веселье, набирало и набирало, долго взбираясь в гору, и вот вдруг стало сдавать, сползать, стекать вниз. А так как мы хотели как-нибудь продолжать ехать на этом веселом поезде вверх, не прилагая при этом усилий, да еще самостоятельно направить этот праздник в нужном нам направлении, мы начали рассказывать Горану о дешевом публичном домике с русскими и молдавскими проститутками, с которыми можно было бы договориться, если привезти немного амфетамина с собой. Шлюхи падки на всякую дрянь. У Горана потекло по губам.

Сербы загорелись идеей поехать прошвырнуться по большому городу. “В этой дыре, в Фарсетрупе, делать вообще нечего!”, кричали они, “Датские две шлюхи, которые ходят к кому попало, просто невообразимо уродливы!”

К тому же какой уважающий себя серб станет лезть туда, где до него побывали всякие сомалийцы и арабы, и бог весть кто еще, и не дай бог албанец, бля! Да и нюхнуть или дунуть было бы неплохо, от пива уже изжога. Цыган сказал, что знает несколько мест в том же Ольборге, где можно было бы раздобыть порошка или травки, но вот как посреди ночи добратся до Ольборга...

“Это же черте сколько ехать надо, а машины нету!”

“Есть, но у албанцев!”

Но какой уважающий себя серб сядет в машину, в которой до него посидел албанец... Хануман сказал так загадочно, что не только у албанцев есть машина. Горан не любил загадок и прямо спросил:

“А у кого еще?”

“Хм, у русского”.

“У какого?”

“У Мишеля”.

“Ага!”

“Но номеров нет!”

“Ерунда! Номера это фук! Нема проблема!”

“Но даже если достанешь номера, ты с ним не договоришься”.

“Договорюсь! Я с любым договорюсь! С дьяволом самим договорюсь, посмотришь!”

Встал и пошел. Я пошел вслед за ним.

Была ночь. Потапов постоянно жаловался на гвалт, головную боль и бессонницу. Мне было интересно понаблюдать за тем, как цыган будет посреди ночи говорить с озлобленным на весь мир русским. Потапов открыл; и тут, пока открывалась дверь, я уловил момент цыганского перевоплощения, познал это искусство за мгновение! По лицу Горана растеклась слащавая, угодливая улыбка, он моментально стал елейным, он изображал, будто почти не стоит на ногах, будто он сильно пьян.

Он сказал:

“Ррусский брат, иссвини, слшшшай, короче, такое дело...” — И тут цыган стал говорить, что речь идет о большом бизнесе: “Рработа! Разумешь? Окей, братко, работа для всех! Для всех найдется работа! И для тебя и для меня и для него! Для твоей жена тоже будет если хочешь! Свои люди — только большой секрет — пока никому — разумешь? У тебя есть машина?”

“Да-да, я продаю машину”, — ляпнул Михаил.

“О! Как кстати! Я как раз собираюсь купить машину! За сколько уступишь? Ну я же брат! За сколько ты брату продашь?”

Михаил с безразличностью посмотрел на цыгана, сомневаясь в том, что мог бы состоять в родстве с черным волосатым уродом. Потапов сказал, что уступит, но не меньше, чем за три штуки!

“Хм, окей, но сперва попробовать надо!”

“Ну что ж, завтра утром...”

“Нет, сейчас! Один бизнес есть в Ольборге, заодно и попробуем, поехали!”

В машину нас набилось так много, что трудно было не то что вздохнуть, но даже думать было трудно, мыслям тесно было. Номера цыган снял с албанской машины; лениво, но деловито, с какой-то мстительностью, он это сделал так, будто совершал боевую вылазку, как на войне.

Всю дорогу он врал про какой-то бизнес; между делом упоминал то амфетамин, то шлюх; говорил про продажу машин; про человека, который делал паспорта.

“Человек сербский, — говорил он, — паспорто хорватски! Лучше чем словенский или югославский! Сам сажает в самолет — виза инклюзиф! Едешь в Канаду — делает визу в Канаду! Едешь в Малибу — в Малибу делает те визу! Разумешь сервис? Приходит с тобой в аэропорт, лично проверяет паспорт, в этом, в рентгене, сам идет с тобой вместе. Ты проходишь контроль, твой человек дает ему твои деньги; ты не проходишь контроль, твой человек не дает ему деньги. Полная гарантия, никакого обмана, разумешь?”

И снова, и снова он говорил про возможности уехать в Канаду, про работу в Канаде, про своих бесчисленных родственников, уже рабо-

тавших и пустивших в Канаде корни; потом как бы невзначай опять сбивался на амфетамин и шлюх. Потапов все это жадно глотал, забыв о своей неприязни к Горану и его национальности. Он был полностью во власти цыгана.

В Ольборге мы ездили по притонам в поисках амфетамина. Подъехали к дому, где был бордель Марио, нам снизу ответила какая-то старуха, мы спросили Ольгу или Натаху, нас послали к черту: “Ночью! Какого черта вы звоните ночью! Идиоты!” — Было непонятно, куда делся бордель. Куда он мог деться? Он же тут был! Наполненный идиотическим смехом “ой, обоссусь!..” — Хотя мало ли... Вполне возможно, что мы просто ошиблись домом. В этом городе и днем все не как надо, навечно, перепутано, а ночью не то что черт, Хануман не мог ничего разобрать. К тому же беспросветно клубился мокрый снег, свистел дикий ветер. Еще и Горан повлиял и на Ханумана; он напряг его; он уже овладел его мышлением; он и ему мозги основательно запудрил; так, что Ханни был в легкой прострации и не мог сообразить, где мы и куда мы. Цыган повернул так, будто индус не только рассказал про амфетамин, но сам хотел и шлюх, и амфетамин. И теперь Горан как бы обязан ему — брату-индусу! — достать и то и другое, и он — брат-цыган! — выкладывается на полную катушку, готов разбиться в лепешку, чтобы угодить Хануману, брату-индусу, который в свою очередь ему уже обязан тем, что Горан достал номера и машину и везет его от точки к точке.

На точках вылезали заспанные, пузатые, длинноволосые цыгане, в сущности, двойники-братья Горана; они о чем-то говорили на своем языке; никто, конечно, не мог понять, о чем те совещались. Горан возвращался и разводил руками, говорил: “Факинг таун в пичку мать! Ноу амфетамин! Ноу марихуана! Ноу хорз! Нема ништо! Сране!” Однако не было никакой гарантии, что это были точки, и что цыгане, с которыми он говорил, были дилерами или имели какой-то доступ к наркотикам или шлюхам, не было никакой гарантии, что они вообще говорили об амфетамине. Может, они говорили о чем-то своем; кто знает, о чем цыгане обычно между собой говорят.

В конце концов поехали в кабак, где продавали гашиш, где на стене нарисован старик, вылезающий из маковой чашечки; там мы

опять встретили старого жирного ирландца Хью. Я ему сказал, зачем мы тут, и он мне сказал с глазу на глаз, что у него есть травка, много травы, и он уступит нам по дешевой цене, если мы возьмем сразу грамм сто, например. Я сказал это Хануману; Потапов вцепился мне в глотку, сказал, чтоб я никому не говорил (остальные сидели в машине, не стали вылезать под дождь, им уже все до чертиков надоело). Потапов зашипел Хануману в ухо, чтоб тот брал, немедленно брал, не упускал возможность!

“Или одолжи мне, одолжи, — нажимал Потапов, — одолжи все свои деньги! Я куплю, продам и потом отдам тебе, обещаю!”

Ханни так устал от всех и всего, что дал ему деньги. Потапов купил на все травы. Мы долго ждали его возвращения из грязной подворотни, в которую он ушел за ирландцем. Наконец он вернулся, весь мокрый. Ехали обратно молча, всем сказали, что ничего нет. Горан больше не заикался о покупке машины, а Потапову, по-видимому, стало наплевать. У него горели глаза, тряслись руки. И этими трясушимися руками он, когда мы приехали, закрутил первый джоинт, и джоинт пошел по кругу, в котором были только я, Хануман, Дурачков и сам Потапов. Травка оказалась вставляющая, немного тяжеловатая. Меня сразу же загрузило на думки, и я отключился.

На следующий день Михаил начал торговать этой травой. Первым покупателем стал эфиоп. Потапов, конечно, побаивался объявить всем, что у него есть травка, что он хочет ей торговать, он боялся открыть так называемую точку, говорил, что опасается, могли бы наехать грузины или армяне, или вообще могли бы спалить... Поэтому дал мне джоинт, сказал, чтоб я нашел кого-нибудь, и привел бы, или намекнул, где взять, где можно купить.

Я пригласил раскуриться Самсона, который больше всех любил это дело, и любил больше, чем выпить или женщин; мы с ним курнули вдвоем, да так, что стены поехали. Травка оказалась не только вставляющая, но и какая-то стремная. Эфиоп это тоже почувствовал. Не стал засиживаться. Быстро ушел от меня, покачиваясь. Он сказал: “Оу... так... я пошел прилечь, мама мия!” Его качнуло, вдоль стены, вдоль стены, он пошел и пошел... Я же остался один; меня начало мутить; я стал захлебываться в собственных сумбурных мыслях,

жалея, что покурил, мне становилось нехорошо и даже страшно... Высунулся в окно и стал жадно глотать воздух; захотелось куда-нибудь выйти. Вышел из билдинга, пройдя мимо араба, который сказал: "Хай, май френд", вышел; закрыл дверь, но показалось, что все еще не вышел, а продолжал находиться в билдинге. Открыл другую дверь, не соображая, что вхожу в билдинг, где жили армяне и грузины. Прошел деловито мимо кухни, где воры заседали за картами. Они спросили: "Эй, слушай, чего надо?! Что ходишь тут?! Обдолбанный, что ли, дедашевиц!"; прошел по коридору, снова вышел. Но по-прежнему навязчиво казалось, что вышел не до конца, что все еще продолжал быть запертым. Пошел в поле, шел по грязи, в поисках заветной двери, очень долго. Где-то посреди поля, взмокрев от снега, вдруг осознал, чего ищу, и ужаснулся. Меня напугала, видимо, возможность того, что я найду какую-то дверь, сквозь которую пройдя можно было выйти из нашего мира, что найду возможность уйти навсегда. Там, в поле, я стоял, на меня падал снег, и я вспоминал кривые глаза Хью, и его слова: "Будь осторожен с этой травой, ее поливали особыми удобрениями".

Я не помнил, как вернулся; очухался я под душем; потом долго лежал в постели, глядя в потолок и повторяя: "Наши годы длинные — мы друзья старинные", и никак не мог вспомнить, что было дальше, и повторял снова, снова и снова...

Потом пришел Самсон, эфиоп, он спросил, где я достал это; я сказал, что это можно купить, прочел сомнение на лице, сказал тогда, за сколько и где, и началось.

Потапов только успевал закручивать; бизнес шел хорошо. Он продавал чуть ли не втридорога! К тому же подмешивал табаку. Но это продлилось не долго; у всех обитателей, падких на травку, быстро кончились деньги; грузины и армяне тоже пронюхали про траву, пошли к нему, сказали, что заплатят потом, как всегда — "после или потом", и, конечно же, не заплатили. Отказать им он, конечно, не мог; а ходили они к нему табунами, и чаще, чем кто-либо. В конце концов все так ходить начали. Он обозлился, понял в чем дело, сказал: "Все, кончилась!", и стал втихаря курить сам. Ну и мы ему помогали...

Когда же трава кончилась на самом деле, и он вернул часть денег

Хануману, то заплакал от досады: он не только не разжился, но даже потерял.

“Зззато покурили в кайф”, — успокаивал его простосердечный Дурачков. Но Потапов только отмахивался: “Да иди ты...”

2

“Мы все мертвы тут, ты знаешь, мы все мертвы”, — сказал Хануман, наливая мне вина.

Я взял стакан, но мои руки затряслись, я был так слаб, что не мог донести стакан до рта; пролилось.

“Ээээ, мммать, да ты это...”, — сказал Иван.

Тогда я засипел:

“Стакан горячий, что вы, меня убить хотите?!”

Мне сказали, что обо мне заботятся, отпаивают меня горячим вином со специями, чтоб я поскорее выздоровел.

Я попробовал пить вино, в которое бросили чили и еще какие-то специи, что-то вроде гвоздики и масалы, но это не помогло. Мне становилось хуже и хуже. Время от времени Ханни, Потапов и Дурачков принимались требовать, чтоб я открыл рот. Они заглядывали в мою пещеру, они цокали языком и покачивали головой.

“Ужасно... — говорили они. — Ну и ну! Какие ужасные гланды!”

Слава богу, что они не обращали внимания на мои зубы; зубы, которые я месяцами не чистил; зубы, на которые сам старался не обращать внимания. Иногда я задумывался: что я буду делать, если у меня заболят зубы, куда я пойду?! Ведь если гланды еще как-то можно было вылечить, повалиться в постели, пополоскать, то зубы-то так просто не вылечишь. Без вторжения врача зубы так просто не перестанут болеть.

Я слышал разговоры Потапова с Дурачковым; они много говорили о зубах, о том, что им — слава богу! — эти услуги дантиста ничего не стоили. Им вообще все услуги врачей ничего не стоили, они были привилегированные люди, бесконечно неимущие беженцы, гольть-

ба, les guignols¹. Но потом они говорили, что датчане их так ненавидят, потому что не совсем справедливо считают халявщиками. Я думал, что ведь на первый взгляд так оно и есть: за врача они не платили, не работали и так далее, голова ни о чем таком не болела; выходило, что бесплатно деньги получали, тунеядцы! Но боже мой, если б датчане могли хотя бы раз заглянуть в те сны, которые снились азулянту; если б они могли хотя бы раз услышать, как шумел поток сознания азулянта. Если б они могли понять, что это за турбулентная жуткая река; сколько в ней камней, сколько щебня, взвесей страха, как давит ил сплина... Если б датчане знали, как у азулянта болела голова, они бы им все простили, все, даже воровство.

Я находил подтверждение своим ощущениям в словах Потапова:

“Не дай бог им, датчанам, такой халявы! Даже на Гавайских островах, даже в термальных источниках Бадена, даже в раю!”

Потому что... Во-первых, попробовали бы они жить в одной общаге с албанцами и сербами. Пусть в раю, но и там найдется задница, вроде албанца. Во-вторых, в таком курятнике как этот, где приходилось трахать свою жену в общем душе. В душевой, куда иной раз так и норовили заглянуть какие-то иранские детишки, наловчившиеся монеткой открывать замок. В душевой, наскоро, впопыхах! Кончить бы наскоряк да и по-быстрому смыть... Отвратительно. В-третьих, “лечиться” у врача, который эти бесплатные услуги просто превращал в пытку или вообще ничем не помогал, потому что ненавидел беженцев сам, тоже, как и прочие...

Говорили, что Эдди, иранец, сходил один раз, и бедолаге вырвали в конце концов зуб. Якобы зуб был запущен настолько, что не имело смысла возиться. Решили рвать; мол, единственное, что осталось. Он пришел домой и обнаружил, что вырвали не тот! Он было замутил дело с адвокатом, а ему сказали, что все бесплатно было, если хочешь, все поправят и вырвут тот, что нужно вырвать, и вообще, врачу виднее, который рвать надо, понял, дурак?! Он отказался от повторной пытки, вырвут-то вырвут, но где была гарантия, что опять не перепутают, так вообще без зубов остаться было можно!

¹ оборванцы (фр.)

Иногда я смотрел на Ханумана и вспоминал, как он, когда мы жили у Хотелло, рвал зуб одному из наших, Фредди, африканцу из Конго. У него так болел зуб, что мы неделю не спали, он нам не давал, выл, на стены лез, стекал медузой, оставляя кошачьи следы своих никогда не стриженных ногтей. Наконец Ханни сжалился над ним, взял щипцы и приказал ему открыть рот, успокоиться на минуту. Тот посмотрел на щипцы и не согласился. Но Ханни дал ему курнуть дури и пока того перло, выдрал зуб. Я до сих пор с содроганием вспоминаю те щипцы. То были щипцы, которыми вырывали гвозди, огромные, зубчатые, грубые гвозди. Этими щипцами что-то вывинчивали в машине; они были все в масле, грязные, жуткие. Я тогда еще решил, что если у меня и заболят зубы, Хануман будет последний, кто узнает об этом. Потому что он мог вообще браться за такое дело, но при этом, — вот парадокс! — Хануман меньше всех делал вид, что он мог что-либо делать руками, меньше всех старался подтверждать свой секс, забивая ли, вырывая ли гвозди, но как только он слышал о больных зубах, моментально тянулся к кусачкам!

Хануман, Потапов и Иван стояли и смотрели мне в рот, вздыхали, а я думал: “Да, вот дела видно и правда так плохи, что вообще, труба дело, но все равно, все равно, пусть дела с гландами плохи, пусть совсем беда, пусть там такое, что вообще, вот-вот и ага, но лучше они никогда не узнают о том, что творится с моими ногами! Как знать, как они отреагировали бы, если б я снял ботинки и показал им мои ноги? Нет, об этом лучше не думать совсем; неет, лучше пусть гланды болят! Лучше сосредоточиться на гландах и отвлечься от зубов. И тем паче ног! Уж пусть лучше гланды болят! Уж пусть лучше от них у меня была такая высокая температура, чем от гангрены! Потому что если зуб удалить щипцами можно кустарно, так сказать, на дому, без специалиста, то ногу-то пилить придется официально, у врача, в больнице! А там уж не отвертеться, придется и с полицией разговор иметь. Нет, уж лучше вообще сдохнуть, сдохнуть и спокойно гнить целиком, сразу. Потому что если издох, то боли не чувствуешь. Ни пилить, ни рвать ничего не надо! Просто лежишь себе да мирно гниешь. И никому до тебя дела нет. Если зубов золотых не успел

вставить. Потому как коли вставил, то за ними рано или поздно придут. Но если нет, то всем насрать и забыть. Был такой или не был. Ха-ха! Идеальное забвение. Чем меньше к тебе интересу у этой человекозовущей твари, тем лучше. Чем меньше помнят тебя, тем легче тебе гниеться! Тебе до всего пофиг. Тем более до чьих-то золотых зубов!”

Между тем мне становилось хуже; вино не помогало, а, казалось, стимулировало развитие заболевания. Я от него только потел; а от окна дуло...

Я пребывал в лихорадке, при этом чувствовал себя до болезненности оголенным; я превосходно соображал, анализировал, даже делал убийственные комментарии своим севшим, до жути изменившимся голосом; если кто-то входил, я сипел им в лицо: “Что, падлы, пришли проверить, не сдох ли я?!”; моя желчь отравляла атмосферу в комнате, все старались побыстрее убраться, и большую часть времени я был предоставлен себе и снedaющему мою волю одиночеству.

Было жутко, я уставал от этого состояния обнаженности, повышенной тактильности души, будто с меня содрали кожу и вместо нервов оставили обнаженной душу. Я не мог ни провалиться в бред, ни заснуть; я смотрел воспаленными глазами вокруг, все понимал, и это было еще более болезненно, нежели любой кошмар. Потому что реальность, окружавшая меня, и воспринятая в неожиданно обостренном, воспаленном состоянии, была как никогда бizarрной.

То и дело я просил слабым голосом закрыть окно, но Хануман не уступал, говорил:

“Окно тут не при чем! Ты скоро поправишься. С тобой сто раз случилось и не такое! И ничего, выздоравливал”.

Я шипел:

“Да, я выздоравливал, да, но окно-то никогда при этом не было распахнуто!”

Но он отмахивался. Он не желал слушать. Ему было плевать. У него были планы, дела куда поважней! Я был списан в трупы. Меня осталось отнести в поле и зарыть в кукурузе! Он уже и за лопатой сходил. У него уже все было продумано. Этот Иван, и этот Потапов, два

идеальных могильщика. Он на них, кажется, рассчитывал. Они-то по его планам и похоронят меня.

Потапов изображал сочувствие, притворно участвовал в моем лечении, просил показать язык, кивал и вздыхал, засыпал Ивана в магазин купить дешевого пива, пару бутылок, и украсть заодно бутылку крепкого вина, “того самого, ну ты помнишь”, — “да-да, конечно...” Вот на это Иван был горазд, ну просто был мастер. Чемпион! Он не вызывал подозрений, — у него такое было наивное лицо, такие трепетные черты, — ну разве человек с таким лицом мог что-то украсть? А он крал, крал это гадкое вино. Еще как! Каждый день: заположня! Я навсегда запомнил это вино: крепленое, вишневое. У меня от него была сильная изжога. Борматуха да и только! Бутылка была такая солидная, такая пузатая, с маленьким латунным бокальчиком, встроенным в стеклянное тело бутылки. Оно было невероятно дешевым в Дании, это было собственно датское вино.

Хануман разогревал вино, бросал чили, Потапов жарил бекон, заодно прихваченный Дурачковым, пил пиво и бросал щепотку какой-то травы в вино... А когда меня поили, я из последних сил говорил, что, возможно, все из-за травы, которой я перекурил, у меня уже был однажды абсцесс, мне горло исполосовали, сказали, что мог умереть...

Потапов говорил, что мне, скорей всего, вообще курить нельзя, если у меня такое горло. “Тем более через кальян, — добавлял он. — А мы ведь через кальян курили, перед тем как тебя прихватило. Ну вот! Винные пары, должно быть, подействовали!”

“Почему?” — сипел я: мне было интересно дослушать эту чушь до конца.

“Дым, — развивал он мысль, — насыщенный винными парами, подействовал, точно! И вообще, тебе, вероятно, нельзя пить вино, даже горячее, тем более со специями! Эти чили просто разъедают тебе горло! Ты так совсем откинешься!” И он лишил меня вина, а я шипел:

“Закройте окно, пожалуйста...”

Все говорили, что и правда, окно-то надо бы закрыть, но Хануман находил дюжину причин, по которым нельзя было закрывать окно. Одна из них меня просто взбесила.

“Окно надо держать открытым! — сказал он. — Чтобы постоянно шло проветривание, потому что мы дышим одним воздухом с больным!” — И он многозначительно указал в мою сторону пальцем. “Мы тоже можем заразиться. Надо освежать помещение, надо изгонять микробы!”

Это было созвучно с тем, что он тогда говорил про труп старика. Теперь Хануман держал окно открытым почти так же, как и тогда; у меня не было сил, чтобы выразить свое негодование. Но все же я сказал:

“Я сдохну! У меня начнется абсцесс! И кто, кто тогда меня повезет к врачу? Вы не успеете вызвать врача... Да ты, сукин сын, и не станешь вызывать врача! Потому что тебя могут спалить! Ты будешь смотреть, как я подышаю, и приговаривать, как тому старику: “О, тебе уже намного лучше! Ты посвежел! Порозовел! Ты выглядишь намного лучше, чем час назад!” Так ведь?!”

А Потапов говорил, что если надо будет что-то резать, то он всегда готов, у него даже инструмент есть, он на свалке нашел неплохой скальпель.

Меня это ничуть не успокаивало. Я снова попросил их — во избежание осложнений и оперативных или бог знает каких еще вторжений в свое горло — закрыть хотя бы окно. Но окно не закрывали. А мне становилось все хуже и хуже... Михаил тогда первый раз попытался заронить зерно раздора в мою голову. Он пришел и стал говорить о том, какой индус дурак, какой он тупой, как он не понимает, что человек болеет, а он не может окно держать закрытым. Я попросил его закрыть окно. Михаил закрыл окно. Но тут же вошел Хануман и открыл окно. Михаил попытался вступить за меня, но тот его выгнал. Как только дверь за Михаилом захлопнулась, Ханни закрыл окно, подошел ко мне и спросил, о чем это мы тут толковали, потому что он был в туалете и слышал, что Мишель три или даже четыре раза повторил его имя. Я попросил Ханумана держать окно закрытым. Он некоторое время его прикрывал, но потом снова открывал. Спали мы как и прежде с открытым окном.

Один раз Михаил заслал Ивана к медсестре, чтобы та дала каких-нибудь лекарств; тот притворился, что у него болит горло, соврал,

что была температура, что так, мол, и так... Но она сказала, что он должен пить воду, и отослала его...

“Вот сволочи! — ругался Потапов. — Они, эти лекари, всем так всегда говорят при любом случае, пейте воду, мол, пусть организм борется и чистится водой!”

“Это потому что водой своей они гордятся, — сказал я. — Ведь она самая чистая в Европе!”

На третий раз медсестра все-таки дала Дурачкову какой-то порошок, но он мне не помог, и я начал отчаиваться.

3

Я лежал на верхней полке; как в купе; как в купе поезда Фарсетруп — Небытие; я лежал и ехал в никуда, а Хануман продолжал ехать на Лолланд. Он продолжал бредить Лолландом. Я подышал, а он перетирал сказки про Лолланд.

Да, Хануман продолжал трепаться на каждом углу, собирать все новые и новые байки о Лолланде. Он уже знал людей, которые бывали на Лолланде. Он их встречал раньше, а теперь они жили в Ольборге и про них говаривали, будто они разок скинулись и слетали на Лолланд. Мне было плевать. Я лежал на верхней полке и ехал в никуда. Я не собирался ехать на Лолланд. Я лежал под торшером и маленькой книжной полкой. Я лежал под лампой, ощущая себя трупом в морге; лежал и ждал, когда начнется какое-нибудь заражение, отравление, гниение, что-нибудь фатальное, что и сделает меня трупом. Ждал, когда начнется деление клеток, рост опухоли, некроз или гной в кровь пойдет, и я пойду на тот свет. Но, думал, неееет, я не пойду, а поползу, потому что я давно ходить не могу, я волоку свои ноги, бедные мои ноги...

Я лежал под торшером, проваливаясь все глубже и глубже в депрессию. Безразличный ко всему, я даже не заметил, как очень скоро мы в очередной раз оказались совсем на нуле. И снова из-за Потапова. Он снова уговорил Ханумана купить машину. Да сколько можно!..

На этот раз он сказал, что надо возобновить поездки за едой, а есть нам и вправду было нечего. Хотя плевать я хотел тогда на еду, я готов был подохнуть, просто так, как парижский клошар, без всякого сопротивления. Но не такой человек был Хануман: этот всегда хотел есть; для него поесть хорошо было важно; скорее, наличие еды было важнее, чем сам удовлетворенный аппетит, чем само набитое брюхо. Потому что это его как-то психологически удерживало на плаву.

Я как раз поправился... или мне казалось, что я поправился, — ведь Хануман мог просто меня убедить, что мне стало лучше, он мог воздействовать, как факир на змею, и я, как загипнотизированный, действительно мог начать чувствовать себя лучше. Непальская кошка отказывалась нас кормить; Иван денег не имел, потому что Потапов его вовлекал во всевозможные интриги. Они купили около сотни билетов бинго-лотто, заодно купили граммов десять гашишу; они курили и проверяли свои билеты, несли какую-то чушь. Потом гашиш кончился; ехать за ним опять было невозможно, потому что юлландские компостеры были как заговоренные; поддельные билеты не проходили. Тут еще пошли слухи, будто появились люди в форме, останавливают автобусы на тех линиях, где чаще всего ездят азулянты, проверяют билеты, просвечивая их каким-то прибором, на предмет подделки. Многие попадались; штрафы давали просто баснословные. Ехать вчестняк никто не хотел. Тратить сто крон только на поездку, — да и время, — было невыносимо. Поэтому снова требовалась машина! Форд после ночного вояжа с Гораном в Ольборг так больше и не завелся...

Потапов вновь сел на уши Хануману. Стал говорить, что у него есть какой-то знакомый, он якобы торговал молоком.

“У него ферма, понимаешь! — говорил Потапов, то рыча, то жалобно завывая. — А что такое ферма?! Ну, это молоко, в первую очередь, и при этом очень дешевое. А если покупать канистрами, литров по двадцать, то вообще скидка, просто фантастическая скидка. Так вот, надо привезти со свалки большой морозильник, это раз, — начал он загибать пальцы, — а для этого нужна машина. Чтобы возить молоко, тоже нужна машина. Может, в другие кэмпы придется во-

зить молоко, может, там подороже продать получится. А это деньги. Деньги на дороге не валяются. Жень, переведи ему!..”

“Он понимает”.

“Да ни хера он не понимает!”

“Панимаэзт,— передразнивая, сказал Хануман и спросил Потапова: Так зачем столько молока?”

“Я же говорю, что не понимает, отдельные слова понимает, а сути — не понимает!”, снова зарычал Потапов, теперь уже на убогом английском: “Во-первых, в нашем лагере много семей, а детям надо пить молоко. И не такое молоко, какое продается в магазинах, а настоящее, свежее, жирное. Плюс дешевле. Во-вторых, можно делать различные молочные продукты, сыр и... Как будет “творог”, Жень?” — Я сказал. — “Вот,— продолжал навораживать Михаил. — Творог, понимаешь? Творога здесь нет, никто не знает, что такое творог! В Дании... Нету! Мы будем делать, первыми! Сделаем тут творожную революцию!”

“Творожную революцию?” — усмехнулся Хануман. Это было действительно нечто новое в репертуаре Потапова.

“Да, мы запатентуем наше изделие!” — сказал Михаил. Он, дескать, знал как творог и сыр делать. “Мы монополизировем рынок! И поверь мне,— продолжал он,— мой сыр будут брать. Он лучше швейцарского! В-третьих,— говорил он, уже обнимая Ханумана по-братски,— машина нужна, чтобы ездить за травкой или гашишем. Кто знает, может, снова купим травку, как в тот раз, и продадим. Но на этот раз нас никто не одурачит. Ну и четвертое, будем ездить за бутылками, едой и на свалки. Может, найдем чего интересного. Как знать, может, спутниковую тарелку или компьютер, а? Были случаи. Мы давно не наведывались на свалку в Скиве, а там много чего можно найти. Копи царя Соломона. Да простой тюнер тоже можно продать хорошо какому-нибудь позитивщику. Главное, найти тюнер, а позитивщик найдется. А чтобы найти тюнер, надо ездить по свалкам. А для этого машина нужна!”

Хануман, видимо, так устал от всего этого, и был так голоден, или так хотелось ему курить, или просто так ему все надоело, что он отдал ему все свои деньги (или почти все), и они купили машину.

За семь тысяч! То есть заплатили все, что у них было на руках, и еще должны остались, конечно. Михаил обязался выплачивать каждые покет-мани, по полторы тысячи, очень рассчитывая, что мы его поддержим. Да и сама машина, как он считал, окупаться начнет с первых же дней, как только он станет продавать молоко. Купили они машину все у тех же грузинов, и снова без номеров, без техосмотра и прочего! Те только сунули какую-то записку, которую датчанин якобы написал, какую-то записку на тетрадном листке, где детским почерком было написано, что хозяин машины гарантирует действие номеров и техосмотра на ближайшие три месяца. Эта записка очень смутила Ханумана. Там было еще написано, что новый техосмотр был почти пройден, то есть машина как бы проходит регистрацию или может пройти регистрацию; разобрать было невозможно. Да и не имело значения, что и кем там было написано, просто покупать у наркоманов машину, да еще за такие деньги... Я больше ничего слышать об этой машине не хотел, я даже видеть ее не хотел, я отказался кататься, отказался даже выйти посмотреть, сколько они меня ни зазывали. Они за восемь тысяч купили машину у наркоманов, воров. Кто наступает на грабли дважды, а кто всю жизнь и каждый день!

Потапова снова одурачили, конечно; ему пообещали сделать номера.

“Короче слушай сюда, биджо, — сказал Мурман, — знаешь, что Васка у нас мастер?”

“Васка?..” — не понимал Потапов.

“Да-да, биджо, — сказал Бачо, — ну, Васка, что не знаешь, что он у нас слесарь?.. Э-э, брат, ты где живешь?.. На Луне, что ли?”

“Да-да, биджо, — сказал Мурман. — Васка, вах! Ну, такой слесарь, такой мастер, такой хондкрафтсмен, что ты! Он тебе из куска железа такие номера сделает, ни один мент не отличит! Никто тебя никогда не остановит... Всю жизнь ездить будешь без паспорта! Без сюза!¹ Без ничего! И дети твои! И дети детей!..”

“Давай деньги, биджо, — сказал Бачо, — все хорошо будет...”

¹ syn — техосмотр (датс.)

Потапов дал, и как только деньги перешли из рук Михаила в руки Мурмана, все грузины ни слова не говоря поднялись, как по команде, и пошли в машину, в свою, и уехали. Не показывались несколько дней; ушли в свой героиновый драйв на неделю. А когда появились, все приходили и требовали от него еще деньги, и он должен был отдавать этим мерзавцам сколько-то из каждых покет-мани за убитый БМВ. И пусть там был кожаный салон и ручки под дерево, да си-ди-плейер внутри; похуй, что там в салоне; зачем это все человеку, чтобы ездить на свалки и за гашишем? И каждый раз, когда он давал грузинам деньги, они исчезали на несколько дней, и Потапов все надеялся, что вот в следующий раз они не появятся, обколятся и разобьются, потому что гоняли они как сумасшедшие. Но они всякий раз возвращались, изможденные, пожелтевшие, припорошенные снегом, с пеной у рта и маслом в глазах; они требовали денег, и он все время стонал: "Мне семью... семью... кормить надо, семью...", — но деньги давал, потому что не дать не мог.

Денег, чтобы закупить молока, не было, но удалось найти огромный морозильник, который еле вошел в нашу комнату. Потому в нашу, что в комнате Потаповых уже не было места. Там не было места не только для холодильника, но даже для того, чтоб поставить стул и сесть на него. Его комната была забита чуть ли не доверху самым разнообразным хламом. Потом поехали как-то на помойку к магазину Бругсен, нашли там мясо, так много курятины, цельные курочки, так много, что полностью забили багажник, а потом холодильник, и вполне съедобная курятина оказалась!

Непальская кошка тут же согласился с нами вместе питаться; появились специи, и рис, и хлеб, но мы все еще продолжали быть на мели... А курнуть хотелось страшно; не мне, а им. И тогда, чтобы наскрести хотя бы на грамма три, Хануман начал продавать курятину. Но курятина была не совсем презентабельного вида; она слегка синеватая была какая-то, и был слышен легкий запахок. Запашок, в общем-то, свалочный, помойный. Такой курятины никто бы не купил, даже за пять крон куру. Тогда Хануман пошел на изощренную хитрость. Раз к нам в лагерь приезжал один не то пакистанец, не то непалец, продавал баранину. Так вот он продавал еще и паке-

ты с замороженными порциями готового плова. В этот плов входили мясо, рис, вермишель, лук, оливки, изюм и всякие специи. Все это готовилось вместе, потом замораживалось, рассыпалось по пакетам и продавалось. Арабы очень любили эту фигню, в особенности обо- жал ее сумасшедший иранец, который готовить вообще не умел, он мог разве что сварить макароны, но все равно всегда недоумевал, почему они у него несоленые получались.

Именно в расчете на таких дураков Хануман вместе с Непалино изготовили кучу такой смеси (с курятиной вместо баранины); они так хорошо заправили смесь перцами и прочими специями, вклю- чая карри, чеснок и инgefир, что и не чувствовалось какой-то не- свежести; специи отбивали запах. Они легко продали все это, потом сделали еще больше, снова легко продали и укатили в Ольборг. Ку- рили пару дней; потом все вместе в нашей комнате сидели и мельчи- ли курятину, резали лук, готовили на маленькой плитке, дым стоял коромыслом, несмотря на открытое окно, дышать было нечем, дым столбом, запах карри. Даже Потапов не выдержал, сказал, что у не- го аллергия на специи, притворно расчихался до слез и сбежал. Тор- говля и изготовление пакетиков со смесью длились до тех пор, пока курица не кончилась.

В конце концов получилось так, что у нас снова не было денег, но был гашиш. Совсем чуть-чуть. Непальская кошка больше не да- вал нам еду, потому что не получал от нас своей доли за проданную смесь. Ему предлагали гашиш, но он брезгливо нос воротил, гово- рил, что не курит. Не курил он не потому, что не любил; нет, он любил дунуть тоже, но только когда еда была. Потому что как покуришь, есть хочется. Теперь же он не курил, потому что жрать нечего бы- ло. Вот если б было что пожрать, то почему бы и нет, он покурил бы, а потом пожрал бы. Но так как он не хотел тратить свои запасы, а ха- лявной курицы уже боялся есть, то курить отказывался, и требовал денег. Но денег ему никто не давал, деньги нужны были на гашиш! Услышав нытье Непалино о жрачке и гашише, Хануман его просто заткнул, дал ему хорошего тычка и забрал у него весь оставшийся рис, лук и специи. Тот так взбунтовался, что перестал с нами не толь- ко есть, но и говорить. И вообще ушел, ушел побираться; он ходил

по кухням всего кэмп, заговаривая с людьми о том, о сем, и, как говорили, получал еду у алжирцев за оральные услуги.

Есть было нечего; разморозили последнюю курицу; и пока она размораживалась, все обкурились, да так, что забыли свои имена. А я уснул голодным сном. Проснулся я от голода, нестерпимо чего-нибудь хотелось съесть, хоть полотенце в рот суй да жуй. Опять ныли ноги. Посмотрел под одеяло, ноги еще вдобавок кровоточили. Воняли гнилью. Высунул нос из-под одеяла. Увидел немую сцену: Хануман, Потапов и Дурачков стоят и смотрят в кастрюлю, которую держит в руках Хануман; в кастрюле — курица, на лицах — сомнения и брезгливость. Это была последняя курица.

“Нет, это надо выкинуть”, — сказал Ханни.

Потапов возразил: “Как это выкинуть! Ебанись! Целую курицу выкинуть?”

“О, если хочешь — забери и ешь сам! — сказал Ханни. — Бери, мне не жалко! Мне жить охота!”

Тогда Потапов сказал, положив руку на курицу, как на Библию, глядя честными своими глазами в глаза Ханумана: “Это давно было, в Сибири, мы с Иваном строили камин в одном доме. А дом был за городом. Дело было зимой. Завалило все снегом вокруг. Выбрались из дому. Смотрим — снега, бескрайние снега, до города или до ближайшего магазина не дойти, кругом сугробы выше головы. Мы съели все свои запасы в три дня. А снег падает. Нам не выбраться. Начался голод. Неделю ничего не ели, думали, сдохнем. Но однажды пришел к нам кот, старый, драный, рыжий кот. Иван его подманил, киса-киса; тот пошел к Ивану, а я уж его лопатой, и суп из него сварили. Два дня на этом супе продержались, и только соль и перец помогли отбить кошачий запах, потому как у них там железы какие-то, секреция какая-то, они ими метят территорию. Женя, объясни ему, про железы-то...”

“Да ну вас к черту, садисты!”

“Ну ты это зря, жизнь кота человеческой не чета”, — обиделся Потапов.

“Да мне плевать! Ничего этого слышать не хочу, понял! Может быть, я тоже бы в такой ситуации кота съел, только никогда бы после не стал об этом рассказывать, понял?!”

“Ладно, проехали... Так вот, в перце сила. Давай с чили и карри эту курицу сделаем и съедем!”

Хануман потер подбородок и сказал: “Yeah technically it’s possible ¹”, но добавил, что даже если мы отобьем вкус, от этого курица не станет свежей, и поэтому если яды выделились, они никуда не исчезнут, но можно попробовать.

Они еще и чесноком ее нашпиговали, варили, жарили, парили, чего только не делали, но запах, казалось, только возрастал. Чем больше ее обрабатывали, тем больше она воняла. И меня осенило: воняет-то курица в точности, как мои проклятые ноги! Ох и плохо ж мне стало от этого понимания!

Стали есть; мне тоже хотелось есть, страшно хотелось есть, но я не мог преодолеть тошнотворных спазмов в желудке, которые появлялись, как только я представлял, что съем хотя бы кусочек этой протухшей курицы. А они ели все смелее, смелее, и уже с довольным почавкиванием. Глядя на них хотелось есть еще больше, пусть с отравой, но есть. И тогда я все-таки согласился съесть немного...

Потом я долго лежал, потел, прислушивался к ощущениям в желудке, точно съел не курочку, а мексиканский гриб; лежал, ожидая, что вот сейчас мне станет худо... И точно, через час я так себя замучил мыслями, что я непременно должен был отравиться, что мне стало плохо. Никому плохо не стало, одному мне стало плохо. Да так, что поднялась температура. А потом я блевал. С кровью. Ох, как плохо мне было! Но зато как хорошо мне было, когда я впивался в крылышко, зажмутив глаза! Становилось так легко, так тепло, так домом веяло... Только перца снова было слишком много, так много, что не чувствовалось вкуса совсем. И слава Богу, что вкуса не чувствовалось, на то и перца было много, чтоб вкуса не чувствовалось. Поэтому как если б вкус не забили, то никто есть ту курицу не смог бы вообще.

Ну а мне после сказали с укором, уже потом, когда я проблевался, сказали: “Стоило ли жрать тогда вообще, если все выблевал? Перевел только продукт!”

¹ формально, это возможно

И смотрели на меня такими голодными глазами; как на бедного Ричарда Паркера, перед тем как заживо съели его.

4

Иван и Потапов стали регулярно ездить за бутылками. Но так как Михаилу надо было кормить семью (он все еще продолжал отдавать деньги за машину грузинам), то нам с бутылок ничего не перепадало. Почти ничего, ничего, кроме молока и чая, который Иван регулярно воровал. По пути он чего-нибудь прихватывал в контейнере. Иногда бывала картошка; и Хануман жарил картошку с луком, посыпая обильно черным и красным перцем; делал свой чай с молоком и сахаром; так мы жили.

По утрам по-прежнему были молитвы мусульман, шарканье, вода, крики за стенкой.

Бедный ребенок, думал я, бедная девочка. Ведь по сути дела, она же взаперти там сидит и ничего не видит. — Сколько ей было лет? Шесть? Привезли ее из какой-то российской глубинки; неизвестно, как они там жили. Судя по тому, что Потапов говорил, — а человек не может всегда врать, его тянет поговорить, особенно после того, как покурит, и правда тогда сквозит в его вранье, — жили они в самых разных местах. Была у его жены какая-то общага, в которой она жила после того, как она ушла из своей семьи, потому как мачеха ее задолбала, издевалась по-страшному, ее изнасиловал сводный брат, так сказал Потапов, и она ушла. Работала сперва швеей, потом в какой-то пекарне, чебуречной, всюду помаленьку, завелся парень, сидевший, шоферил, развозил те же чебуреки, наверное, родила от него; пока носила, его убили, дружки, за старое, или не поделили чего, или из принципа, или запятнал воровскую честь, и вот эта Лиза, ребенок убитого человека, теперь была во власти этого деспота.

“У девочки очень плохой аппетит, — жаловался Потапов. — Не знаю, что делать, что ей готовить. Каши она не ест. Да и понятное дело, каши тут такие херовые, что даже собаку не станешь такой кор-

мать. Мясо не может видеть. Иногда картошку жареную поклует самую малость, а так только сладкое. Мы, когда на даче жили, дача Ивана была, ну мы вместе жили, и холодно было, и жрать было нечего, и однажды остался один лук. Так я лук сварил, и мы этот лук как буратины съели. И вот тот лук она ела, ох как хорошо она тот лук ела! Да... А тут все есть: жри не хочу! А она пиццу не ест, котлеты не ест, сосиски, она сосиски за диванчик выбрасывает! Мы убрали комнату и нашли целые залежи пищи. То же самое было и на даче под Москвой. У нас крысы завелись из-за нее. А крысы — это не шутка! Они же ухо могут отгрызть у сонного человека! А ребенка вообще задушить может, такая вот крыса, ты что! А там вот такие были!"

Я злился на него, потому что этот урод все это говорил, защищая себя. Он себя ж выгораживал, объясняя свою тиранию, свои издевательства над ребенком. А также саму ситуацию, весь этот лагерный ужас. То положение, в которое он всю свою семью поставил. Саму эту дыру, в которую сам залез и семью за собой втащил. Все это оправдывал он заботой о семье. Поворачивал так, что он, мол, воспитывает и заботится о девочке, воспитывает. Воспитание! А то, что он при этом прикладывался, доходя до насилия, так то только ей же на пользу, видите ли. Он видел в моих глазах осуждение; но я никогда ничего ему не говорил. Мне было плевать на эту Лизу, потому что я думал только о том, что по утрам я хочу спать. Спать, а не слушать эти его крики, рычание, и ее вой. Я спать хочу. Я думал о себе. Почему нельзя в другое время воспитывать ребенка? Меня нисколько не тревожило то, что он издевается над ней; я тоже уже начинал ее ненавидеть. Потому что из-за нее я терзался и не мог уснуть. Я просто сказал ему, что он не должен орать на ребенка. Посоветовал ему сходить к сестре; получит номерок к врачу и поговорит с врачом. Может, что-то придумают, может, даже дадут какую-то диету или начнут что-то бесплатно выдавать!

"Нет, — говорил он, — бесплатно? И не мечтай. Все халявное уже выдали. Куда больше? Больше халявы не будет, будет только хуже. Она не ест из принципа, чтобы нам испортить всем настроение. Это дьявол в ней сидит, понял? Дух противоречия! Она назло нам всем не ест, она издевается над нами. Она все в пику делает, все наоборот,

и врет при этом. Все портит, ломает. Ее самое любимое занятие — это давить тубики. Возьмет пасту и давит, давит, давит с каким-то блаженством в глазах! Я видел сам: поволока в глазах, поволока, такая маслянистая затуманенность! Как знать, что из нее вырастет. От уголовного же зачата была. Вырастет проблядь какая-нибудь. У меня клей дорогой был, я им сапоги клеил и всякие резиновые вещи, такой универсальный. Так ведь весь выдавила. А как стали дознаваться кто, так она стала изворачиваться. И чего только не говорит, так врет, что засомневаешься. Но я-то ее насквозь вижу; меня не проведешь, и она это знает, она у меня получает за вранье...”

И он ее бил. Иногда так сильно, что были синяки по всему телу. Он входил в раж, жаловался потом: “Вот, бестия, опять довела, сам себе тошен, бью, и плохо мне, просто с ума схожу, но вот не могу, как схватит, просто столбняк какой, до греха доведет она меня, забуду в один день до смерти...”

Я слушал, как он ее бьет, и ждал: когда ж он и правда ее забьет до смерти. Я мечтал увидеть его лицо после, омытое слезами ужаса. Представлял, как он будет пытаться ее реанимировать, при помощи вдыхания чилийских перцов, впрыскивания водки в вену, растирания ее трепещущего тельца желатином, написания знаков на ее ушах и пятках. Как я хотел увидеть его в панике, в нерешительности! Я вслушивался в суматоху за стенкой и ждал, когда услышу сдавленные крики его: “Что делать? Что делать, мать твою?!” Я желал ему самого страшного, настолько я его ненавидел. А на девчонку мне было глубоко наплевать. Вообще.

Девочка на самом деле была странная; милая, но малость со странностями; она была весьма привлекательная, по-своему, по-детски... светлая, пшеничная такая, кожа белая, веерные жилки, хрупкость, неуклюжесть олененка... она училась кататься на велосипеде, одевала кепку с большим козырьком, так бойко по нему проводила пальцами, делала нам знак, мол все будет окей, и падала, так трогательно падала, чуть не разбивалась. Михаил орал на нее, орал до хрипоты, истошно! Так, что у него ум за разум закатывался, кровь прилиwała к лицу, черты его искажались, в довершении сцены он театрально укладывал свое огромное тюленье тело на травку и махал на себя

кепкой, сорванной с ее головы, а она стояла, сутулясь и вздрагивая плечиками, убирая волосы и вытирая слезы с лица. После припадка гнева он поливал себя из бутылочки, уже устало говорил, что она испортила ему выходной. Это точно, она портила ему представление, которое он себе задумал: отец занимается воспитанием — учит дочку ездить на велосипеде... А эта мразь возьми и выведи его из себя! Все надо испортить! Заподло! Она плакала и заикалась, а он на нее до одури: "Дура, крути ногами! А руль, дура! Для чего руль тебе, дура!" Сквозь сжатые зубы: "Поворачивай, что смотришь!" Она скатывалась с дороги и въезжала в куст, снова и снова, тупо глядя вперед, как замороженная, а потом, с запазданием, из куста слышался ее плач. словно она там лежала минуту-другую в кустах, размышляя, как выйти из положения, как повести себя, чтоб не вызвать гнев родителя... Но гнев вспыхивал мгновенно, он того только и ждал, ничтожного повода, чтобы сорваться; любая незначительная мелочь казалась ему достаточной причиной для взрыва; так охотно он начинал наливать кровью, с такой готовностью он раздражался бранью, что, казалось, ему это было необходимо, и тогда Хануман говорил, что у Мишеля зависимость... и он произносил странное научное слово, которое мною тут же забывалось.

Лиза быстро учила язык, только какой язык она учила, было не совсем ясно... потому что дети в кэмпе говорили на странном языке, это была смесь датского, английского и немецкого, смесь ядовитая, взрывоопасная и к тому же одобренная всякими матерными словечками из сербохорватского. Язык этот был самый уродливый, самый причудливый, самый жестокий... язык наших предков времен кроманьона! Понять его могли только сами дети.

Дома Лиза часто примешивала к русскому сербохорватский, вместо "сейчас" говорила "овде", вместо "жди" — "почекай", и, конечно, всегда говорила "разумем". В их семье был свой семейный внутренний язык, и в нем прижилось гадкое албанское слово "прчик", что означает "пук" (то есть пустить ветра). В их семье было много эффемизмов, как в любой семье, и были домашние прозвища. Михаила звали Микки-Маусом, Санта-Клаусом, Машу звали Ма-ма-ма!-Мам-мма-Мария!-Ма-ма-ма... Они мало заботились о чистоте речи,

в нее неизбежно внедрялись и с легкостью в ней приживались паразиты, даже арабские, “халас!”, “харам!”, “хабиби”, “ялла!-ялла!!!”, когда Михаил торопил Машу с Лизой, он мог крикнуть на них “Ялла! Яллааа, хабиби!”¹; он мог прийти после свалки и спросить жену по-сербски “Што радишь?”, и она ему отвечала так же — “Ничто!”, с ударением на первый слог. И то же передавалось Лизе, поэтому вряд ли она знала на каком языке говорит, когда на вопрос своей курдской подружки “Why ya faza don’ buy ya sony play station?”² отвечала: “This not your biznes, my frien! Razumesh? Never spor meg hvorfor! Hvorfor your fazer never fuck your mazer? This not meg biznes! I give no shit! Why you live in camp? Nobody khow, hvorfor ikke pozitiv, and your fazer eat shit, derfore ikke penger, nema nishto! Go ask your fazer why he eat shit and vask hans ass!”³, и тогда они брали камни и начинали кидаться. Становились в пяти метрах, приседали, глядя в глаза друг другу, не опускали глаз, как собаки, зачерпывали гравий слепыми руками, привставали и, сутулясь, кидали камни, горстями, и кричали: “I kill ya bitch! I kill ya fucking bitch! I swear ya dead before night come!”⁴, и никто ни слова не говорил, все проходили мимо, тупо глядя под ноги себе, те же родители, проходили мимо... и Мария с бельем в прачечную, и Михаил, одержимый поисками гаечных ключей, что одолжил чертовому Горану, цыгану распроклятому, и за угол, не обращая внимания на дождь гравия, летевший у него за спиной...

В кэмпе родители нисколько не заботились о детях. Отцы были озабочены своими кейсами, вынашивали свои думы, решали — бежать дальше или нет, считали деньги, изобретали систему питания и диеты, которые позволили бы сэкономить побольше, писали письма в Директорат или еще куда-нибудь, родне, чтоб придумали, написали справку, или документы какие прислали, которые бы спасли их карточный домик от вихря депортации; или просто пребывали

¹ давай, давай, крошка! (араб.)

² почему твой папа не купить тебе сони плэй стэйшн?

³ Это не твое дело, мой друг! Соображаешь? Никогда не спроси меня почему? Почему твой папа не пялит твой мама? Это не мое дело! Меня не колышет! Почему ты живешь в лагере? Никто не знай, почему нету позитив, а твой папа жрет говно, потому нету денег, ничего нету! Иди спроси свой папа почему он жрет говно и почисти его жопу! (смесь ломаных английского — датского — сербохорватского)

⁴ Я убью тебя сука! Убью тебя! Клянусь ты труп до прихода ночи!

в глубокой депрессии, переходящей в пьянку, которая перетекала в депрессию, и так по кругу изо дня в день; короче: не до детей уж! Матери только стирали, готовили, судачили, ругались, воевали за стиральную машину, потом воевали за сушилку, потом за место на плитке, за полку в холодильнике, за все что угодно, вели свою женскую войну, им тоже было не до детей. Получалось, что дети были предоставлены самим себе, они быстро забывали родной язык, понимая, что он им больше не нужен, быстро выучивали лагерный сленг, быстрее, чем росли, а росли они быстрее, чем решались кейсы. Они становились шпаной, как этот албанский мальчишка. Они крали всякую мелочь. Они попадались, получали по шапке от родителей, но снова шли красть, а иногда их засылали сами родители, или их использовали в качестве прикрытия, как Потапов... Он всегда одевал на Лизу рюкзачок, когда шел в магазин, приговаривая: "Надо кое-что купить, а кое-что покупить"; они набивали в укромном уголке магазина, где не было зеркал, этот рюкзачок, и спокойно выносили мясо, сыр, кофе.

Хануману нравилась Лиза. Он часто ее баловал. Когда были деньги, он ей покупал мороженое и чупачупсы, колу. Он фотографировал ее, сажал ее себе на колени, брал ее в город, гулял вокруг озерца. Они останавливались возле старого армянина, и армянин показывал им рыбу, рассказывал, как однажды поймал вот такую щуку. Хануман ей говорил самые странные вещи. Он говорил, что скоро уедет в Аргентину. Там очень много палым, все пьют мате и танцуют танго. Он начинал танцевать с ней танго, напевая что-нибудь из Синатры. Он спрашивал: "А не хотела бы ты уехать со мной?", и сам отвечал, что он ее похитит, даже если она этого не хочет. Говорил, что он возьмет большой чемодан, положит ее туда, как куклу, и увезет в Аргентину. Она уснет в Дании, в комнатке своих родителей, а проснется возле моря под пальмами на золотом аргентинском пляже, вокруг нее будут танцевать танго, и она быстро научится танцевать танго, она будет первой танцовщицей танго в целой Аргентине... Он снова кружил с ней, напевая: "Don't cry for me, Argenteeeeeeeeeeeeeeenahh..."

Лиза смеялась, и смеялась она как-то нехорошо, истерично, не по-детски...

Потом я сказал Хануману, что ребенок и без того страдает странными фантазиями, не стоит ее заражать еще и аргентинским бредом.

Да, действительно, у нее было много странных фантазий...

Однажды Потаповы уехали куда-то по делам в город, а Лизу оставили с нами. Она сидела на коленях у Ханумана и говорила со мной по-русски, а Хануман придурковато улыбался, иногда изображая подобие русской речи, он говорил громко: "КТО!!! ПОЧЕМУ??? КУДА????!!!", передразнивая ее отчима.

Лиза сидела у него на коленях и говорила, что вот они втроем с папой и мамой шли гулять и возле пруда а погода была такая что не очень и было прохладно и жук полз по песку на тропинке и папа не заметил жука и раздавил а жук был большой как он его не заметил и лап у него было много и если б я была бы жуком у меня было бы столько лап я бы могла в одной лапке держать чупачупс в другой мороженое в третьей колу в четвертой шарик и не надо было бы в школу ходить жуки же в школу не ходят правда и родителей нет у жуков которые кормят кашей жуки ведь вообще не едят правда зачем есть жуку ползла бы себе вот так по тропинке только тогда кто-нибудь взял бы да раздавил как того жука папа раз и нет меня...

Затем я впал в какой-то ступор. Это было после того, как подслушал Михаила, как он разговаривал с Иваном... Не совсем так... Скажем, это было после того, как Маис ушел в Германию. Он очень долго собирался. Все никак не мог решиться. Целый год планировал. Продумывал маршрут. Какой там, — два года! Всех достал. Все только и ждали, когда он свалит. Но просто так никак не мог Маис уйти в Германию. Надо было что-то значительное сделать. Чтобы люди помнили такого Маиса. Чтоб всякий, кто жил в лагере Фарсетруп мог потом сказать: а вот был такой Маис — да-а... Прежде чем уйти в Германию Маис должен был обязательно постричься.

Стриг в ту пору в Фарсетрупе один спортивный негр из Камеруна. Жан-Клод. Бык! Он был уродлив, мало того что глаза навывкат как у жабы, мало того что бородавки по всему лицу, так еще и с какой-то грыжей в животе, которую он всем показывал зачем-то. Зато гора мышц с него свисала такая, что становилось страшно стоя подле него: если все это обвалится на тебя, так потом и не найдут... И ги-

бок он был на удивление. Встанет вальяжно, ногу на подоконник поставит, то яйца чешет, которые почти вываливаются из шортов, то майку на пузе закатает по грудь, сосок поглаживает да свою грыжу ковыряет да рассматривает, бросая косые маслянистые взоры на арабчанок. Он, наверное, надорвался, подняв что-нибудь непомерно тяжелое, и теперь это в немалой степени служило предметом его гордости, как мужика. Это было как бы свидетельством того, что он мог взвалить себе на плечи то, чего другой даже не решился бы приподнять! Своеобразная отметина мачизма... Он стриг за деньги, он, видимо, вложил в это дело и купил машинку. Некоторые машины покупают, а этот не стал разбрасываться, купил машинку, да стричь начал тех, кто в машинах гоняли. Сам всегда брился на лысо и других агитировал: подойдет к обросшему парню и начнет того стыдить, пока тот за двадцать крон не пойдет под его машинку. Однажды Маис, который за собой не следил из экономии или лени — мне до сих пор не ясно, — получил внушение от своих собратьев по ремеслу: мол, не по-воровски выглядишь, ара! не мужик, с тобой на работу не пойдём! выглядишь как бомж какой-то! — Маису необходимо было пойти “на работу”, чтобы что-то иметь прежде чем свалить.

Он решил постричься, — пришлось идти к негру. Маис по-английски говорил еле-еле, а негр только по-французски, потому что по-английски говорить не хотел, и кривил рот, когда переходили на английский, по-английски он говорил с брезгливой снисходительностью, как будто с неполноценными. Меня он потому и любил, за то что с ним я ни слова не сказал по-английски! Потому он меня называл “mon frere” и стриг бесплатно. Мы с ним общались с тех пор, как он начал хранить у себя краденое. Это я его убедил. Он все время говорил, что делает это из уважения ко мне. Я в те дни для всех тогдашних воров служил своего рода переводчиком и склонял негров и прочих франкофонов приобретать краденые вещи, или хотя бы хранить и продавать краденое, по своей цене; ничего или почти ничего сам я не имел с этого, кроме языковой практики и бесплатного пайка. В тот раз пошел с Маисом к парикмахеру, чтобы переводить. Как всегда мы по пути постояли возле карты Европы, которая ви-

села в коридоре. Как всегда Маис показал, где он однажды перейдет границу. "Вот тут видишь да, ахпер, — сказал он. — Пойдет Маис один, совсем один. Через Юлланд, Женья-джян, пойдет Маис. Вот сюда, брат-джян, поедет. О, и тут, ахпер, перейдет Маис границу. Один, понимаешь, ахпер, совсем один, никого больше не будет рядом, ночью, в лесу, вот так, брат-джян..." "Да-да", — кивал я, да-да... И мы пошли стричься.

Жан-Клод усадил Маиса в коридоре, свернул красиво простынку вокруг шеи, потрогал его волосы, сказал, что помыть бы надо, — я перевел, — Маис сказал: "Зачем мыть?.. пусть стрижет! скажи потом помою — два раза в день мыться — столько расходовать шампуня только зря! пусть стрижет!"

Я мягко попросил Жан-Клода приступить к постригу. Тот спросил, как стричь. Маис сказал, что под ноль. "Ага, — сказал Жан-Клод, — будет как настоящий парижанин". Я перевел это Маису. Надо было видеть, как заблестели его глаза: "О, да-да-да, — заговорил он, — конечно! как парижанин! как наш Азнавур, как наш Джаркаефф! знаешь, настоящие армяне! а настоящие французы все имеют армянские корни! это те армяне, которые бежали от турков! турки хотели всех армян искоренить, оставить только чучело армянина, поставить в музей! вот мол был такой народ, армяне, осталось чучело! Но не вышло! Не вышло! Армяне первыми в Европе крестились! Первыми! Понял, да! Вот так! Нас у турков вырезать не вышло! Курдов вырезали! Ассирийцев вырезали! Византию вырезали! А нас не вышло! Вот так понял да!" — Точно, точно, соглашался я, — с этим подкованным молодым человеком соглашаться надо было во всем, что бы он ни сказал, мог и в глаза вцепиться, святое же, так его взбудоражило, так он завелся, — я давился от внутреннего хохота.

Жан-Клод тем временем стал жаловаться: "Слишком много перхоти, ну, так нельзя, надо же мыть голову! он наверняка раз в месяц голову моет!" "Скажи ему, — сказал Маис, — чтоб не болтал много, а дело делал! Стриг! Мне некогда! Что он там говорит?" Я сказал, что парикмахер выражает свое восхищение его волосами, они такие маслянистые, такие красивые, что стричь жалко; Жан-Клоду

я сказал, что по словам клиента у него раздражение, некая экзема была недавно. Тот задергался: “А можно ли стричь тогда вообще?.. ведь можно заразить других!” “Чего он там дергается?” — спросил Маис. Я сказал, что парикмахер увидел какое-то редкостное вздутие на черепе Маиса, он боится как бы не повредить вену, если она там проходит. “Ничего, скажи пусть стрижет — это меня в детстве уронили!” — сказал Маис. — А что, Женя-джян, ты вообще думаешь о Каспарове?.. а?.. никто лучше его не играет в шахматы да?.. Карпов мальчишка да? слушай, говорят, Каспаров даже компьютер обыграл? его маму да? настоящий мастер, брат-джян, да? теперь часы видел рекламирует — Ролекс! Слушай, сколько интересно ему дали за рекламу, как ты думаешь?”

Жан-Клод тем временем проклял все; он чистил от перхоти машинку, трясся от гнева и брезгливости так, что по его коже, как по коже лошади в ветреный день, бежали судороги, он казался мне не то что голым, а человеком, с которого сняли кожу. Все это не кончилось сразу, потому что, когда Жан-Клод закончил и попросил двадцать крон, Маис спокойно сказал: “Ахпер, объясни ему, что потом отдам — завтра или потом...”

И не отдавал две недели, пока Жан-Клод не пришел со всей братией скандалить. Они б ни за что так не нагнали, если б не понимали насколько важно для воров хранить краденое у них. Тико это тоже отлично понимал, — иметь склад, и надежный склад, такой, какой менты не станут прощупывать, было жизненно важно. Обыски случались только у тех, кто попадался, а камерунцы и конголезы никогда не рисковали; алжирцы воровали, марокканцы воровали, с ними иметь дело было невозможно, они тебя самого оберут; а камерунцы и конголезы — никогда! Чем чернее был африканец, тем тише себя вел. Тико воровал много, и попадался иногда. Его время от времени проверяли. Последний раз изъяли все, даже в честную купленное. Потому ссориться с черными ему было накладно. Он мрачно посмотрел на Маиса и, собрав в крыльях носа все сопли, сказал: “Отдавай ему деньги, а то я отдам, а ты мне потом должен будешь!” — сказал зачем-то по-русски, наверное, чтоб и русских, и грузинов, и курдов, и негров понимавших по-русски, поставить в известность

о своем решении. Тогда Маис, ощутив на себе давление всего лагеря, полез в карман, бубня ругательства зачем-то по-грузински...

А потом он ушел в Германию. Это случилось после того, как Маис получил видеокассету, — как бы письмо, от своего приятеля, который уехал в Америку и занялся там каким-то бизнесом или рэкетом или черт знает чем. Гоп-стопом каким. Маис принес видеокассету к нам. Хануман вставил кассету в видео, и мы увидели следующее. В большой комнате — по-видимому вилла — находилась толпа молодых ублюдков армянской наружности и с ними шикарные девочки, и вот чем они занимались. Парень, который по словам Маиса был его одноклассником, ходил от дипломата к дипломату, открывал и высыпал из них доллары, девочки прыгали в долларах, танцевали полуобнаженные, катались по полу устланному зелеными бумажками, а парни их поливали шампанским. Под конец записи парень что-то кричал Маису в камеру по-армянски, тряс золотыми цепями на шее, скалил фиксы, выкатывал свои глаза, двигал носом так, чтоб тот казался клювом и снова скалил фиксы. Что он кричал было неясно, но эффект, который запись произвела на Маиса, был ошеломляющий. На нем лица не было; он посерел, почернел; он стал похож на мумию, которая вот-вот рассыплется. Он трясся, как паралитик, говорил невнятное, ходил по комнате, подходил к окну, ругался почему-то по-грузински, стучал кулаком в стены и стол, пинал стулья, закрывал глаза со стоном муки отчаяния, курил, пытался подергать себя за волосы, но волос уже не было, тогда пытался дотянуться до локтя, но не мог. Ушел, забыв кассету. Ханни врубил ее вновь. Но Маис тут же вернулся, вынул ее и у нас на глазах растоптал, разломал ее! — (Жаль, подумал я, это просто бесценные кадры!) — Маис перестал есть, даже когда угощали; он просто лежал в своей комнате, его лихорадило, он курил, он болел, а через некоторое время сделал стоп-азуль. То есть попросил о прекращении рассмотрения его дела о предоставлении убежища, и уехал обратно, в Армению, — такое сильное впечатление произвела на него та запись. Вот так Маис ушел в Германию...

А потом я подслушал, как Потапов с Иваном втихаря курили за билдингом, я в кусты ходил крепко, и слышал, как Михаил жало-

вался на падчерицу, ругался, и еще душу при этом изливал, — слышал я не все, — некоторые слова уносил ветер, заглушал шелест ветвей. Голос Ивана я не слышал совсем, зато четко слышал, как Михаил сказал примерно такой монолог: “Блин, прикинь, какая лгунья! Прикинь! Не поверишь, да?.. А вот я просек, что это она была... Эх, ты понимаешь, я ведь к ней, ну с полным сердцем, а она... Ведь это ж была такая возможность, ну настоящая возможность, да... Сделать ее документально моей дочкой... По паспорту... И я, и Ма-ша сказали, что она наша дочка, и они так и записали, понимаешь... Как я мечтал об этом!.. Еще тогда в... А теперь ну ничего не чувствую к ней... Она совсем, совсем чужой ребенок... У меня с ней ну никакого контакта!..”

Мне стало как-то невыносимо тошно от этих слов. Я понял, что ничего не меняется. Измени ты хоть десять паспортов — никогда ничего не изменится. Как-то мне это намекало: заройся хоть в землю — придут, отроют, отвезут тебя в Эстонию! В Таллин! Тухло это все было, очень тухло... Иногда в узоре ну нисколько несхожем с твоим ты узнаешь единую для всех судеб мораль, безупречную и безжалостную, от которой дрожь пробивает позвоночник. Сколько ни юли, конец один... Чтобы забить эти предчувствия, чтоб не гонять, пил таблетки, которые отнял у Непалино, курил и спал. Спал целыми днями, ничего вокруг не замечал. Я не заметил, как подошло Рождество; не заметил, что Потаповы съехали из кэмп, а Дурачков переселился в их комнату. Там-то мы и отметили Рождество. Раньше я ни разу не был в комнате Михаила. Когда я первый раз туда зашел, меня поразило, что Михаил не только превратил комнатку в какой-то курятник, но и дыру в полу сделал! По словам Ивана, это был погреб, где Михаил хранил картошку и всякое прочее. По-видимому, Потапов не мог удержаться, чтобы не воссоздать подобие того мирка, в котором существовал в России. Как и многие другие; практически все чем-то таким занимались, чем-то подобным страдали; из каждого вылезала и в чем-то выражалась его национальная принадлежность. Но вот это было уж слишком; дыра в полу — это было чересчур!!!

Мне стало любопытно, куда они съехали. Иван сказал, что в руи-

ны; те, что были недалеко от лагеря. У меня замерло сердце от ужаса. Там же невозможно было жить, а Маша была беременная, уже Бог знает на каком месяце... Мы несколько раз проезжали мимо этого заброшенного дома и всякий раз у меня что-то сжималось внутри от ужаса. В этом каземате не было вообще ничего: электричества не было, воды не было, туалетом служило ведро. "Есть одна печь", сказал Иван с каким-то мученическим оправданием. Помявшись, он добавил, что в большой комнате они уже сделали камин, который коптит почему-то; никогда не коптил ни один прежде, а этот почему-то коптит. "Они дышат угаром, угореть же могут", — говорил Иван, изображая озабоченность на своем невинном лице.

Потом нас пригласили к ним на новоселье. Это был очень короткий визит. Дом был такой старый, что, казалось, вот-вот рухнет на голову крыша; там было сыро, присутствовал неотвязно специфический запах чего-то сдохшего, довольно давно сдохшего. Было там так жутко, что хотелось постоянно то ли выйти покурить и ненадолго не вернуться обратно, то ли кому-нибудь послать телеграмму с соболезнованиями. Возникало беспокойство в голове, я словно пытался припомнить что-то, что-то, что я кому-то обещал, кому-то пообещал куда-то прийти, что-то принести, что-то сделать, неотвязный зуд мысли, но так как это были абсурдные мысли, потому что идти мне было некуда и не к кому, а пообещать что-либо сделать кому-либо я уже давно не мог, и никому ничего не делал, то это было просто жадным поиском предлога скрыть поскорей!

Руины принадлежали тому молочнику, фермеру Хеннингу, у которого Михаил покупал молоко по дешевке. Мы часто видели фермера; кукурузное поле принадлежало ему и он часто ездил по нему на тракторе, приезжал в кэмп за дерьмом, поливал поле, думается, не без наслаждения сознавая, что запах дерьма идет на лагерь, в окна и двери домов.

Потапов сошелся с Хеннингом; неизвестно, как они общались; неизвестно, что Михаил плел датчанину, но каким-то образом он уговорил того дать ему возможность пожить в руинах. Дом даже стекло не имел, стены цвели сыростью, крыша текла. Это было даже мягко сказано. В крыше была дыра, будто в нее угодил снаряд! Перво-на-

перво Михаил загнал Ивана наверх натягивать пластик на дыру. На общие деньги купили стекла; застеклили окна; постелили какой-то искусственный палас, который уперли со свалки, на него ковер вдобавок; перетаскали все, что можно, внутрь, обставили все таким образом, чтобы создать видимость обжитости; поставили машину в хлев; протопили дом и на Рождество вселились. Весь канун Рождества они тянули из лагеря кабель, долбили мерзлую землю, утапливали кабель в ней, тянули к дому; так в доме появилось электричество, и так у них не осталось денег вообще.

Я представил то расстояние от кэмп до дома и содрогнулся... Продолбить столько, протянуть кабель, сколько ж стоил кабель?! Иван улыбнулся: ничего не стоил, разве ж трудно в этой стране, где все лежит под ногами, нагнуться и намотать немного кабеля, пусть даже и тысячу метров...

Хануман сперва захохотал, но потом призадумался. А после того, как мы посетили Потаповых, продрогнув до кости, надышавшись угаром, в конце концов сбежав из этого сырого мрачного места, он сказал: "Этот человек просто сумасшедший! Ладно бы он один там поселился, так ведь он и семью свою заставляяет жить в этом ужасе! Они там все заболеют туберкулезом!"

Кстати, когда я увидел камин, который слепил Потапов, я подумал, что был прав, когда сомневался в его умении делать камин; этокое уродство и я бы, наверное, вылепил; ничего удивительного в том, что камин чадил, для меня не было.

Ударили морозы, и пошел снег, да такой, что замело дороги. Потаповы оказались отрезаны. У Михаила были слишком короткие и слишком кривые ноги, чтобы пробираться сквозь сугробы; он звонил Ивану в лагерь по рации, которую они нашли на свалке, чтобы тот носил им картошку из погреба и молоко от Хеннинга.

Между тем у Марии начались схватки; это были внезапные и преждевременные схватки. Их долго не могла найти амбулация, потому что Михаил не мог объяснить им, как до них добираться, и Мария практически родила в доме. Михаил сам принял роды, о чем с гордостью потом всем сообщил, а Мария после сказала, что он чуть не повалился в обморок, когда увидел пуповину. Их всех

увезли; потом вернули. Пока их не было, все это время мы сидели с Лизой.

Два дня мы сидели в этом ужасном доме; это было жутко. Ветер был страшный; все ухало, трепетало, скрипело, пело, рыдало, завывало; кабель, видимо, оборвало, и мы сидели при свечах. Топили печь; я запретил Ивану топить камин. Хануман готовил еду, которую Лиза с удовольствием ела, не капризничая. Потом начались странности, которых даже я не ожидал. Она подошла ко мне и спросила: “Как тебе моя новая прическа?” Я сказал: “Ничего”, ничего нового не заметив. Она сказала, что сама постриглась; я присмотрелся и в сумерках рассмотрел, что у нее были клочьями выстрижены волосы; это было ужасно. Там же, возле стола, я обнаружил волосы, они валялись повсюду, подле бумаги, изрисованной карандашами; было как-то жутко находить все это. Потом я пошел мыть посуду и наткнулся на выдавленную пасту, возле мойки, весь тюбик пасты, гора пасты размазана по полу; мне стало совсем плохо.

Хануман мне шептал: “Набирайся впечатлений, Йоганн! Такое ни в одном фильме не увидишь, это просто кошмар!” — Да-да, — растерянно говорил я, — да-да... и только... А что тут скажешь?! Ничего!

Они, оказывается, поклеили новые обои; видимо, чтобы скрыть сырость и неровности стен. Но сырость и плесень уже поедали обои. Независимо от того, сколько мы топили, теплее не становилось. Худосочная девочка ничуть не мерзла, скинет с себя одежду и ходит в тонких носках по полу, как балерина, по полу, где пробились какие-то странные ростки в щелях; она ходила на цыпочках, танцевала и говорила, говорила с нами, но такое создавалось впечатление, что это был просто монолог, который у нее всегда звучал в голове, и вот теперь она произносила его вслух, потому что были мы рядом, но, может быть, когда никого не было, она говорила то же самое. Она говорила: если б я была данской девочкой у меня были бы данские родители у них были бы номера на машине папа меня не бил бы а покупал мне мороженое каждый день и мы ездили бы в кино и Мак Дональдс я бы ходила в школу с данскими детьми у меня были бы друзья у меня было бы все что я захочу даже

сони плей стэйшн и много-много игр я бы делала все что хочу мама давала бы мне пять крон за уборку в комнате и комната у меня была бы своя и пять крон это же пять чупачупсов или три колы Балдур и на чупачупс бы осталось, а теперь у меня будет братик он получит данское гражданство мама поехала рожать данского гражданина, мы все точно теперь остаемся в Дании и я буду ходить в данскую школу и Лия умрет теперь от зависти когда узнает что я пошла в данскую школу мне теперь не нужна такая подруга она больная крэйзи совсем мне такие подруги не нужны у меня теперь данские подружки будут у них у всех есть сони плей стэйшн и много-много игр мы будем ходить в МакДональдс все вместе в кино в аквапарк или воттерлэнд поедem на новой машине ведь папе дадут машину номера деньги потому что мы все получим теперь позитив и братика назовут Адам потому что мы христиане мы верим в Бога а не в Аллаха а эти дураки верят в Аллаха они не вытираются бумагой они водой попу моют дураки какие-то...

Хануман долго смеялся, когда узнал, что Михаил назвал сына Адамом, чтобы позлить мусульман. Ханни смеялся чуть ли не до слез, когда услышал, что Михаил верил, что теперь им дадут вид на жительство, потому что у них родился ребенок! Ханни закричал: "О, идиот! Это тебе не Америка и даже не Ирландия! Это же Дания! Дания!!! Когда ты это поймешь?"

В доме было полно всякого хлама, который множился в сумерках. С каждым разом хлама становилось все больше и больше. К тому же, все эти предметы блуждали. А света никогда не становилось хоть на чуток больше. Даже трудно с уверенностью сказать, что за фигня там происходила, какие именно вещи там попадались под ноги. Воображалось разное... Там были самые невероятные машины, — некоторые удалось рассмотреть, — прялки, молотилки, даже гладильный станок... Это была странная машина, над которой Потапов повесил масляную лампу. Это была махина с огромным колесом, с ручкой и двумя большими валиками, сквозь которые, как предполагал Потапов, нужно было пропускать белье. В общем, никакой уверенности в том, что это был гладильный станок, никто не испытывал. Никто, кроме Михаила, который и убеждал всех в том, что

это был именно гладильный станок. Ничто иное! А как же! А что ж это еще? Он таращил глаза, как будто речь шла о вечном двигателе. На карту была поставлена его честь, его звание механика и знатока! Он надрывался и доказывал. Гладильный станок! Средневековое приспособление для разглаживания простыней в барском доме! Вот как! Ничем иным эта махина и быть не могла! Случалось, он подводил человека к этой машине и начинал объяснять, как она работает; даже демонстрировал, пропуская сквозь валики заранее подготовленную тряпь, пропускал и давал потрогать, как тряпь разгладилась. В такой ловушке побывали многие, многие видели, как сквозь валики проходит эта тряпка, ничуть не становясь от этого разглаженной; разумеется, никто не был той демонстрацией с выпучиванием глазищ хоть сколько-нибудь убежден в том, что машина была действительно гладильным станком, сколь много ни старался Потапов. Но нимало не обескураженный Михаил все равно продолжал всех убеждать, что это был гладильный станок и что ничем иным машина эта быть не могла! Он об этом вспоминал даже в самые неподходящие моменты. Он был одержим этим станком. Это была настоящая идея фикс! Это был какой-то нарыв в его сознании. Ущемленный нерв самолюбия, который не давал ему покоя. Ему начало казаться, что его авторитет подорван. И все из-за проклятых идиотов, которые сидят в лагере и смеются над ним: гладильный станок, как бы не так! Выбравшись из кэмп он моментально сделался противником кэмп, и всех, кто проживал в нем, считал своими заклятыми врагами. По его мнению мы тоже все как один, всей шайкой-лейкой обязаны были перебраться и вместе с ним захорониться в этих руинах, стать призраками, если на то пошло, стать скотом его фермы. Он будет нас доить, выгонять на поля, как баранов: идите! воруйте! без картошки не возвращайтесь! Так бы он нами командовал... Ему казалось, что против него назревает в лагере заговор; что все посмеиваются над ним... Ждут, когда он посадит свои помидоры, ждут, когда его огурцы вырастут, чтобы приходить и красть их, красть его огурцы, красть помидоры! Аааааа!

Заговора не было, но смеялись — точно, да еще и пальцем у виска крутили, уже синяки себе на висках из-за него толстожопого

сделали! А он, нет, давай устраивать презентацию своей гладильной теории! Только затем, чтоб отвлечь посетителей от абсурдности тех условий, в которых он держал всю свою семью. Только затем ему и нужен был его гладильный станок, чтоб сместить внимание от ужасов и теней, призраков туберкулеза и плесени, холода и мрака... к удивительной антикварной машинке!

Несмотря на то, что там и так было полно всякой рухляди, Потапов день ото дня пополнял этот бардак вещами со свалки и из магазинчика старых вещей. Так у него появился шкафчик, такой старенький противный шкафчик, который годился только для того, чтобы его торжественно вынести на свалку или спалить в лучшем случае. Шкафчик неприятен был не только внешне; собственно, видеть его мне не приходилось (разве что смутные очертания во мраке, так как света не было никакого); неприятен шкафчик был прежде всего тем, что я постоянно о него ударялся, то коленом, то голенью. У меня с ним сложились сложные взаимоотношения. Шкафчик, казалось, еще и перемещался время от времени. Мне никак не удавалось его миновать. Так или иначе он умудрялся меня достать. Хотя бы выдвинутым нижним ящичком по лодыжке! Или внезапно открывшейся верхней дверцей по лбу! Ох, и намучился я с ним! Потапову он понадобился затем, чтобы повесить в него свою, как он говорил, "рабочую одежду". То есть вещи такие же ненужные, как и сам шкафчик. Проще было бы избавиться от ненужного хлама, но он не мог, и он нашел выход: он принес еще один ненужный предмет, еще более крупных размеров, чтобы в нем хранить весь этот хлам! Из этого шкафчика несколько раз появлялись старые рваные кеды; оттуда вылезала куртка, в которой Михаил залезал под машину (куртка годилась только для того, чтобы в ней лежать под машиной). Из этого же шкафчика он вынимал драный полушубок, в котором разгребал снег вокруг так называемых ворот гаража, что было в лучшем случае дверями хлева.

Из-за шкафчика, который стоял в углу, веяло бензином; ударяло в нос, как из бочки! Там стоял генератор, дававший электричество. Михаил врубал его, когда кто-то показывался возле дома, чтобы никто не догадался о существовании нелегально протянутого кабеля.

Часто пробегал стафф Уле, который шпионил за всеми, а за Потаповыми просто маниакально, потому что считал его своим врагом, персональным врагом, которого он должен был вывести на чистую воду. Потапов считал, что тому дали приказ такой свыше, из Букин-офиса, разоблачить его. Так вот, когда кто-то показывался рядом с домом, он включал генератор, и тот орал, скрежетал, стонал, завывал, как стая голодных волков. От этого крика просыпался Адам и начинал плакать. Мне было жалко ребенка. Я думал о том, каким может раненым на голову вырасти человек, если в детстве каждый день случалось ему слышать этаким вой!

* * *

Мы снова остались почти без денег и пребывали в задумчивости... До тех пор пока Хануману не пришла в голову гениальная идея, которая потянула за собой другую, еще более гениальную, что в итоге заставило меня сбрить бороду, начать чистить зубы, привести себя в порядок и так далее...

У Ханумана был телефон, очень старый Сименс, такой большой, поношенный, потертый, но надежный, корпус был под дерево, кнопки все затерты, что ничего не видно было, ни где какая цифра или буква, но ему это было уже не нужно, он знал его так хорошо, что ему не требовались какие-либо знаки, он с легкостью безошибочно набирал на ощупь, в темноте, в любом состоянии... Все номера он тоже знал наизусть, тем более что иметь номера записанными на какой-то бумажке было опасно. В том случае, если бы мы попались. По номерам могли бы что-то определить. Поэтому иметь какие-либо бумаги вообще было очень опасно. Даже одежду, одежду, которую производят только в той стране, откуда приехал человек. Например, когда я приехал в Копен, первое, что сделал дядя, он попросил меня снять мои сангаровские вельветовые брюки и сангаровскую футболку, потому что по ним могли бы определить, что я приехал из Эстонии.

Но как бы хорошо ни знал Хануман свой телефон, ему никогда, практически никогда не приходилось кому-то звонить, потому что карта была в телефоне пустая; можно было принимать звонки, но самому звонить было нельзя. Или можно, но нежелательно почему-то (этот вопрос не был прояснен до конца). Телефон, по его словам, ему

подарила его шведская подружка, она и карту ему такую сделала, чтоб телефон работал по всей Европе. Он всегда его держал включенным, всегда заряжал вовремя и держал наготове, он ждал звонка! Это было очень важно! Он нас держал в напряжении! Он давал нам всем понять, что ему могли позвонить! Кто угодно! Могла позвонить одна из его жен, которых у него было несчетное количество, и все в разных странах! Об этом тоже нам всегда напоминалось, мы все были поставлены в известность, что его ждут многочисленные жены, что он нарасхват, что все они его зовут, он всем нужен, и это было важнее, нежели статус беженца. Или британский паспорт.

“Потому что, — говорил он, взлетая над нами, — сколько людей с британским паспортом! И как, как они одиноки! Никому не нужны! Названивают на порноканалы, кончают на линзу! Названивают по секс-линиям, мастурбируют, изводят семя зря! Взгляни в глаза принцу Чарльзу! Думаешь он не имел ни разу секс по телефону! Конечно, имел! Взгляни на него!” — Ханни ударял рукой в свой порножурнал, где принц был изображен в каком-то неприличном порнокомиксе. “Кому он нужен? Он же одинок! Он бесконечно одинок и никому, на самом деле, он никому не нужен, бедняга! Он думает, он нужен Англии. Как он заблуждается! Англии он нужен в последнюю очередь! Еще меньше, чем китайский отпрыск на датском престоле, которого произвел принц Йоаким! Не то что я!”

Да, Хануман был всем нужен! Без него никуда! Ему, ему могла позвонить мать, или подружка какая-нибудь, из Праги, или Бухареста, или жена из Австралии, или Индии (менее всего желанная), или на худой конец любимчик папочки — брат... или САМ ПАПОЧКА... или какой-нибудь нелегал, или Ласло, который до сих пор был нам должен: ведь компьютеры были сделаны, и как бы продавались, а мы, мы как бы ожидали, когда их купят, и нам позвонит тогда либо Ласло, либо приедет Свеноо и принесет наши деньги. Хануман ждал звонка из Греции, где в любой момент могли воплотить его идею в жизнь, и он мог бы понадобиться в качестве главного менеджера новорожденной корпорации или кого-то еще; он ждал звонка от своего наставника, с которым они сделали проект, по которому вот-вот могли начать строить фантастическое здание кинотеатра будущего, что

вытеснит все нынешние, что обессмертит Ханумана! Да-да! Вот этого самого Ханумана, который сидит перед нами на грязной койке, покачивает ножкой! Вот этот самый бессмертный Хануман! Вот Хануман сидит, в его кармане мобильник, и он не просто сидит, он ждет звонка! Поэтому Ханни не просто сидит, а он занят! У него бизнес! У него назревает дело! У него планы! Проекты! Люди, которые его ждут! Мог позвонить кто угодно, он всем давал номер, могла позвонить Либерти Бушевангу, мадам Соня, какой-нибудь больной СПИДом, какой-нибудь пакистанец, какой-нибудь хозяин ресторана, где он ждал места работы, он всем давал свой телефон... Он всех пытался убедить, что он важен, что он может понадобиться, что у него несколько высших образований, что он пригодится, что он нужен, без него никуда! Кто специалист по индийской кухне? Хануман! Кто может поймать тарелкой секретный спутник Пентагона? Хануман! Кто может настроить тюнер? Хануман! Кто специалист по компьютерам? Хануман! Кто может Вам сделать страничку и ящик в интернете? Только Хануман! Никто другой. Может, кто другой и может, но не так хорошо и дешево, как Хануман! Он решит любую задачу, разрешит проблему, излечит дочку от ангины, а компьютер — от вируса, кошку — от коклюша, собаку — от чумки, елку — от шишек и игрушек, научит как жить, посвятит в святая святых йоги, покажет фокус, научит ходить во сне или по канату, говорить по-китайски, выбьет для Вас индульгенцию у Папы Римского, место в Раю, в пирамиде, в спутнике вокруг Земли, если хотите, Вам при жизни поставят восковую статую в музее мадам Тюссо, только обратиться нужно к Хануману, и все! Все услуги почти бесплатно! И все это только он! Он и никто другой!

Но телефон звонил редко; может, раз в месяц. И тогда он взлетал и хватал телефон; и мог говорить долго, часами... И потом сообщал, что звонил его отец из Индии, или жена из Рима, или подружка из Швеции... Меня поражала длительность этих разговоров, как будто тем людям не надо было платить за разговор. И он как-то сказал, что им и правда не надо было платить, потому что платит человек, которому принадлежит телефон, а телефон принадлежит человеку, который уже не существует, которого никогда не сущест-

вовало, это вымышленный абонент, фантом, который за все платит. И все это делается через сеть, и это делает его подружка. Она разве что не может пойти так далеко, как прочие хакеры, и сделать телефон бесплатным и на исходящих. То есть он мог бы звонить, но тогда это продлилось бы не так долго, телефонная компания просекла бы и прикрыла бы номер.

Я этого, конечно, ничего не понял, и, если честно, не старался понять; меня мало волновали его телефоны, меня волновали мои ноги! К тому же он меня запутал; или мне казалось, что он меня запутал; или мне казалось, что он хотел меня как-то запутать; или это просто снова моя паранойя разыгралась; я вечно подозревал, что все меня разыгрывают, водят за нос...

И тогда я опять думал, что Хануман просто приставлен ко мне, чтобы выяснить, кто я такой, что он — агент неизвестно какого бюро, может, опять же Интерпола. И когда во мне пробуждалась эта подозрительность, каждое его слово мне казалось сказанным неспроста, каждый жест деланным, нарочитым и в сущности фальшивым, каковым он весь насквозь и был на самом деле. И не надо было быть параноиком, чтобы почувствовать это. Здоровые люди, мне кажется, все понимали это, поэтому он и мог существовать и прокручивать свои аферы только среди ауткастов и андердогов, антачеблов и прочих лузеров и аутсайдеров, и все это я называл одним словом: Ханумания.

Так вот, однажды он вернулся совершенно мокрый; он был с зонтом, но все равно мокрый. Снег таял у него на плечах, но он этого не замечал. Он весь дрожал, но и этого не замечал. В глазах его был блеск. Он сказал, что плохие дни кончились, у нас будут деньги. "Не так много сразу, как хочется, но все же... Да и кто знает, для начала, для первого рывка, чтобы сняться с мертвой точки, во всяком случае на вино и гашиш хватит. Уж питаться мы будем лучше, это точно! А повезет, так и на Лолланд поедет, хэх!"

Я скептически отнесся к его словам. "Опять Ханумания величия", подумал я, продолжая лежать под одеялом, почесываясь. Лежал и слушал его, слегка повернув в его сторону голову.

В свете настольной лампы, что стояла на бесполезном телевизоре,

который больше не работал, потому что его больше не прогревали феном (терпения не хватало), он стоял, высокий, тонкий, изящный, коричневый, и улыбался счастливой улыбкой...

“Нам нужна трубка”, — энигматически сказал он.

“Какая еще трубка?”

“Телефонная, конечно, — сказал он, — просто трубка и кабель, все остальное я сделаю сам...”

И он объяснил, в чем суть дела. Он прогуливался в той части Фарсетрупа, куда не заходили беженцы и прочая нечисть, а катались лолиты на роликах, там были хорошие площадки, там были дорожки. Часто на рулах развлекались мальчишки, иногда танцевали рэйверы. Прогуливали собачек с пакетиками для дерьма жители, приличные фарсетрупцы. Там стояло здание из красного кирпича. Маленькое, приятное. Называлось Родхус; это был своеобразный дом советов. Там решались всякие дела коммуны, города, происходили какие-нибудь регистрации, подписывались бумаги, заключались договора, происходили встречи и прочая дребедень. Снаружи, за домом, стоял ящик; это был трансмиттер, а в нем — телефонные провода. Нужно было всего лишь вскрыть этот ящик, а сделать это можно было при помощи заурядной отвертки, присоединиться к проводам, надо было только потыкать, используя заурядные кусачки, поймать канал в трубке, и все: можно звонить куда угодно, хоть в Аргентину. Главное, чтоб трубка была с кнопками, такая телефон-трубка. Я сказал, что меня это мало вдохновляет, я не вижу смысла в этом, потому что мне звонить некому, тем более в Аргентину, и не понимаю, каким образом мы станем жить лучше, откуда возьмется вино и гашиш, если мы подсоединимся к какому-то телефону, даже если мы подсядем на линию Пентагона.

Он надул щеки и захохотал: “Какой же ты идиот! Ты все мозги прокурил! Неужели ты ничего не понимаешь? Ты что, не видишь сколько вокруг тебя людей в этом лагере, которые только и бредят тем, чтоб позвонить на родину своим близким подешевле да без риска?! Люди боятся, что их разговоры прослушают! Просекут, куда и кому они звонят, и вышлют! Неужели ты такой дурак! Ты валяешься в постели месяцами! Ты закил и ничего уже не смыслишь! Мы будем

брать деньги за разговоры! В три раза дешевле, чем если б они звонили со своих карт или телефонов, понимаешь?! Даже дешевле, чем пиратские телефоны албанцев!”

Я снова скептически отнесся к этому открытию; но Хануману удалось заразить этой идеей Потапова и Дурачкова. Это было не трудно. Их вообще заразить какой-либо идеей не стоило труда, они всегда были готовы пропитаться какой-нибудь идеей; они, казалось, только и ждали, когда в них впрыснут очередную затею, даже самую абсурдную. Им все равно было, что делать, лишь бы не просиживать в комнате, не слоняться по лагерю, глядя на мерзкие рожи; они подышали от скуки! Поэтому когда Ханни сказал им, что можно кое-что проверить, они в тот же вечер привезли со свалки трубку и кабель, нашли в бардачке нечто, что Потапов назвал “крокодилами”. В ту же ночь подкатили к Родхусу; вскрыли трансмиттер и подсоединились. Прямо там же на месте позвонили в Россию и Индию, захохотали. Протянули кабель, который утопили в припорошенном снежком газоне и в стыке между плит, вывели его к проходной части, изолировали, прикрыли пучком какой-то хвойной зелени. На следующий день они посадили в свою машину двух тамильцев, которые горели желанием звонить в Шри Ланку; подъехали к тому месту; подсоединились, не вызывая ни в ком подозрения, и позволили тем звонить. Они содрали с них за продолжительные разговоры что-то около ста пятидесяти крон с каждого, и поехали в Ольборг за гашишем.

На следующую ночь они повезли сомалийца, который звонил всю ночь в разные точки планеты; тот раскошелился на триста крон. За ним потянулись албанцы; но те звонили помалу; их, как сказал Потапов, жаба давила даже на халяву звонить подольше.

“Албанец — он и в Африке албанец”, — сказал Дурачков.

Каждую ночь они возили людей к трубке, а возвращались на рассвете, обкуранные.

Даже если деньги и завелись в кармане Ханумана, это никак не изменило мою жизнь к лучшему; я по-прежнему питался плохо, ел то, что мне подносили, а подносили бобы с рисом в чили соусе или, в лучшем случае, какую-нибудь сосиску. Пить я ничего не мог, курить тоже. Праздник жизни, который захватил Ханумана и двух

русских, проходил мимо меня, и мне было решительно все равно. Я знал, что и эта лавочка скоро прикроется. Неделя-другая... Люди в Родхусе посмотрят на счет, увидят, что кто-то звонит в Шри Ланку и Катманду, Киншасу и Бангкок, и проверят свой трансмиттер. А кто-нибудь из бдительных соседей или прохожих (патриотиков хватает) донесет, что такая-то машина простаивала возле Родхуса¹ по ночам, и в ней сидели неместные, чего доброго, и засаду устроят! Да и лагерь могут прочесать, если на то пошло...

Я поделился этими мыслями с Хануманом и русскими; они приздумались, решили подождать, засели на дно. Но тут как бы случайно (но ведь ничего случайного в жизни не бывает!) появился Бачо со своим телефоном. И даже не сам Бачо, а пришел мальчишка, Зенон, с каким-то неменяемым соотечественником, который купил у Бачо телефон. Телефон был краденый и отказывался работать; грузин продал его албанцу, продемонстрировав, что тот рабочий. Но когда албанец попытался позвонить с него, тот заблокировался. Чего только они не делали с телефоном (Хануман даже поморщился, когда Зенон рассказывал), а телефон дорогой, тот заплатил за него триста семьдесят крон (сбил тридцатник с четырехсот), хотел требовать деньги обратно, но грузины сказали: "Вай, май фрэнд? Э, телефон арбайтен ду сам видел иди отсюда, гандон!"² — И он пошел к Зенону, как к специалисту по всякого рода технике, и как к человеку, который умеет говорить на всех самых ходовых языках в кэмпе. Зенон привел его к нам.

Хануман взял телефон, вставил в него свою карту, и тот заработал.

"Вот видишь — работает, — сказал Ханни. — С моей картой работает, на свой телефон, выбрось старую карту, купи новую и звони кому хочешь..."

Когда грузины узнали о том, что тот разблокировал краденый телефон, который они успели втюхать албанцу, пока карту прежний хозяин еще не закрыл, они пошли к нему, стали спрашивать: "Слу-

¹ Дом Совета (датский)

² Почему, мой друг? Э, телефон работает ты сам видел...

шай, как так? Заблокированный телефон, а ты раз — и включил, а? Покажи свой телефон!”

Хануман показывал, показывал, а потом сказал: “Дайте любую карту, я покажу кое-что...”

Ему дали карту, которая уже не действовала, и он вставил ее в свой телефон, и нажатием нескольких кнопок активизировал карту и у всех на глазах позвонил в соседнюю комнату, откуда пришел Потапов, потом он позвонил в Бомбей своей бывшей жене, потом в Бухарест, а те стояли и глазами хлопали...

“Слушай, как так может быть, а?” — спрашивали они меня почему-то, а у меня рот тоже открылся, я ничего не понимал, но скрывал изумление напускной скукой, будто каких бы чудес мне там ни показали бы, мне все равно было бы скучно! Он дал им карту; они вставили ее в свой телефон и попробовали позвонить, но ничего не вышло; они обалдели: “Слушай дай сюда свой телефон посмотреть! Как так может быть слушай?” — Он давал телефон; он наслаждался; он был в центре внимания; он разводил руками и говорил, что этот телефон ему подарила его самая любимая жена, он был куплен в Швеции, это особенный телефон, он открывает все коды, все пин и пук коды, все карточки будут работать на нем...

“Слушай, как так может быть, а? Продай слушай! Сколько хочешь?”

“Нет, телефон не продается, это подарок любимой жены, нет, не надо торговаться, я просто могу дать позвонить, только за деньги...”

“Э, какой подарок...”

“Как не продается? Все продается...”, — говорили они, но все было напрасно, — Ханни не продавал телефон, он нажимал на то, что они могут позвонить — за деньги, за деньги...

Но они, конечно, отказались звонить, потому что у них был принцип не тратить деньги вообще. Разве что купить что-то для отвода глаз, когда надо было что-то вынести. Или гашиш. Но даже гашиш и прочую дрянь они старались украсть. Каждый дилер рано или поздно становился их жертвой. Они либо выставляли его хату, либо били и поднимали его. Но Ханумана и меня они уважали. За спиной они говорили, что мы пидары нах, гандоны бля, чмори-шныри

несусветные, суки, черти бля, но к нам шли с улыбочкой и часто откровенничали. Все-таки они считали, что мы неплохо умели воровать, и вообще, голова на месте.

Хотя, мне кажется, они ошибались, в отношении не только меня, но и Ханумана. Голова у него давно была не на месте. Но он производил впечатление человека сведущего во всех областях, старался.

Он мог говорить о чем угодно. О телефонах — бесконечно. Он считал, что самое главное — это не телефон, а легальная карта. Не краденая, а обычная. Чистая, хорошая, с подключением. Телефон с такой картой мог приобрести только человек, у которого есть вид на жительство, банковский счет и прочее, включая код идентификации, а у нас их не было. Хануман говорил, что это — золотое дно. Если начать доставать такие карты, такие телефоны, то их можно продавать беженцам, и за большие деньги. Такие деньги у беженцев есть, и они их отдали бы, если б их можно было убедить, что они приобретают нечто вроде пиратского телефона, или вечный телефон, на что такой телефон и походил бы; правда, только первые не-сколько дней.

На такое дело пошел бы только человек, которому уже было все равно, которому было терять нечего, у которого были огромные долги, который ждал, что его вот-вот посадят. Такой человек взял бы немного — любой ценой, и если б ему предложили сто или двести крон, то он бы подписался стать абонентом. Такой телефон с картой можно было бы крон за семьсот или даже тысячу продать. Сам телефон тоже покупать надо было, а денег не было. Мы были на мели.

Может, и были деньги, но не в достаточном количестве; я никогда не знал, сколько было денег в карманах у Ханумана, это была самая большая его тайна. Он сам говорил, что никто никогда — и в особенности женщины — не должен знать, сколько у тебя денег; и чем меньше их есть, тем более уверенным надо выглядеть, потому что эта загадочность всегда вводит в заблуждение людей и притягивает их! Он утверждал, что нужно всегда вести себя так, будто ты стоишь у неиссякаемого источника денег, и в конце концов этот источник пробьет, и деньги польются в твой карман! Можно сказать,

что ты сам притягиваешь деньги к себе, если ведешь себя подобным образом.

И вот они пришли. Однажды грузины пришли к нему с черным — “пиратским” — телефоном, который почему-то перестал работать. Как мне потом Хануман сказал, “номер накрылся”, а грузины про номера ничего такого не знали, они вообще не знали принципа работы “пиратского” телефона... они воображали, что в нем что-то перепаяно, и он сам по себе звонит, как рация какая-то, а про карту и коды они знали еще меньше, чем я, а я-то уж настолько мало знал, до смешного мало...

И вот они принесли телефон; Хануман просек, что они просто идиоты, которые ничего не понимают, сделал вид, что работает, покопался с телефоном, и наконец, с важным и глубоко разочарованным видом сказал, что все, телефон больше работать не будет, можно выкинуть его к черту... и сам тут же выбросил его в мусорный ящик... Но Бачо достал его и сказал, что отдаст сыну, играть.

Несколько дней Хануман следил за тем, как пятилетний сын Бачо играет с этим телефоном; он видел как сын Бачо загребал песок откидной крышечкой телефона, он видел, как мальчик нажимал на кнопки, извлекая мелодии, он видел, как мальчик играл в какую-то игру (и даже помогал мальчику играть в нее), он видел, как сынок Бачо мало-помалу теряет интерес к игрушке, приобретая интерес к другим игрушкам, он видел, как сынок Бачо подозвал к себе албанского мальчика и сказал тому: “Гоу тэйк тат байк тс ис фор ми, май фрэн, ду кан тэйк, тэйк анд гив ми май байк¹”, и Ханни видел, как албанчик пошел и взял велик Лизы, и видел, как выскочил Потапов и стал драть албанчика, а маленький грузинчик стоял в стороне и хихикал, все больше и больше забывая про телефон... Хануман с хитрой улыбочкой наблюдал чуть ли не за каждым шагом ребенка, до тех пор пока однажды тот не бросил телефон, отошел, взял мячик сербской девочки и побежал за билдинг, и Хануман встал, подошел к телефону, взял его и пошел в нашу комнату...

Той же ночью Хануман подобрал код, нашел абонента, на линию

¹ Иди возьми мой велосипед и принеси мне, это мой, можешь взять

которого подсел, и сделал первый контрольный звонок, сперва в Индию. Потом в Швецию, и третий звонок — в Бухарест.

“Хэхахо!” — закинув голову и подкидывая в руке телефон, хохотал Хануман. “Ох, идиоты, ох идиоты! Как хорошо жить с идиотами! Хэ-хахо!” — прогрохохотал Хануман, и положил телефон подзаряжаться (аккумуляторов у нас было больше, чем телефонов, даже больше, чем телефонов в телефонном магазине). Он повернулся ко мне и сказал, чтоб я слезал с нар; он открыл скрипящий металлический шкафчик, который открывал раз в неделю, достал жиллет, пенку, шампунь, выдал мне полотенце, сказал, чтоб я шел в душ, чтоб вышел побритым, чистым.

“Мы завтра уезжаем на заре, — сказал он строго. — Я иду договариваться с Зеноном и шофером, у нас есть работа, и ты должен выглядеть внушительно, строго, солидно...”

Когда я вернулся из душа, где меня задержали порезы на шее и подбородке, на моей кровати ждала меня моя новая чистая рубашка, меня ждали брюки, пиджак, пальто, новые ботинки, все это Ханни только что купил у тех же грузинов (те были на ломке и продали за гроши, лишь бы наскрести на дозу)...

“Отныне ты — русская мафия! — объявил он мне многозначительно. — Этого с собой не берем”, — мотнул он головой в сторону Дурачкова, с любопытством следившего за действиями Ханумана. — “Мммм, у этого парня не совсем подходящее лицо... Жалобное больно... К тому же в машине будет мало места, а мало ли что или кого придется сажать в машину...”

“Так, — сказал он, глядя на Потапова. — У тебя вот цепочка какая-то, что, золотая? Очень хорошо, дай Йоганну! На время, конечно. Расслабься! Дай! На! Примерь!”

На меня нацепили цепочку; я выкатил грудь.

“О! То, что надо! Ну, настоящая русская мафия!” — воскликнул Хануман, отступая на шаг. — “О! Да, сделай что-нибудь с лицом!”

Я сделал сонное выражение, приподнял брови, собрал на лбу как можно больше складок и напряг губы...

“Плохо”, — сказал Ханни.

“Не так...” — сказал Дурачков.

“Ты что, бандитов, что ли, никогда не видел?”- издевательски сказал Потапов и тут же изобразил на своем лице такое, что стало тошно.

“Ну нет, я так не могу... Нет, не могу; у меня ноги мерзнут”, — пожаловался я.

“Надень эти экко! Это не просто ботинки, это как лекарство для ног!”

Я влез в экко и понял, что никогда не сниму их, даже если их дали мне поносить на время. Даже если будут бить! Даже если ногами! Я их все равно, все равно ни за что не сниму! Я буду стоять насмерть! Я буду всю жизнь носить только экко! Пусть у меня не будет куртки зимой, нижнего белья, шапки, ключа от квартиры, где не то что денег нет, но даже гвоздя, на который можно было бы повесить пальто, которого пусть у меня тоже не будет! Пофигу! Носить я буду только экко! Какое это наслаждение! Запустить израненные ступни в такие ботинки! О! Это была просто какая-то реинкарнация ног!

“Вот, — Хануман дал мне резинку для волос. — Собери волосы в косичку!”

Я сделал, как он велел. Глядя на меня, Ханни сказал: “Ну, настоящий барон! Мафиозо! Браво, брависсимо!!! Выезжаем утром, в шесть! Точно!”

Мы стали колесить по Юлланду, от лагеря к лагерю. Потапов был за рулем, а мы находили клиентов и брали за разговоры. Мы делали хорошие деньги. Каждый раз, когда клиент платил, Хануман деловито и с подобострастной улыбочкой отдавал деньги мне. Я их деловито пересчитывал и складывал в большой кожаный лопатник Ханумана, который носил в своем кармане с таким видом, будто он принадлежал мне. До поры до времени. Когда сеанс оканчивался, и никого в комнате не было, чтобы никто не видел, Хануман забирал у меня кошелек, все снова пересчитывал, некоторое время думал, напрягая брови и выпучивая губы, глядя вдаль, будто пытаюсь высмотреть, не показалась ли заветная земля, к которой мы стремились, будто стараясь сообразить, насколько приблизили нас деньги к мечте... А потом со вздохом он клал лопатник в свой бездонный карман, и делал он это так, что у меня моментально пропадала надежда на то, что я когда-нибудь увижу эти деньги вновь.

Зачастую нам не приходилось тратить на еду. В каждом лагере находился индус или непалец, готовый мыть не только посуду после Ханумана, но и его длиннопалые ноги, не говоря уж о еде, которую он просто обязан был предоставить вместе с ночлегом! Сами они спали на полу, а мы с Ханни спали в их постелях. А Потапов, если оставался ночевать с нами, тоже спал на полу!

Мои ноги так сильно воняли, что Хануман на ночь открывал окно, а потом придумал завязывать на моих ногах целлофановые пакетики. Еще чуть позже он купил какие-то индийские мази, наказал мне втирать их, дал красное сильно пахнущее мыло. Он сказал, что я должен мыть ноги три раза на дню. Потом он нашел для меня какой-то порошок, который я насыпал на ночь в тазик, и отмачивал в нем ноги. Я делал все возможное. Держал ноги в кипятке, в сугробе, натирал их мазями; скоро не только короста и грибок сошли, но даже вонь выветрилась. В конце концов, мои ноги заблагоухали как лотосы; по крайней мере, так сказал Хануман.

Мне ничего не приходилось делать; я просто с важным видом и даже брезгливостью в жестах и лице говорил с неграми по-французски и с прочими по-английски, экономно, грубовато, сухо объявлял тариф. С Хануманом мы говорили по-датски, чтоб никто не мог ничего понять. Для всех я был представителем русской мафии, вполне легально пустившей корни в датский грунт; у меня неплохо получалось. К нам относились с уважением и даже трепетом. Слава богу, что никакие армяне и грузины не пронюхали про наш бизнес на их, так сказать, территории. Все проходило гладко, мы только успевали подзаряжать телефон; звонков совершалось так много, что деньги просто текли в наш карман. Однако приходилось подбирать новые номера, ловить линию. У Ханумана уходили десятки часов на это...

Десять дней пролетели; мы сделали достаточно денег, чтобы запастись гашишом и вином на всю зиму. Я зарядился каким-то оптимизмом, который тут же оправдался. Хануман в один прекрасный день сказал мне: "Все! Баста! Возвращаемся на базу через Ольборг!"

В Ольборге мы купили гашиш, покурили и просидели битых восемь часов в гаш-баре, чего-то ожидая. Хануман только сидел и присматривался к людям, сперва выказывая к ним интерес, а потом

теряя... иногда он подходил к кому-нибудь и о чем-то говорил, потом возвращался с разочарованием в лице. О чем он с ними говорил, мне было неизвестно... Затем неожиданно один замшелый пропойца с джоинтом в зубах, который достался ему после серии рук и тут же ушёл в другие руки, как-то закивал Хануману; мы тут же вместе с ним сорвались и поехали. Мы приехали к телефонному магазину, на который указал сам бродяга. Они с Хануманом вошли туда. Через полчаса они вышли: в руках у Ханни была коробка, а в ней новый телефон. Бродяга сел с нами в машину; ему дали совершить несколько звонков по "пиратскому" телефону. Мы отчалили; пошли узкими улочками; вышли к маленькой площади: три дерева, пять скамеек, киоск...

"Тут тусуются наркоманы, — сказал с важностью в лице бомж, и даже с какой-то печалью покачал головой и добавил: Йо, факинг бяд плэйс ту визит!"

Я стрелял глазами по сторонам; всюду были люди, все перекошенные, кривые, волосатые, один в плаще, стоял в сторонке и говорил по телефону с кем-то, все смеялся, смеялся... Он казался чище и приличней прочих. Мог быть информатор. Я не спускал с него глаз, пока не убедил себя в том, что он натурально смеется, а не притворяется... С них станется... С пасунов... Нет, все было, кажется, чисто, кругом были тихие люди, стукачей, кажется, среди них не было...

Место мне было знакомо. Не первый раз... Там был дешевый туалет. Однажды мы с Михаилом ездили за гашишем и выпили пивка заодно под мостом. На самом деле он все пытался побольше узнать от меня о тех шлюхах из Питера; ему они долго не давали покоя. Мои рассказы его распыляли. Он часто возвращался как к теме блядей, так и к теме амфетамина. Вновь и вновь он меня просил рассказать то, как мы их встретили. Так его волновала та история. В тот раз мы ничего не нашли, потому что я страдал по жизни топографическим кретинизмом, я потерялся, и вообще не представлял, в какой части города мы находимся, где был бордель Марио, до или после моста, или вообще по какую сторону моста. Поэтому все кончилось тем,

¹ Да, чертовски плохое место для посещения!

что мы взяли по упаковке пива, Михаил забросил пару раз удочку под мостом, надеясь чего-то поймать. Или просто так. Но вскоре понадобилось зайти в туалет, и мы каким-то образом оказались в нем. Выпуская мощную струю, Михаил попутно изливал мне свои чувства, выпуская вместе с мочой всю накопившуюся в нем желчь, стал говорить, что его тошнит от этой страны.

“Эти датчане, — плевался он в своем пьяном презрении. — Зажравшиеся скоты! Меня трясет, когда я вижу витрины! Мне их хочется разбить. Вообще все на осколки. Всю их страну. Потому что они не заслуживают такой жизни. Скоты, лизали жопу фашистам. Русский многострадальный народ столько жизней положил, столько крови пролил. И ветеран сейчас беззубым ртом пшенку глотает, и то не каждый день! На молоко уж точно не хватает. А эти скоты тут в масле катаются да русского гонят метлой, а арабам вонючим, которые взрывы устраивают, террористам, суки, социал на блюдецке с гуманитарной каемочкой!”

Тут он материться начал, да так, что у меня в глазах потемнело. Но нас неожиданно оборвал женский голос, голос произнес на чистом русском:

“А ну у меня не выражаться!”

И я себя ощутил на Балтийском вокзале в Таллине; в те времена, когда я еще был мальчишкой, и насосавшись пива пытался объяснить людям на улице всю прелесть матерной речи; я так вздрогнул, что струю пережало, так, что больше не смог возобновить. Это была пожилая женщина, которая уже давно перебралась в Данию. Несмотря на свое образование (даже два) и знание языков (пять), она работала в туалете, так называемой туалетной консьержкой. О, ученая дама! Конечно, матерок ее жутко смутил! Он резал ей ухо, которое к тому же и музыкальное! Воспитывалась в профессорской семье, ходила в консерваторию, общалась с бородастыми и высоколобыми arrogantными особями мужского пола, которые считали мат уделом плебеев. Да, вот так, плебеи, — такие как я, Ханни, Потапов и Дурачков... Одноклеточные нах! Ну конечно! Ее должно быть тошнило от нас. К тому же от нас воняло. В ее до блеска надраенном нужнике мы были просто глистами! Не припасено ли там у нее хими-

ческого средства, чтоб стереть нас с лица ею надраенной плитки?! Может, пшикнуть на нас чем-нибудь? И мы растворимся... На меня достаточно менту просто кинуть взгляд, и — нет меня! О, что это там у нее? Ммм, у нее там с собой была всякая снедь! И чего там у нее только не было! Она тут даром время не теряла; унитаза терла да на плитке готовила. Школа эмиграции из нее сделала человека нового типа! Русская смекалка плюс хитрости европейской жизни. Она сэкономила, она учила язык, она знала все входы и выходы в лабиринте бюрократической системы Дании... Может быть, она знала, что такое Директорат... Может, она даже побывала там — в Директорате... Как жаль, что Хануман ее не видел, он бы упал перед ней на колени и целовал ее лотосоподобные стопы! Богиня Падма! Ноги как ступы. Она не толкла воду. В пожилой дамочке было столько энергии... Ни минуты без дела! На зависть мне, который еле волок ноги, и жевал в три раза медленней. У меня точно что-то с печенью, — но я проверяться не стану, даже после всего, даже если придется отсидеть, не пойду проверять... К черту! Пожилая женщина в платке с брошью на воротничке нас тогда накормила квашеной капустой и салатом оливье, домашнюю котлетку дала и огурчики, кормила да приговаривала: “Молодые люди, закусывать надо, и не гневите Бога, блюсти чистоту речи и помыслов надо!” — Мы чавкали да возносили хвалу, — бок у меня трещал от натуги...

У нее на столе были французские и немецкие журналы, местами попадались пометки карандашом; даром время не теряла, — факт! Магнитофон с музыкой?.. Как бы не так: опять же тексты, языковые курсы, от А до Я... Она хвалила датчан: “Какие они молодцы! Они историческую ценность своего языка знают! Каждое местоположение каждого знака в согласии с канонами...”, и так далее. Мы проболтали несколько часов. Она состояла в фиктивном браке; какой-то сильно пьющий датчанин, который лечил и никак не мог вылечить печень, черт подери! Он с нее брал деньги. Она ему платила. Осталось немного. Пару лет, и она получит гражданство. Сын ее вышел за датчанку по любви, живут в согласии... Топленое молоко житейской мудрости потекло по устам. Я свернул улыбочку с сигареткой и вышел покурить: не хотел там засиживаться. Не хотел ее видеть.

А вот Михаил наоборот: навещал ее всякий раз, когда приезжал в Ольборг. Он ей якобы привозил подарки (позже я узнал, что он ей продавал всякую краденую дешевую дрянь, мерзавец), кушал капусточку да салатик, жаловался на судьбу, на очередной отказ, на депорт, которым пугают, на то, что денег не хватает, что в лагере жить невозможно, ни спать, ни готовить, ни находиться ни в комнате, ни даже в туалете, за тобой шпионят, в твоих вещах роются, народ грязный, тараканы бегают, болезни по лагерю ходят, вещи стирать невозможно, вода идет с перебоями, сыпь на жопе не заживает, и так далее, и тому подобное...

Вскоре она пропала; устала, наверное, от его визитов; в туалете появился какой-то датский дедок в черном сюртучке и кепке с кокардой, он поблескивал натертыми пуговицами и позолоченной шнуровкой на кепке; судя по форме, он был железнодорожным работником в прошлом. Он даже бубнил под нос названия станций. Я два раза заходил, и оба раза мне слышалось будто он себе под нос произносил названия станций: не то Ранес, не то Хорсенс, хер знает что...

На скамейках мерзли какие-то женщины, все они выглядели полумертвыми. Никогда не думал, что это было столь значительное в жизни города место.

“На этой площади, вон на тех скамейках, — сказал бродяга, — часенечко забирают труп...”

К нам подошли двое; бродяга с ними побазарил; они закивали и поехали в тот же магазин. Через пять часов у нас было шесть телефонов; каждый был с картой, по которой можно было звонить неопределенное количество времени, до тех пор пока наркоману не придет счет, пока не закроют его карту...

“Но ведь об этом никто из людей, покупающих у нас телефон, не будет знать!” — сказал мне Хануман и залился смехом.

Мы стали звонить по кэмпам, людям, которых Ханни хорошо знал. Он стал впрягать их в бизнес; обещал, что с каждого проданного телефона даст сотню тому, кто найдет покупателя; телефон стоит полторы тысячи; от полутора можно опускать до тысячи двухсот пятидесяти, не ниже! “Позвоню через час...” Меня всегда поражало

то, что у всех в кэмпях были телефоны. Когда я спросил, откуда они у них, Ханни мне объяснил, что эти телефоны ничуть не лучше простого автомата, стоящего на улице... Ты покупаешь карту, вводишь ее в телефон и платишь сто крон за карту, и она быстро выветривается, ее хватает на десять минут для разговора с Россией, пять с Индией, одну с Австралией, дороже всего звонить в Америку, поэтому с этих телефонов невозможно туда звонить вообще, таких карт просто нет! "Разве что тебе могут звонить... мог бы купить себе такой телефон, твой драгоценный дядя звонил бы тебе, а не на мой мобиль, он меня уже затрахал, потому что я жду важных звонков, и всякий раз вздрагиваю, когда звонят, отвечаю, а там твой жантильный родич, мать его... Купи себе телефон, наконец, Йоганн! Я дам тебе денег. К тому же ты ведь у нас русская мафия теперь. А мафиозо без телефона — это что-то аномальное. Ладно без пистолета, но никак не без телефона!"

В Фарсетрупе продавать эти телефоны мы не могли; не плюй в колодец, из которого пьешь! Потому что могли бы начаться проблемы, когда покупатель обнаружил бы, что больше не может не только звонить, но и принимать звонки. Было решено продавать телефоны в самых отдаленных лагерях. Например, во Фредериксхавне. Там мы продали три телефона, по полной цене; богатые пакистанцы, наши старые знакомые, все еще с золотыми цепями и кинокамерами, которые у них еще не украли, купили себе телефоны, просто от нечего делать; к тому же у своего, как они считали, у пакистанца.

В другом лагере купил индус, чтобы сделать приятное соотечественнику. Хануман всех всегда вводил в заблуждения: для индуса он был индус, для пакистанца — пакистанец. Он был счастлив надуть этих кретинов. Что индусов, что пакистанцев; и тех, и других он одинаково презирал. Настолько же сильно презирал, насколько хорошо умел ввести в заблуждение. Можно было вывести формулу, которая определяла бы его суть: Хануман презирал человека настолько глубоко, насколько хорошо мог его одурачить; и чем лучше он умел его одурачить, тем глубже он его презирал.

Еще через несколько дней простоя в Фарсетрупском лагере, где мы только и трубили гашиш как трубочисты, снова нашелся клиент,

на этот раз в каком-то захолустье; название городишка было странное — Хундерскоу. Как выяснилось, было три или даже четыре города с таким названием, только с дополнительными буквами, Нью Хундерскоу, Нёрре Хундерскоу и еще какие-то... Мы долго соображали, куда ехать. Хануман бранился с человеком, который нашел ему покупателя, бранился так отчаянно и так сильно, что чуть не выбранил свой язык наружу, чуть не вылаял его, как жвачку! Этот грязный алкоголик Пивная Машина, который был в одном из этих Хундерскоу, сам не знал, в каком из них именно, потому что был как всегда пьян, мать его, а когда он пьян, он не понимает, где он находится! Он допился до полной утраты связи с реальностью! Он пьет два ящика в день! Сам тощий как глист! Где он находится? Может, во всех Хундерскоу сразу, а? Пойди выясни!

“Выйди спроси, где ты находишься, мать твою!” — орал Ханни в трубку, выкатывал кровавые глазищи, переламываясь в поясе, точно блевал. Но того придурка, видимо, самого все разыгрывали, держали за идиота, дурачили старого индуса-алкоголика, потешались над ним как могли. “Он приехал в Данию, чтобы заработать деньги на трактор!” — бранился Хануман, ожидая нервно звонка. “Он приехал сюда, чтобы заработать на трактор! Вы видели такого идиота!”

Ханни мерил комнату широкими шагами агронома, он стучал себя по лбу телефоном: “Да выяснит он когда-нибудь, где он находится или нет? У нас клиент уходит! Он приехал сюда копить на трактор, а сам пьет по ящику пива в день, и остается при этом тощим как глист! Пивной завод! Мать его! Алкоголик! В постоянном делирииуме! Идиот!”

Наконец Хануман узнал, в каком Хундерскоу находится покупатель, в Хундерскоу К (“К” обозначало “Киркего” — кладбище). Когда мы туда приехали, оказалось, что там никто не знает, кто такой Бир-Машин; телефонный разговор повторился снова, только Хануман уже просто хрипел в трубку, как цепной пес. И тот, наконец, выяснил, что сам он находится в Вамдрупе, — его туда вчера отвезли, и он об этом совсем забыл, а так как лагеря везде одинаковые... Хануман орал, чтоб тот опустил детали! Короче, клиент был в Лундерскоу, а не Хундерскоу, и мы были ну практически в двадцати километрах от места!

У нас появилось много денег. — Не к добру, подумал я тогда, но все обошлось. Все было нормально, никаких неприятностей не последовало. Никто нас не искал. Никто не хотел мстить за телефоны, которые по моим подсчетам должны были уже отключиться. Мы просто стали много курить. Мы курили и смотрели телевизор. После продолжительного простоя телевизор неожиданно включился. Причем сам. К нему даже не притронулись. Мы вошли в комнату. Ханни крикнул на Непалино: “Хочешь пососать?” Бросил папку, куртку, ботинки с ног. Я осторожно поставил набитую краденными дисками и косметикой сумку, и... телевизор включился! Показывали войну с ментами, в Копенгагене. На Нёрребро шла война, ребята с платками на лицах, в масках и шапочках бегали и битами били арабские и пакистанские лавки и магазины, разносили вдребезги все, что хозяева не успели закрыть щитами, опрокидывали машины, показали, как красиво летит, и еще красивее разбивается, воспламеняя все вокруг, коктейль Молотова. Почему-то было ощущение, что это был единственный коктейль Молотова, и что он был брошен умышленно таким образом, чтоб человек с камерой смог его снять, более того, мне в голову пришла мысль, что репортеры сами сварганили смесь и бросили его, чтобы потом показать и раздуть события на Нерребро. У нас открылись рты, мы тут же все пожалели, что не находимся в Копенгагене, можно было бы воспользоваться ситуацией. Но затем показали студию, в которой заседали ленивые рыбглазые журналисты, они жевали и обсуждали события трех- или даже пятилетней давности; мы почувствовали, что снова нас обманули. Тогда Ханни впервые заикнулся о стачке, о курительной забастовке. Он сказал, что объявляет протест. Он ничего не хочет знать о двуличии этого мира, который его только наябывает. Он не хочет ничего слышать о том, что происходит в мире. Ему плевать на Бирму! На испытания ядерного оружия в Индии и Пакистане! Он клал на Ирак и Югославию! На рейнфорест и парниковый эффект! На все! “Мы находимся в лагере беженцев, в конце концов, — сказал он. — Этого более чем достаточно! Мы своими глазами каждый день видим тех, кто сбежал из-под бомбежки! Мы своими носами чуем, какого запаха их дерьмо! То, что происходит здесь, в этом лагере,

намного важнее, чем то, что происходит в горячих точках! Даже то, что происходит в кишках сумасшедшего иранца, намного важнее, чем то, что происходит в целом Иране!”

Хануман набил трубку и продолжил: “У меня не вызывают доверия все эти пепелища, огни в темноте, произнесенные речи, головы заложников... Все это как-то не совсем натурально. Я сомневаюсь. Я — солипсист. Ведь они тут все намеренно делают, от коктейля Молотова до дебатов в парламенте. Я им не верю! Я не только им не верю, я никому не верю! Выключи эту срань!”

Я выключил, открыл журнал, вытянул ноги, не снимая ботинок; в журнале было интервью, взятое у каких-то датских панков, уже великовозрастных, у динозавров, которые еще отказывались сбросить чешую своих клепанных косух. Я потому и взял журнал, что хотел почитать о том, что творили и творят панки в этой стране. Оказывается, все они когда-то бодро трубили анашу и кидались ЛСД, играли психоделический панк, писали граффити на стенах, первыми делали пирсинг, двадцать лет назад! А теперь один из самых старых представителей выжил из ума настолько, что стал публиковать комиксы, писать стихи, похожие на те, что сочиняют для детей или — еще хуже — сочиняют сами дети. В журнале были приведены отрывки. Даже моего ничтожного знания датского было достаточно, чтобы ощутить ничтожность этих стишков. Эта “поэзия” немного отдавала Сапгиром, что ли, но несмотря на то, что я Сапгира ненавидел, я чувствовал, что тот в своем идиотизме — то есть в упорствовании в своей глупости — так далеко ушел, что его даже можно было уважать, а вот этот престарелый панк казался просто безграмотным идиотом! Он все еще носил кожаные куртки с булавками, не мылся и не стригся, но уже не красил волос, потому что их не осталось. У него была своя студия, своя редакция, он печатал какие-то листовки, писал какие-то песенки, которые играли дети. Другой долго расписывал свое прошлое, нажимая на то, что он один из немногих выживших, теперь у него своя галерея, у него выставляются модернисты, граффитчики и черт знает кто. Была серия картин, как он сказал, “Сны Шизофреника”, и были они, судя по напечатанным в журнале маленьким репродукциям, еще хуже того, что малевал Потапов.

Мне стало скучно, я просто курил, плавал в каких-то своих мыслях, не зная где бы бросить якорь, я брал трубку, затягивался, передавал дальше... В этом было больше, гораздо больше смысла, чем в любом панковском движении, чем в любом движении вообще; поэтому я перестал двигаться совершенно, я только лежал. Ханни тоже лежал, и не двигался, и когда гашиш кончался, мы засылали Потапова в Ольборг за новой порцией...

“Деньги идут к деньгам!” — почему-то приговаривал Потапов, получая деньги на гашиш. Я кивал, но сам про себя смеялся над ним. Он-то чему, кретин, радуется? Дурак! Ему все равно ничего, кроме щепотки с грамма, которую он откусывал по дороге своими крокодилами, да разве еще что на стакан, не перепало. И меня это радовало; мне он был противен.

5

Хануман сказал, что нашел людей, которые отправляют в Голландию. Я усмехнулся. Сказал, что в Голландию можно дойти пешком.

“Зачем пешком, — возмутился Ханни. — Отправляют легально!”

Объяснил, что есть какие-то голландцы, которые владеют стриптиз-кабаками, они провозят вполне легально баб из Польши, Прибалтики и России. Заодно и кого попало берут, но за деньги. При этом они могут сделать какие-нибудь польские или российские документы. Разумеется, документы делают те, кто поставляют шлюх этим голландцам.

Я насторожился. Это было похоже на правду. Мне теперь хотелось узнать, от кого он это узнал. Оказалось, что это был молодой индус, Аман, который приехал из Германии. Он был племянник какого-то богатого бабуджи в Германии. Аман женился на немке и теперь полгода ждал, когда ему разрешат въехать в Германию легально. У его дяди были связи с голландцами. Все это же подтвердил один молодой афганец, который очень долго прожил в Голландии и вполне лихо выкрикивал нидерландские словечки

и даже фразы. Молодой афганец говорил на чистом русском и выглядел как русский. Но он был афганец. Это подтвердили афганцы, которые однажды усомнились в его пуштунском происхождении; они приперли его в туалете к стенке и допросили. Они сказали, что он очень хорошо отвечал им на двух самых распространенных языках в Афганистане. Пацан им сказал, что его отец афганец, а мать русская, отсюда русский и внешность такая. Сейчас они жили в Голландии. Что он делал в Дании, было не совсем понятно, но он сказал, что это его дело, что он делает в Дании; об этом его не стали расспрашивать. Тем более, что он дружил с одним рыжим грузином по имени Давид, который много курил гашиш и был чемпионом Грузии по кикбоксингу. Это был очень высокий и невообразимо вспыльчивый грузин, покрытый свирепой щетиной на всем лице, он был жутко рябой, глаза у него были такие маслянисто кровавые, метали молнии и все вспыхивало, на что бы он ни посмотрел. Давид как раз вошел в момент того допроса в туалет, и допрос моментально перешел в переговоры. Несмотря на то, что афганцев было шестеро, они спасовали и ретировались. Давид тоже подтверждал все, что говорил Аман. Более того, Давид сам собирался ехать в Голландию, семья русских ассирийцев и еще кто-то где-то уже был готов выложить необходимые суммы денег. Набиралась компания. В грузовиках со шлюхами могло не хватить места. Я спросил: "Почему в грузовиках, если везут легально?" Ханни игнорировал мой вопрос, он даже как будто не слышал меня; его глаза застилала мгла предстоящего путешествия. Хануман сказал, что нужно немедленно воспользоваться возможностью, хотя бы ради временного проживания в Голландии с фальшивыми паспортами. В Голландии есть возможность кораблем уйти в Штаты. Он выкатил глаза. Такой шанс упускать никак нельзя. Ради такого стоит поработать. Он сказал, что Давид уже начал работать. Он ездит в Ольборг каждый день и ворует технику и диски. У Давида уже накоплено на полдороги. Хануман сказал, что он один не справится, если будет копить, я должен оторвать мою задницу от постели и начать работать тоже.

"Никто не подарит нам десять кусков, — говорил он. — Придет-

ся самим делать деньги. Десять тысяч датских крон — это не так уж и много, если с умом взяться за дело. К тому же я уверен, что, например, у Непалино есть эти деньги. Он уже больше года в кэмпе, и почти ничего не тратит, только копит. Вытрясти их из него было бы самое то. Можно не бояться потрясти его. Можно даже использовать грубую силу, потому как все равно срываемся и уходим. Да и кто за него заступится? Ментам наплевать на азулянтов. Пусть сами утрясают свои дела. К тому же он нас тут укрывал нелегально. Не станет же он это болтать. Даже если не трясти Непалино, можно подключить к накоплению денег двух русских, э? Продать машину, или весь этот брик-а-брак, э? Или заставить работать как-нибудь, что скажешь? Во всяком случае, кое-что у нас уже есть. Да-да, мы не на пустом месте начинаем. Мы не все скурили. Кроме того, время от времени можно позванивать. На одних звонках можно сделать несколько тысяч в месяц. Надо только подобрать линию, посидеть над кодами, понабирать и все... Да-да... Плюс бутылки, и можно возобновить продажу еды!"

Но нам подвернулся негр. Негр, на котором мы сделали кучу денег. На этого негра мы вышли через Свеноо, вернее, через Ласло. Мы с ними в очередной раз покупали себе водку и сигареты у моряков в порту, и снова у русских, а так как Свеноо опасался, что это может как-нибудь плохо кончиться, он пригласил нас с собой на корабль.

Негра звали Амбруаз. На ломаном английском он пытался купить у югослава компьютер, прямо там, на свалке. Ласло перетрусил, и сперва погнался за ним метлой, а потом жадность пересилила, он подумал, что можно было бы нагреться на нем, в другой обстановке, подозвал и стал расспрашивать. Но толку было мало; они не могли понять друг друга; все, что понял югослав, было название судна, на котором пришел негр.

На следующий день мы с Хануманом были в порту; югослав позвал негра. Когда он его звал (югослав встал у причала и глядя снизу вверх на корму, стал кричать: "Амбруаз! Амбруаз фо хелвезе¹!!!"), бы-

¹ черт подери (датский)

ло странное впечатление, будто зовут не человека, а собаку. Амбруаз вынырнул, обеспокоенный, чумазый, весь в мыле; стал быстро шарить глазами по причалу, как-то нервно перебирая огромнейшую тряпку, ворсистую. Я подумал, что это скорей выглядело так, словно югослав звал не собаку, а ручную обезьянку, которую он сдал напрокат кому-то на какую-то работенку на судне, и вот теперь хотел забрать зверюгу обратно.

Амбруаз спустился. Лениво, неторопливо, осторожно, с улыбкой очень неуверенного в себе человека. Точно он выбирал для себя: радоваться или надменничать. Я спросил негра по-французски, за сколько он купил бы компьютер; тот стал называть совершенно ненормальные цифры: 100–150 крон! Мы захохотали, стали говорить друг другу: “Видимо, этот идиот думает, что 100 крон — это огромные деньги! Ха-ха-ха! Или это действительно огромные деньги для него!!!”

Мы объяснили ему, что за сто крон он может купить мышь разве что; махнули рукой и сделали вид, что хотели уйти, но негр спросил: “А что если я купил бы что-то другое? Что я мог бы продать у себя на родине! А места на корабле много!” — Свеноо крикнул какую-то шутку: “Гвозди! Купи тонну гвоздей!!!” Сам посчитал свою шутку невероятно смешной, расхохотался, и потянул югослава за рукав — пить водку, пока горит! Хануман задержался, спросил его через меня, что они грузят, что за работа такая; негр сказал, что они везут из Европы в Африку покрышки, просто покрышки, из них в Африке строят самые невероятные постройки, включая дома...

“Контейнеры покрывок! Контейнеры!!!” — восклицал негр, разводя руками, показывая в сторону огромных контейнеров. Свеноо хохотал в отдалении, хохот его был хриплый, резкий, как карканье вороны, при этом он еще прикрикивал: “For helvede!!!” Слова и жесты Амбруаза казались гротескными, как если б он воскликнул: “Господи, контейнеры золота! Контейнеры алмазов!!!”

Внезапно я увидел как сладкая, просто елейная улыбка сперва сложилась в складку, а потом расползлась у Ханумана на лице. Он сказал негру по-английски, что купит ему пива в баре, вот в том, если он придет туда после работы — потолковать... Негр засуетился,

тряпка в его руках ожила, сам он затараторил: *"A bon? Oui-oui-oui, mon frère, à tout à l'heure!"*¹

"Только переоденься", — сказал строго Ханни ему, так как негр был в робе, и весь в мазуте, и вонял как лошадь.

Мы пошли в бар; сели с Хануманом под каким-то колесом в сетях, вокруг сидели люди в сапогах, почти все со спиннингами, пили свой туборг, распространяя запах рыбы и пота. В самом темном углу, возле аквариума с черепахой, сидел старик в толстых очках и курил трубку; и перед ним стоял туборг. Запах был сладкий, вишневый, от него нас слегка подташнивало.

Мы заказали кофе с ягермайстером, дешевле дряни у них не было в подобных барах. Хануман посмотрел мне в глаза и сказал:

"Мы выжмем из этого негра все его сбережения, ты только должен его убедить в том, что он может купить много, просто очень много всякой электротехники! Например, рабочих, но подержанных видеомагнитофонов и прочей фигни! Чего угодно! Главное доказать, что это ему пригодится! Мы все это ему доставим в неограниченном количестве, и он пусть договорится с капитаном, пусть поделится с ним, спрячет в контейнерах, ни одна таможня не станет разгребать все покрывки, риска нет! Даже если и есть, то минимальный! Но пусть рискнет! Убеди его, что это стоит того! Скажи, что когда он продаст эту технику у себя в Африке, он сделает миллионы! Просто миллионы! Да-да... Убеди его в этом! А мы уж доставим все это! Даже компьютер, самый настоящий компьютер!!!"

Я красиво изложил негру идею; у того просто закапало изо рта от жадности, пена потекла по губам, глаза наполнились слезами счастья. Каждый раз, когда я делал паузу, он, после моего вкрадчивого вопроса "Ты понимаешь меня, мой друг?", отвечал "эге", облизывал светло-розовым языком свои огромные фиолетовые губищи и чесал клочковато заросший подбородок. Он выпил купленное ему пиво быстрее Потапова или Бир-Машин, сказал "Э май фрэнд ван мор бьер, плиз"², и Хануман улыбнулся ядовитой улыбкой, принес ему пи-

¹ Ах вот как? да-да, мой друг, до скорого!

² Э, еще один пиво, мой друг

ва, и снова улыбнулся, так, словно он вприснул в пиво цианистого калия. С этого момента между нами началось своеобразное состязание: кто кого обманет, кто из кого больше выгоды сделает, он из нас или мы из него.

Мы подготовили Потапова и Дурачкова, и комнату для продажи техники. Комната была набита нерабочими видами, всякими магнитофонами, сиди-проигрывателями и прочей фигней, одним словом — хламом, за большей частью которого не потребовалось даже ходить на свалку, потому что у Потапова и вокруг кэмпя этого дерьма хватало в избытке. Мы решили начать осторожно; показали негру видик; продемонстрировали, что он работает; добавили: но вот вид у него неважный; установили цену, невысокую для начала, и он взял один. Мы сказали, что если он возьмет сразу партию, то мы сделаем скидку, и таким образом продали ему еще четыре нерабочих, убедив его лже-демонстрацией: делали вид, что подсоединяем к телевизору видео, а на самом деле за ширмой сидел Дурачков и включал синхронно с нашими действиями видик, который был действительно подсоединен к телевизору. Выглядело так, будто все видео работали! Мы были так довольны, что даже помогли ему отвезти их в порт. При всем при этом мы его постоянно держали в состоянии опьянения, попоивая его дешевым пивом. Он был доволен, он сказал, что купит еще несколько видео, может быть, какую-нибудь игру, но вот компьютер было бы здорово, май фрэн... Мы пообещали достать все, что нужно. Потапов с Дурачковым отправились на свалку тем же вечером; мы с Хануманом засели выпить.

На следующий день все повторилось; весь видеофарс от начала до конца! Потом он решил разнообразить ассортимент и купить много всякой всячины, но подешевле; он постоянно занижал цену. Например, его интересовали утюги, миксеры, плойки, фены, вещи, в общем-то, на мой взгляд бессмысленные, для африканцев не нужные, но почему-то именно эти вещи он намеревался продать за космические деньги. Потому что в его деревне (слова повторялись много раз — В МОЕЙ ДЕРЕВНЕ) женщины не могли жить без чего-то такого, что придавало им чувство того, что они настоящие женщины, то есть почти белые, или как белые, и у них есть и фен, и плойка,

и уют; и купить это все у нас он хотел по самой смешной цене! Мы продали ему такой фигни просто бездну! А заодно и кассеты, и в таком количестве, что не было места в машине! Пришлось ездить два раза, за что Потапов накинул двадцатку. В какой-то момент я подумал о том, а хватит ли на корабле в контейнерах места, ведь они же везут покрышки! Контейнеры покрышек!!!

Амбруаз говорил, что он — мастер, он в деревне и электрик, и он же слесарь, и токарь, и пекарь и так далее; поэтому ему нужны: паяльники, напильники, инструменты для работы по дереву и всякие прочие такие штуки; и все это он хотел получить бесплатно, как бы в довесок, гратис! Он постоянно говорил: “Анд дис, май фрэнд, ай тэйк гратис! Фри, май фрэнд, абсолюмон фри!”¹

Как-то он увидел у Михаила, который чинил машину, пояс с карманчиками для инструментов, и у него затряслись руки: “Мне тоже нужен такой пояс! Мне нужен такой пояс!” Ему нужен был такой пояс, потому что ему надо было ходить по своей деревне с таким поясом, полным гаечных ключей, отверток и кусачек, чтобы на всех производить впечатление!! Да, если б у него был такой пояс, вот тогда его жена гордилась бы им: “О! Мой муж настоящий специалист! Настоящий мастер!!!”

Как-то он взболтнул, что у них в деревне никто не пользуется телефонами; у всех зато есть факсы. Они шлют друг другу факсы. В деревне сто человек, и все шлют друг другу факсы. С утра до вечера они просиживают в домах в подвешенном состоянии и ждут, когда захрюкает факс от соседа, до которого можно докричаться! Я представлял, как он срывается из гамака, нервно принимает факс, потом быстро отвечает, и снова прыгает в гамак, смотрит в потолок, чешется и облизывается. Хануман сказал мне, чтоб я убедил негра купить телефоны, причем не настоящие, не мобильные, а радиотелефоны; их у нас было много, они были похожи на рации. “Конечно, там у них в деревне они будут совершенно бессмысленны, у них вероятней всего нет даже телефонной станции поблизости! Но если продемонстрировать, как работает рация, и под этим видом пихнуть с десятка

¹ А это я беру за так! Бесплатно, совершенно бесплатно!

два похожих на рацию телефонов, почему бы нет? Убеди его в том, что он у себя в деревне может сделать телефонную революцию! Они будут звонить друг другу по рации! Они будут охотиться в лесах на обезьян и звонить женам, чтоб разогревали обед!”

И негр купил огромное количество совершенно нерабочих бессмысленных телефонов, и был очень доволен.

Он все больше и больше хотел получить чего-нибудь gratis, и все больше и больше успевал влить в себя пива; потом ему, видимо, опротивел датский эль, и он заикнулся, что неплохо было бы выпить по-русски, чего-нибудь вроде водки, “э май фрэнд ком он ээ”?¹ Он был мне настолько противен, что у меня не было ни капельки жалости, никакого движения в области предполагаемой совести, мне было даже приятно дурить башку этому идиоту.

Однажды он приехал на велосипеде и стал нервно говорить о том, что вот столько времени он был в море, в плавании, вдали от своей деревни, и что самое интересное, вдали от своей жены, и нет ли тут какой-нибудь фамм, чтобы неплохо провести время, эээ... Я сразу же сказал, что это можно устроить, но только это будет стоить минимум сто крон, потому что во-первых, женщина будет белой, настоящая датчанка; во-вторых, втрое больше его, и если он хоть что-нибудь понимает в женщинах, он должен ценить красоту предоставленного ему случая вкушать плод любви с датской женщиной таких невероятных размеров! Он моментально запах потом, казалось, выделившимся во всех потовых железах его истомившегося по любви тела.

У нас была одна отвратительная баба действительно непомерно огромных размеров. Она была похотливая до безобразия; она вообще потеряла человеческий облик, потому что искала удовлетворения с кем угодно и в неограниченном количестве.

Первый раз, говорили, ее подцепил и поимел какой-то тамилец, возможно, даже наш, он ее быстро бросил, а так как, видимо, никто из местных не хотел с ней ничего общего иметь, после того как ее видели с тамильцем (а может, просто вообще и без этого никто

¹ Эй, мой друг, ну давай!

ничего не хотел с ней иметь, потому как все-таки безобразна была она до ужаса), то она стала все время ходить в лагерь и спать с кем попало.

У нее были длинные, свалывшиеся волосы, длинные как гигантские водоросли, или как куски пакли; маленький низкий лоб, с двумя сильно развитыми надбровными дугами; выпученные жабыи глаза, но тонкие выщипанные брови; маленький курносый нос, вздернутый как у смерти; невероятно тонкие губы, и при улыбке (а улыбалась она всем постоянно и как бы украдкой, как бы давая понять, что она не против) обширно обнажались десны и зубы... Ох! Что за зубы то были! Просто покосившаяся изгородь, собранная из кольев! Да, колья! Колья, а не зубы! А на подбородке, который казался каким-то недоразвитым, была ямочка, а под ней сразу же начинался второй подбородок. Сама она была жирная, просто невероятно жирная; она ходила с трудом, ноги у нее были отвратительные, короткие, но ступни длинные! Я часто видел ее крадущейся вдоль кромки футбольного поля. Это ее делало датчанкой, делало ее исключительной. Потому что всем обитателям кэмпса запрещалось ходить через поле, потому что уже и так вытоптали тропу, а поле было настоящее, на нем играли матчи пятой или бог весть какой лиги, а азулянты шли через него, потому что заборов не было. Стали строить забор; сперва повесили табличку, по-английски написав "не ходить!", но на это не обратили внимания и шли; потом натянули проволоку; азулянты потрогали рукой — тока нет, и пошли снова. Теперь ставили забор, натягивали сетку-клетку, но азулянт шел, каждый день срезая!

Мне было непонятно: зачем? Куда они торопились? Зачем спешили? Зачем срезали? Ведь на работу им было не надо! Они ходили в магазин, в который опоздать было невозможно!

Она кралась вдоль кромки поля, эта жирная блядь, шла воровато, виновато, шла с каким-то выражением смутного осознания своей порочности на лице, но она проходила вдоль поля, она не шла по полю, потому что было запрещено! И она не нарушала! И это ее делало датчанкой! Она подкрадывалась к кэмпу, она стояла там, в нескольких шагах от негритянского билдинга, посматривала сквозь окна в кухню, где сидели здоровенные нигерийцы, а потом входила; и вот

уже сидела на коленях у Дональда и гладила его по плечам, трогала грудь... В другой раз она оказывалась в комнате с курдами или сомалийцами; она готова была отдаться каждому, просто так; она была ненасытна, она бы жила тут, если б ее не выгоняли, использовав как резиновую куклу.

И вот я решил продать ее нашему клиенту... Я встретил Гитте в поле, она стояла и курила. Когда она заметила, что я иду в ее направлении, она наклонила голову и оскалилась. Я спросил, что здесь в поле делает такая симпатичная девушка, как она, и не хотела бы она зайти к нам на рюмочку водки; она пошла за мной, как какой-то тапир или корова. Мы выгнали Непалино, погнали его за вином в город, сказали, что сдачу может оставить себе, раньше чем через час чтоб не возвращался! Сами встали за дверью слушать, как негр пыхтит. Но крики Гитте заглушали пыхтение Амбруаза. Хануман хихикал и говорил, что его больше всего смешит в этой ситуации то, что Гитте даже не подозревала о том, что ее драли за деньги! Он это повторил несколько раз, закатывая глаза от счастья: "Гитте стала проституткой, но она даже не знает об этом, уха-ха!"

Через полчаса вышел Амбруаз. Он был весь мокрый, с ужасом в остекленелых глазах. Попросил пива, заплатил за удовольствие. Домой он не смог ехать на велосипеде, он шел пешком. Шел косолапо, чувствовалось, что он испытывал какое-то неудобство в паху, в его облике возникла какая-то надломленность; казалось, что он испытал шок, или сильное разочарование, а может, просто был как-то унижен, потому что не смог справиться с белой.

"Она его просто изнасиловала", — сказал мне Хануман и пошел выгонять ее из нашей комнаты.

В последние дни перед отплытием Амбруаз все меньше и меньше платил, потому что у него все меньше оставалось денег. Но все равно уже не мог остановиться, и покупал у нас, что попало. Под конец он решил расплачиваться с нами французскими франками; я сходил в банк, принес бумажку о том, сколько франков стоит датская корона. У нас был большой внушительный калькулятор, против которого не попрешь, и мы быстро переводили свои цены в его франки, причем чем быстрее мы переводили, тем больше мы с него сдирали.

Получилось так, что он облегчил нам работу; каждый раз переводя на франки, мы с Хануманом завышали цену и сдирали с него чуть ли не в два раза, накидывая сверху еще десяток крон, когда подводили итог всем проданным вещам. Надо было видеть, как неохотно он расставался со своими деньгами. Это было такое жалкое зрелище. У него приоткрывался рот, его улыбка замещалась недоумением, сомнением, подозрением. Появлялась жалобная гримаса, он выдавливал из себя “эгэ”, и еще минут двадцать он переживал разлуку с тем, что еще только что наполняло его карман, с тем, что купюрами шуршало в портмоне. Отдав деньги, он начинал взглядом шарить по комнате, в поисках чего-нибудь такого, что можно было бы прихватить “gratis”, что восполнило бы это чувство утраты.

Однажды он приехал поздно вечером. Потапов на совсем легком морозце жарил курицу у пруда, возле своего дома. Точнее, даже не жарил, а коптил курицу, которую насобирал у контейнера; он так много курицы нашел, что некуда было девать, и он решил закоптить. Кое-что замочили в специях и жарили на углях; пили крепкое вино. Тут Амбруаз появился, сказал, что ему нужен велосипед, даже два, а если три, то еще лучше, но тогда ему нужна скидка и что-нибудь “gratis”, потому что он клиент, все время покупает; создавалось впечатление, что он умышленно покупает больше и больше, чтобы убедить нас в том, что мы обязаны были дать еще больше gratis. Взгляд его пал на факелы. Было темно, довольно темно; мы курили травку и пили вино при факелах, воткнутих в землю. Эти факела Потапов украл из Рими 1000.

“Масляные факела, бамбуковые, — сказал Потапов с любовью. — Двадцать пять за штуку! Ни кроны меньше!” Тот открыл рот: “Ээ вай ма-фрэнд, ту мач, ту мач!” Потапов съязвил: “Ээ вай ту мач? Нормаль, понимаешь, нормаль! Вэри юсфул тинг!!!” — “Йес-йес, — сказал негр. — Мне бы такие в деревню, очень пригодилось бы, дайте мне их gratis, вместе с велосипедами”. Но Потапов отказался пожертвовать их даже в знак вечной дружбы россиян и африканцев.

¹ Э, почему, мой друг, слишком дорого, слишком дорого! — Почему дорого? Очень полезная вещь!

Велосипеды достали, той же ночью, из соседнего городка, даже перекрашивать не стали, перебивать номера на раме, ничего, просто отвезли на корабль, отдали Амбруазу, забрали деньги, нам с Ханни сотню дали. — “Наверняка обманули”, — говорил Ханни. Конечно, обманули...

Амбруаз не успокоился на этом. Явился на следующий день кланчить тележку, в которой мы возили бутылки; уступили довольно дешево. Чтобы как-то смягчить все те подозрения, что его терзали, как-то утихомирить все те тревоги, связанные с торгами, я не удержался и подарил ему пояс со множеством карманчиков для ключей. Я нашел его на свалке, постирал, подшил от нечего делать и подарил его Амбруазу; собственноручно повязал его вокруг талии негра и сказал: “Вуаля, мон ами, абсолюмон гратис!”¹, и самому мне стало приятно. Он так обрадовался, сразу же пустился в пляс, прикрыв глаза, разинув пасть, показывая большие белые зубы. Он танцевал да побрякивал всем тем, что быстренько впихнул за пояс. Потом ходил с этим поясом, и даже походка его изменилась; он так и не снимал его до отъезда. Ушел он через несколько дней, в Африку. Тем же днем, когда Потапов вышел из дома, он не увидел своих масляных факелов.

“Вот черт! — выругался он в сердцах. — Все-таки стянул факелато, сукин кот!”

Амбруаз нам оставил свой факс, сказал, чтоб мы ему написали, обещал написать нам тоже, утверждал, что это ничего не стоит. “Факс!”, кричал он. “Совершенно фри, абсолюмон гратис!” Мы пообещали, что раздобудем факс и обязательно напишем. Он сказал, что пришлет нам список вещей на заказ, потому что придет на следующий год, чтобы купить еще больше товара, и получить кое-что гратис, и побольше гратис, потому что он особый клиент! Эге, постоянный! Все говорили “йес-йес”, улыбались, пожимали его руку, выражали видимость надежды на то, что увидимся на следующий год, мон ами. А потом он, оказывается, вернулся, прокрался к дому Потапова, и стянул факела! Видимо, сам он не верил, что увидится с нами на следующий год.

¹ Вот, мой друг, совершенно бесплатно!

Никто из нас в это не верил тоже; никто не верил, что продержится в Фарсетрупе так долго. Да никто и не хотел в это верить! Никто не хотел сидеть в этой дыре целый год! Никто не хотел видеть Амбруаза снова, чего бы то ни стоило! Пусть он даже купил бы все дерьмо, которые мы насрали бы за год! Даже по самой фантастической цене! Все равно никто не хотел его видеть! Все хотели бежать, все тайно завидовали тому, что он уходит, все тоже хотели уйти... Кто куда... Потапов бредил Канадой. Дурачков — Австралией. Хануман рвался в Голландию, но мы не успели. Грузовик уехал прежде чем мы успели развести Амбруаза. Хануману пообещали, что сделают паспорта за пять месяцев. Попросили деньги вперед. Он дал половину. Сказал, что будет ждать, когда голландцы опять снаряжаются ехать. Через пять месяцев Хануман обещал заплатить оставшуюся половину. Я сказал, что за меня может не волноваться. За меня он может и не платить. Я как-нибудь перебуюсь. Я был согласен идти пешком. Пока ему сделают паспорта, я дойду до Германии. А оттуда рукой подать. Мне все равно, сказал я, готов идти куда угодно, лишь бы куда-то идти, и как можно дальше отсюда. Хануман посмеялся над моими словами. Сказал, что он чувствует себя неловко, за то что за меня взнос не сделал. Я его опять успокоил. Он потупил нос в стакан и сказал, что мы обязательно и для меня заработаем деньги на паспорт. Можно, мол, заняться контрабандой в Германию, раз уж я собираюсь в Германию. Я призадумался. Хануман сказал, что тут как раз есть один афганец, который собирается в Германию. Шах-Махмуд... Я еще крепче задумался.

Посоветовавшись недолго (минут двадцать), мы встали, собрались и пошли в Германию.

6

Шах-Махмуд долго жил в России. Это сказалось на нем очень дурно, это его испортило. У него было три высших образования, и все российские, и все липовые, как я думал. Одно из них медицинское;

это уж точно было липовым, потому что он не знал элементарных вещей: не знал, например, в чем разница между физиологией и анатомией; думал, что это одно и то же! Он также думал, что анаболик и антисептик тоже одно и то же. Лечил своего ребенка аспирином от всех болезней. Впрочем, даже тут он часто путался: он говорил то аспирин, то аналгин. Впрочем, ребенок был не его; может, и жена, с которой он проживал в кэмпе, которая проживала чуть ли не с каждым желавшим с ней попроживать, была не его. Она была с Украины, пила как мужик, голос у нее был хриплый, у нее были огромные сильные руки, которыми она постоянно мяла тесто или фарш; одевалась она всегда в одно и то же; говорила с “хэ” и “шо” и была распространителем заразы. Зараза, которую она распространяла, это была дюжина книг Марининой, которые расползлись моментально по всем русскоязычным (даже грузинские и армянские женщины читали, я сам видел), а так же видео- и аудиокассеты, со всеми новогодними огоньками, фильмами вроде “Брат”, “Ширли-Мырли”, “С легким паром”, “О бедном гусаре”... Из-за нее почти в каждом билдинге орала Буланова, надрывались Иванушки, Стрелки, Блестящие, Золотинки, Конфетти и подобное. Нестерпимо хотелось бежать, и бежать без оглядки!

Шах-Махмуд когда въехал, первым делом увешал всю комнату коврами. Говорил, что без ковров жить не может. Комната без ковра — все равно что тюрьма! Но даже в тюрьмах у них есть ковры! Уж кто-кто, а он знает! Он во всех тюрьмах побывал! Разумеется, он нагло врал. Потому что по нему было видно, что всю жизнь он как сыр в масле катался, и все никак не мог остановиться, все катался да перекатывался, из страны в страну, от женщины под бок к другой бабе, и все не был доволен. Ругал Данию: народ и климат. Находил какую-то связь, зависимость первого от второго. Много говорил о коврах: у них в Кабуле, на главной рыночной улице выстилают ковры прямо на дороге. Чтобы по ним ходили люди и ездили машины, чтобы пыль впитывалась волокнами. Он еще, оказывается, и знатоком технологий текстильного производства ковровых изделий был! Ковры должны в пыли валяться, от этого они якобы становятся лучше. Ну... Прямо как в поговорке: не поваляешь — не постелешь!

Стелил он мягко, кормил всякими байками, говорил о русских женщинах: они такие легко на все идущие, на все согласные, не то что датские; датчанка-то в ноздрю кольцо вставила, сигарету закурила, а что толку-то? О женщинах и коврах он говорил почти одинаково: не поваляешь — не...

Он шел в Германию, чтобы оттуда уйти в Голландию. Я тут же предложил Хануману идти с ним до конца, но тот вдруг сказал, что без паспорта не за чем идти в Голландию. Я выпучил на него глаза. А он зашипел на меня: "Я уже заплатил за паспорт, уже взнос сделал..." У него были сумасшедшие глаза от обиды. Я не понимал, что его больше держит на этом свете: тяга к перемещению в пространстве или желание обладать документом, который позволял бы законно или полузаконно пересекать границы. Шах-Махмуд не дал нам поспорить как следует. Хотя у меня горело. Я жаждал потрясти Ханумана, расспросить его о том, что для него важнее: бумажка, взнос за которую он сделал, чтобы потом в грузовике ехать в Голландию, или сама Голландия, без каких либо взносов. Я готов был двинуть в Амстер немедленно. Мне не надо было даже для этого думать. Я ничего за спиной не оставил, чтобы возвращаться. Я готов был ехать. Меня вдруг взбесил Хануман своей кислой миной. Он скорчил такую рыбью физиономию, точно у него стухло что-то внутри. Он не думал, что следует двигать в Голландию. Я внутри закипел. Как это так! Он собирался в Голландию, а тут он идет в Германию, со мной как бы за компанию, попить шнапсу, что ли? Вместо того, чтобы с афганцем сразу дернуть в Голландию! Как это так?! Я потянулся закурить. Но мы сидели в некурящем. К тому же вокруг было много порядочных пассажиров. Не стоило громко спорить. Но я кипел. Паузу заполнял Шах-Махмуд. Он все плел какие-то басни. Рассказывал, что в Германии у него квартира. Я подумал: и в той квартире, наверное, другая жена, если не несколько. В Германии, оказывается, уже лет семь назад ему дали статус беженца, он получил вожденное убежище, и социал капал на счет. Но этого ему было мало! Поэтому он ушел в Данию, чтобы получать там покеты-мани. Очень удобно! В Германии в банке капает социал! А он в это время в Дании получает азулянтские карманные деньги! Слезы, конечно, но копейка рубль

бережет! И пока установят, что он получил статус беженца в Германии, пока по пальчикам пробьют, кто он такой на самом деле, он две тысячи датских в месяц кладет в свой карман! Хорошие деньги! Тем более, что он их почти не тратил! Так как жил на деньги своей мифической украинской жены, которая и обстирывала его, и готовила ему, и полный сервис: все в одном лице, как Шива! Он уже успел съездить в Норвегию и Швецию, там тоже отхватил немалый кусочек, положил на счет. Теперь пойдет в другом направлении, в Голландию. Поживет с полгодика там, снова кое-что отложит на счет. Да заодно и мир посмотрел.

Говорил он всю дорогу, понизив голос, стараясь не привлекать к нам внимания, но говорил настойчиво, настойчиво и постоянно, просто не затыкаясь: в Норвегии скучно, заслали его на север! На самый север! На край Земли! Где льды не тают даже летом! Солнце по ночам светит! Пингины по улицам ходят! Морские котики ползают! Что за земля! Что за люди! Все сонные! Тупые! Ленивые! А пингины там у них приравнены к гражданам! Занесены в регистр! Снабжены электронным чипом! У них, наверное, даже паспорта есть! Во всяком случае, поставлен на учет каждый, это точно! О них заботятся лучше, чем о людях! В Красной книге все-таки! Это тебе не в Красном Кресте!

Мы с Хануманом зевнули до неприличия одновременно, а тот продолжал: "Конечно, и в регистре, и всюду они прописаны! Как в Германии, знаете, каждая собака тоже поставлена на учет! В каждую собаку не то что вживлены чипы, но даже по собачьему дерьму полицейский на улице может определить, чьей собаке дерьмо принадлежит! И хозяину потом присылают штраф! За собаку! Как за машину, как за стоянку, понимаете? Не верите? Как! Это же просто! Собак кормят таким особым кормом, который при прохождении сквозь желудок и кишку собаки приобретает электрический заряд, свойственный только данной собаке! И когда дерьмо вываливается, оно посылает сигнал! И каждая собака свой сигнал имеет! Перепутать невозможно! Поэтому и дворнику, который собачье дерьмо собирает, легко это дерьмо собирать, так как у него специальный прибор имеется! Он его только включит, да едет себе

на машинке, зевает, а прибор уловит сигнал, замигает, дворник остановится, дерьмо заберет, но при этом определит, чья собака, имя-адрес-порода, все в его аппарате высветится! И потом только шлют по интернету штраф хозяину! Вот так! А в Норвегии до этого еще не додумались! Но пингины у них уже ходят по улицам! Да, сам видел! Они у них там, надо сказать, совсем, как люди! Это не собаки! Что ты! Пингвин такой же умный, как и дельфин, даже еще больше! Он почти как человек! Он вертикально ходит! А дельфин не ходит! Он же плавает! Рыба! А пингины прямо ходят, как люди! Даже бегают! Идешь по улице, смотришь, а тебе навстречу — пингвин, идет так вразвалку, пыхтит, ты ему “гуд морген, мистер”, а он так небрежно клювом так-так-так, вроде как отвечает и “вам того же!” Но холодно там, скучно... зато сияние видел, ничего особенного... так, плавает свет по небу, делов-то...”

Шах-Махмуд был известная личность; он был важная персона; его преследовали за его книги; ведь он написал несколько книг, на урду и фарси, мог бы и на хинди, потому что неплохо знал и этот язык тоже... Вообще: знаток языков! Пальцев не хватило бы, чтоб пересчитать, сколько языков он знал! Уже вот почти написал записки путешественника — “Европа глазами беженца из Афганистана”! Это не шутка! Это эпическая панорамная книга! Книга времен целых народов и энциклопедия политических интриг! От больших дядь вроде Брежнева и Рейгана до маленького мальчика! Тяжелая судьба, во многом автобиография, про то, что сам видел и что сам перенес на своей зарубцевавшейся шкуре; герой книги и он же повествователь — афганец, контуженный, переболевший всем на свете от тифа до чумы, никого на белом свете нет, всех русские вырезали у него на глазах, ему тринадцать было! Ужасы войны и блеск натертого башмака европейца! Вонь лагеря и пасхальная хрустальная чистота в магазинах! Голод в родной стране и изобилие на помойках в Германии! Талибан там и демократия тут! Контрасты! Противоречия! Дезориентация! Смятение духа! Негодование! Тоска! Герой не может принять психологию европейской подружки; учится жить тут, но тянет домой, ностальгия опять же; любовь и ненависть! Сладкий яд, изгнание из рая через ад войны в сады земных наслаждений, где за-

живо разлагаются женщины! Где сводят с ума наркотики! Где дискотеки, бары, проститутки и стриптиз! Чужой странный язык, странные люди, сам странный, чужой в чужой стране, и прочее, и прочее...

Он говорил, он болтал всю дорогу, говорил, что такая книга может быть интересна не только на Востоке, но и на Западе, и спрашивал: "А вы как думаете?"

Да-да, говорил Хануман. Я тоже кивал: конечно, май френд, конечно...

Мы с Хануманом ехали по билетам, которые нам продали за третьи цены типы, которые бежали в Швецию; их вызвали в Копенгаген на какой-то допрос; они уже знали, что их закроют, что это была уловка, и решили рвать когти. Продали нам билеты и умотали; мы поехали с Шах-Махмудом, он обещал нам показать, где надо пересекать границу, потому что он мог пройти все границы Европы с закрытыми глазами! Я проклял это совпадение; лучше б мы поехали без него! Он мне не давал спать; у меня разболелась голова; она стала болеть еще больше, когда он вложил в нее свою версию истории Афганистана, свой взгляд на развитие катастрофы в стране после ошибки Брежнева, свой прогноз на будущее родной страны, которой оставил не белое, но черное пятно на карте, именуемое Талибаном! Обо всем этом он тоже писал в своей книге, которую писал на английском, да! Букеровская премия в кармане! Такого еще никто не писал! Это вам не арабская семейная хроника! Не книга про эмигрантов какой-то там, кому там дали Пулицеровскую премию, двух слов связать не может!

Я не мог этого слышать больше! Меня это нервировало: оказывалось, столь многие пишут! Чуть ли не каждый третий! Каждый, кто хоть сколько-то умеет писать! Чуть научился попадать по кнопкам, так сразу же пишет! И пишет не что-то там, а книгу! И не какую-то там, а эпопею! Да! Каждый второй! И уже метит на Букера! Каждый второй! Пишет или уже написал, или вот-вот напишет книгу!

Он провел нас тропой, шепча всю дорогу о том, что немцы, если увидят кого-то, спускают собак. "Но не бойтесь, — успокаивал он. — Эти собаки так адресованы, что они не кусают, а только прикусывают. Схватят за лодыжку и держат. Держат, но не прокусывают.

Не прокусывают, если не дергаешься. А если дергаешься, то может и прокусить. Так что лучше не дергайтесь, если что. И поднимайте руки на всякий случай. Если что, сразу же руки поднимайте. Потому что были случаи, когда стреляли. И правильно делали. Потому что в них самих стреляли. И не один раз. Так что они могут стрелять, если рук не увидят. Мало ли что у тебя в руках. Я их прекрасно пони-
маю. Я бы сам тоже стрелял!”

“Понятное дело”, — сказал Хануман; я поджал губу...

Под утро мы вышли в какой-то городок, в котором не было ни одного дешевого супермаркета. Мы вышли на платформу станции. Афганец собирался сесть в поезд для дальнейшего продвижения (сперва к себе заскочить, а потом в Голландию). Я еще раз попытался ущипнуть Ханни и предложить ему двигаться дальше, в Голландию. Хануман безразлично-раздраженно дернул плечиком и сказал: “Если хочешь, давай, иди с Шах-Махмудом, удачи, а у меня деньги в Дании”. Мне так обидно стало. “Какие деньги?! Какие деньги, Хануман?!” Но он не слышал и не хотел слушать меня. Он выпятил губу, он ссутулил плечи, он зябко закутался в свою куртку, он закатил глаза, закурил сигарету и ничего не желал слышать. Я оправдывал его нерешительность и идиотизм только тем, что он настолько сильно замерз, что сама мысль о Голландии была для него невыносима. Так тяжело ему далась граница с Германией. А в Голландии надо было еще искать, где кости бросить. Об этом он не мог думать. Я сказал, что отдохнем у Шах-Махмуда, а дальше как-нибудь. Но он опять сказал: “Не со мной”. Я коротко его послал на четыре буквы, отошел. Они трепались на своем в стороне, как-то лихорадочно жестикулировали, что-то по-обезьяньи обсуждали, кивали друг другу, как болванчики. Затем афганец подошел ко мне, по-русски пожелал удачи и всего хорошего, махнул нам рукой и со словами “ха де со бра!”¹ поехал в Штутгарт, поездом с ядовитыми желтыми занавесками и редкими смертельно скучающими лицами. Мы сели на первый попавшийся поезд, который грозил развалиться под нами, прыгал и скакал, охал и ахал, но кое-как довез до черт знает какого

¹ всего хорошего (шведский)

городишка. Я думал, что мы углубились в тело Германии. Меня это немного интриговало. Я думал, что чем глубже мы вклинимся в Германию, тем больше шансов, что мы в ней увязнем. Может, встретим кого, может, зависнем и уже не вернемся в Данию. У Ханумана вырабатывается такой же рефлекс, как теперь. Может, в Германии нам будет сопутствовать удача. Так обычно бывает. Когда у тебя непруха в одной стране, надо двигать в другую, там поначалу все будет как надо. Я слышал, что игроки так меняют казино, и им везет.

Мы разменяли деньги. Нашли супермаркет. Накупили дешевого шнапса и сигарет. Старались покупать не так много за раз. Чтобы не вызывать подозрения. Мало ли что. Шастают тут всякие в приграничных городках. Один черный... Немцы народ подозрительный. Стуканут еще. У каждого мобильный... Чего стоит набрать номер... А чего им стоит подъехать аусвайс проверить?.. Поэтому не засиживались на скамейках; часто перемещались; покупали в разных магазинах. И покупали всюду умеренно. Входили поодиночке. Один оставался снаружи, с полным кешаром. Другой входил закупаться с пустым. Не станешь же с полной сумкой шастать по магазинам. Могли остановить, проверить сумку, и потом докажи, что не краденое. Даже если и чеки есть... Если есть чек, зачем сохранил, спрашивается? Знал, что могут допросить? Значит, уже соприкасался с законом? А документ есть? Ага, и вообще, что ты можешь доказать, если у тебя нет документов! Тут уж не станут разбираться: украл ты шнапс или купил честно, — документов нет, и разговоров нет! Я нервничал... О, как я нервничал! Как страдал! Меня тошнило, я был как больной. Меня трясло, знобило, уже так есть хотелось, что я потребовал, просто потребовал незамедлительно купить и выдать мне мою порцию хлеба с салатом! Желательно итальянским! Когда я проходил мимо немецких колбасок, у меня невольно тянулись руки и в животе начиналась такая органная музыка, что даже Бах рядом не стоял!!! Я настаивал, просто требовал, чтоб к салату Ханни купил мне дешевый бекон! Пусть самый дешевый, мне до балды! Но бекон, бя! Какой угодно! Но Хануман холодно отказал мне в просьбе. Он украл хлеб и купил нам по пиву. А я незаметно от него украл пачку сыра.

Мы, кажется, сели не на тот поезд, или проехали одной останов-

кой дальше, и черт знает в каком направлении! Целый день ушел на то, чтоб найти приграничный городишко. Мы болтались по черт знает зачем и для кого (ведь ни одной машины за три часа не проехало!) натертым до блеска асфальтовым дорогам в каких-то полях, обдувавшихся таким пронизывающим ветром, что пришлось, просто пришлось открыть одну бутылку шнапса! Мы пили его прямо из горла, чтобы не подохнуть от холода! Но он не грел, сука! Ни хера, сука, не грел! Еще хуже делал! Как только он проникал внутрь, такой мороз шел по всему телу изнутри, будто там не водка, а кислота была какая! Я индивел! Просто индивел! Потому как сам шнапс-то был такой замерзший, такой он холодный был, что с трудом руки держать его могли. Такой он был замерзший, что не капал и не тек, не лился в глотку! И слава богу, что не лился! Я вовсе и не хотел его пить! Такой он холодный и ядовитый был, что мама не горюй! Им не то что согреться, им растереться нельзя было бы! Когда Ханни глотал, я на него даже смотреть не мог. Мне страшно и жутко было, как если б я присутствовал при самоубийстве. Когда пил сам, я давился; меня душил этот отвратительный шнапс... Он в меня втекал, как желе для волос, он плавно забирался в меня, он медленно протекал по глотке, он останавливался. Надо было сглотнуть, и тогда он подкатывал обратно, просясь наружу. Любой самогон, даже на том мерзком датском мармеладе, которого натаскал на помойках Степан, даже тот был лучше, чем этот дешевый шнапс. К тому же я так есть хотел, будто не ел три дня! От шнапса резало в животе, так резало, будто мне уже аппендицит резали, и от этого хотелось жрать еще больше. Кроме того, у меня болели ноги, которые я промочил в глубоком снегу, когда мы пересекали границу с Шах-Махмудом.

Мы долго шли до леска по каким-то рельсам... Было очевидно, что мы сбились с пути. Но Хануман настаивал на том, чтоб идти по рельсам; ему не хотелось идти в лес. Потому, сказал он, что в лесу проще потеряться. Я сказал сквозь зубы, что мы давно потерялись, и если мы идем по рельсам, это не значит, что мы идем в верном направлении, и не потерялись. Но он продолжал утверждать, что мы идем в том направлении, которого необходимо придерживаться, чтобы не сбиться окончательно, потому что если мы

начнем плутать в лесу, то мы точно потеряемся окончательно, а так мы хотя бы идем по рельсам, которые когда-нибудь куда-нибудь нет-нет да и выведут!

“И вообще,— сказал он оптимистично.— Скоро будет река! А за ней поле! А где поле, там и Дания! Потому что Дания — это маленькое фермерское государство!”

Он, видите ли, отлично помнил, что мы шли мимо поля, про которое еще грузины рассказывали, что на нем бычки осенью паслись, и видел издалека железнодорожное полотно, по которому боялся идти Шах-Махмуд. Потому что по нему патрулируют пограничники! И все его много раз предупреждали, что есть-де железнодорожное полотно, по которому лучше не идти, потому что могут поймать.

“Так вот теперь мы и идем по этому полотну,— с уверенностью сказал Хануман,— но никто нас не поймает. Потому что пограничники же не идиоты в такую погоду вылезать. Хэхохо! Им что, надо это, что ли? Они сидят в будках и пьют свой шнапс. Пьют шнапс и играют в карты!”

Я сказал, что так делали немцы в американских фильмах о второй мировой, а нынче все иначе!

“Так что это, давай двинем в лес поскорее!”

“Нет, нет,— упирался Хануман.— Нет, ни в коем случае! Мы же сразу потеряемся! Как ты не понимаешь!”

Но тут послышался лай собак и Хануман сломя голову бросился в лес, а я за ним. Рюкзаки были такие тяжелые, и что самое страшное, бутылки стукались друг о друга; звук был отвратительный. Умопомрачительный звук! Я никогда не умел укладывать рюкзак, но рюкзак Ханумана был такой музыкальный, что у меня даже зубы сжимались! Настолько явственно мне воображалось, что бутылки могут разбиться! И шнапс, воображалось мне, потек бы у него по спине! Брр! По пояс в снегу мы переходили какую-то поляну; снег падал и падал, перечеркивая пространство, будто занавесом закрывая перед нами дорогу; за спиной стоял лай, который шел как бы наискось, не по пятам; мы торопились; снег падал, чертил, сыпал, влезал в глаза, набивался в рот, можно было захлебнуться в снегу, овладевала страшная слабость, дурно было, как во сне, мы спешим-

ли под снег, успеть под этот закатывающийся перед нами обмороком свободы занавес; неба не было; небо и поле сливались; снег соединял и небо и землю; и мы бежали, не то по земле, не то уже по самому небу, и такой снег под ногами был пушистый, что не чувствовалось земли совершенно; снег сыпал и подгонял нас; я не видел спины Ханумана. Но кому надо, те нас, конечно, видели хорошо. Я думал, что нас могут запросто пристрелить; если афганец не врал, что они могут стрелять. Ханни пристрелят первым, подумал я, потому что он черный. Ведь это же увидят в прицел. Какой там он у них, диоптический, что ли. Конечно, индуса пристрелят первым. Они, черные, тамильцы-бенгальцы-индусы-пакистанцы-турки-грузины-армяне-все-все тут все время шастают, а я — белый, может, и не станут в белого стрелять?

Но никто стрелять не стал... Вышли к реке, по пояс мокрые; остановились, потому что я стал блевать, упал на колени, не смог дальше, мои ноги скрутили судороги, я не мог сделать шагу, ноги крутила судорога, при этом я еще и блевал; так на коленях простоял, пока не отпустило. Потом посмотрел на медленную реку и сказал, что теперь все равно, можно реку и вплавь переходить, все равно насквозь мокрые, *no fucking difference*... Хануман захохотал и пошел вдоль реки. Шел он тоже как пьяный, его ноги проваливались в грязь, его мотало из стороны в сторону. С этим тяжелым рюкзаком, он шел, как космонавт или кукольная игрушка заводного космонавта, шагающего как бы по Луне.

Шли так долго. Шагали, выдергивая ноги. Очень тупо и безнадежно продвигались вдоль реки неизвестно куда. Было так тяжело выдергивать из грязи ноги, что даже не разговаривали. Так долго шли, что можно было десять границ пересечь. Снег перестал есть и царапать лицо; установилась странная тишь. Нашли наконец-то поле, вытопанное, с какими-то навозными кучами, поле, полное дерьма. Решили, что мы уже в Дании. Пошли через поле, спотыкаясь о замерзшие лепешки навоза. Поднялся ветер, который толкал, отбегал, нападал снова, как пес какой-то. Я сказал, что, возможно, вот на этом поле по осени можно грибки собирать.

“Да, — согласился Ханни, — если быки близко подпустят...”

“А где они сейчас, Хануман, как ты думаешь?”

“Черт его знает... Уж в такой холод стоят, наверное, в стойле и сено жуют...”

Но оказалось, что и в такой холод в Дании, в этом замечательном “маленьком фермерском государстве”, быков тоже иногда выгоняли ненадолго в поля, потому что (как мы выяснили потом) в такой холод сало быстрее превращалось в мясо. Топот наступал на пятки, быки дышали в спину, как у Хемингуэя, сердце стучало еще быстрее, еще оглушительней; я не знал, что разорвется первым: мое сердце или тело, которое разорвут на части быки! Я не любил корриду, да! Не любил убийство животных, да! Но вот они, такие твари тупые, растопчут и не подумают, изорвут на части рогами, и даже не затем, чтоб съесть! Так почему ж их тогда, думалось мне, не кончать на корриде, если они такие тупые и злые? Пусть на потеху народу кончают! И саблями, и кинжалами этих тварей безмозглых! Ведь большая их часть бежала за моей спиной и даже не понимала, ни куда, ни зачем, ни за кем бежала, а просто по инерции — один побежал, а за ним второй, и третий, и побежали; а может, не только по инерции, но и чтобы согреться... И когда перепрыгивал через проволоку, подумал: “Никогда не поеду в Мадрид на тот праздник! Как он у них там зовется? Когда выпускают быков на улицы и бегут, и бегут, и бегут...” И опять блевал, уже желудочным соком, а в трех метрах за проволокой стояли быки, и вонь от них шла, стояли они, твари тупые, за проволокой, которую могли бы запросто порвать, но не шли, стояли и воняли, били копытом землю, а я блевал, давился, кашлял своим желудочным соком, аж до белых вспышек в глазах. Сознание закатывалось, так меня выворачивало...

Наконец под утро вышли к деревне; в первом же дворе висел флаг, датский флаг.

“Ну, что я тебе говорил!” — сказал Хануман и издал свое победное “Хэхахо!”. Я положил в рот последний кусочек сыра. Ханни посмотрел на меня и спросил, что это я в рот такое положил; я сказал, что так, ничего особенного, просто кусочек сыра...

Он сказал:

“Ах ты сукин сын! Ах ты хитрожопопый сукин сын, твою мать! Я всю

дорогу думал, что мне казалось, что ты там что-то тихонько жуешь, так ты и правда жевал всю дорогу сыр!"

Я сказал, что это был мой сыр.

"А хлеб, который мы съели вместе, это был, наверное, общий хлеб?"

Я сказал:

"Да! Ведь мы безмолвно решили, что это был общий хлеб!"

"А тут ты — безмолвно — решил, что это был твой и только твой сыр! Сукин сын! Сукин сын, мать твою!" — и добавил что-то на своем...

"Вот это!.. — разозлился я. — Попрошу перевести, переведи! Пото-му что я не потерплю вот этого! Мы же договорились, что будем гово-рять только на тех языках, которые оба понимаем!"

"Да, но вот такого я не понимаю! У тебя был сыр! Сыр! Мать твою! И ты его съел! Один! Один!"

"Ну, ты все равно не так любишь сыр..."

"Что значит — "не так любишь"? Я что, люблю сыр как-то не так, как ты? Я что, его люблю как-то извращенно, что ли?"

"Не так чтобы очень..."

"Ах не так чтобы очень? Сукин сын, съел сыр и мотивирует это свой сильной любовью к сыру и моим недостаточным чувством любви к сырам! Хитрожопый сукин сын!" — сказал он, присовоку-пил оскорбительное датское слово "fedterøv"¹ и добавил еще что-то на своем...

"Требую перевести!"

"Пошел ты! Мы теперь в Дании! Иди куда хочешь! Нам в разные стороны! Я не хочу идти в одном направлении с человеком, с кото-рым я делю все, все!!! А он тайком от меня жрет свой сыр, зная, ка-кой я голодный..."

"Ты лучше переносишь голод, Хануман..."

"Я лучше переносу голод... Вот это аргумент! Я лучше переносу голод... я люблю сыр не так чтобы очень и лучше переносу голод... Я этого слышать не хочу! Так же как и о твоей маниакальной любви к сырам! Я подлеца от всех болезней лечил! Я стирал его нижнее бе-

¹ smart ass на англ. с датс. — хитрожопый

лье! Натирал кремами и делал массаж! Я вылечил его больные некротические ноги индийскими травами! А он — неблагодарная скотина! Он утаил от меня сыр! В такую минуту! Когда за нами собаки, и быки, и голод и страх, сукин сын тайком ест сыр, сукин сын!” — и снова добавил что-то на своем...

“Ладно, хватит ныть! Купи себе сыр и съешь его! Или хочешь, я тебе украду чипсы?”

“Нет, не чипсы! Сосиски! Укради мне сосиски! Пачку! Десять штук!”

“Хорошо, сосиски... Сосиски-хуиски...”

“Переведи, что ты там бубнишь под нос!”

“Я сказал: да-да, сосиски, твою мать...”

“В первом же магазине!”

“Хорошо, в первом же...”

“Чтоб тебя сцапали...”

“Да пошел ты...”

Мы зашли в супер-спар; он купил чупачупс, более смешного предмета для отвода глаз он выбрать не мог; он был самый дешевый, самый скользкий для отвода глаз, самый ничтожный. И самый быстро покупаемый; у меня не было почти ни секунды, но я все же успел взять сосиски! Мы отошли в сторонку, встали в тихом месте, никто нас видеть не мог, выглянуло солнце, как слепое око, просто бельмо в глазу неба; у меня засосало в желудке, когда Хануман зубами хищно порвал обертку пачки, и достал первую...

“Ты что, теперь все десять сожрешь один?”

“Да, один! Ты же съел сыр один!”

“Слушай, сыра был вот такой кусочек, а тут десять сосисок! И тогда мы были не так голодны, как теперь! Сколько времени прошло! Может, одну хотя бы оставишь?”

“Нет! Не оставляю! Ни одной! Это тебе будет урок!”

“Ладно, жри свои сосиски, проклятый ублюдок...”

“А ты, ты соси свой чупачупс! Хэ-ха-хо!!!”

Мы сбились с пути, когда искали автобусную остановку; долго шли, и дошли к середине дня к другой деревне, — несколько ферм, разбросанных по холмам, бензоколонка и площадка для петанка, над которой висел немецкий флаг...

“Драть их!” — взвинтился Хануман. Он даже подпрыгнул на месте. Топнул обеими ногами, и взмахнул руками как недоразвитыми крылышками: “Ну ты глянь! Что это такое за драть твою мать! Мы что, опять в Германии? Драть их, сукины дети! Ну и куда теперь?”

“Надо побыстрее убираться, смотри, мужик какой-то в садик вышел, смотрит, пошли, Ханни, пошли... У каждого есть телефон...”

Мы шли еще пару часов и вышли к другой деревне — с датским флагом.

“Ну, все в порядке, — сказал Хануман, охладев. — Я же говорил, что со мной не пропадешь!” Но через час история повторилась: мы вошли в деревню с немецким флагом; это был какой-то картографический парадокс, — настоящий лабиринт!

“Может, они вешают флаги по национальной принадлежности? Может, просто в том доме немец живет, но живет он на датской земле, а?”

“Да черт их знает, нахуевертили черт ногу сломит!”

“Они эту землю наверное раз триста проигрывали и выигрывали друг у друга в карты!” — выдвинул предположение Хануман.

“Ага, точно... Потому и флажки понатыкали, то те, то эти... Давай идти дальше, как грузины шли, топай вперед, Земля круглая...”

Еще две деревни с датскими флагами. Небо успело снова потемнеть. С трудом видно было, куда бредешь. Призраками вышли к дороге со знаком какого-то городка в тридцати километрах, в названии городка различили датский диакритический знак — “å”, и отлегло...

“Мы дома”, — сказал Ханни; мы спокойно пошли вдоль дороги. Я шел за ним и снова закипал. Меня взбесили его слова. “Мы дома”. Что значит “дома”, черт подери! Какой к черту “дома”?! “Дома” говорят грузины, когда героин разбежался по венам, вот тогда они цедят сквозь гнилые зубы: “до-о-ома...” Я не видел ровным счетом никакого смысла ни в его словах, ни в нашем путешествии в Германию. Меня Ханни взбесил это фразой. Еще бы сказал: Alamo... Вообще! Бестолочь! Во всем не было никакого толку. Я завелся, и с места в карьер:

“Что ты имеешь в виду? Почему это мы дома? Почему Дания для нас дом? Зачем мы не остались в Германии? Мы могли бы жить

в квартире этого афганца! Он же предложил нам и работу, и крышу! Сам он там не живет; мы бы жили там, в его квартире, работали бы в индийском ресторане, жрали бы бесплатно то, что урезали бы себе в рот от блюд, подаваемых на стол, пили бы дешевое пиво! На кой хер нам Дания нужна? Зачем тебе Дания?”

“Не знаю... Я же оставил какие-то деньги в фарсетрупском лесу, в бутылке...”

“Во-первых, ничтожная сумма, я в этом уверен. Во-вторых, теперь мы знаем дорогу. Мы можем взять эти деньги, найти Махмуда, пока он не укатил в Голландию, осесть у него, пожить в Германии!”

“Посмотрим, — лениво сказал Хануман. — Если будет нечего делать в Дании, поедem в Германию, а сейчас я хочу есть и спать, есть и спать...”

Но только к следующему утру мы дотащились до какого-то городка, в названии которого и был тот диакритический знак, а в самом городе было здание полиции, похожее на музей; библиотека, похожая на почтовое отделение; почта, похожая на библиотеку; музей старинного отдела полиции, в котором, как разобрал Хануман на медной плите, прикованной к зданию, были казнены первые жертвы второй мировой; и железнодорожная станция, но поездов не было.

Мы бесцельно шатались по пустынным улицам, как в каком-то сне. Я уже был полумертвый. Было раннее промозглое утро; кажется, суббота. На улицах было много мусора, наметенного оргией. Стояли забытые столики возле кафе, с оставленными бумажными тарелками, бокалом, пустым и надтреснутым. На одном стуле лежала шапка с колокольчиком. Катались картонные стаканчики от кока-колы. Стояли оставленные пивные бутылки, которые еще никто не собрал. Они стояли, как не сбитые и забытые кегли. Иногда с недопитым пивом. Стояли они почему-то преимущественно под фонарями. Наверное, потому что о фонари опирались, ставили бутылку на асфальт, чтобы вспомнить — у фонаря, у того поставил, и забывали... На одном фонаре вяло болтался оранжевый, голландский шарфик, эта деталь здорово очеловечила фонарь, и снова что-то кольнуло у меня внутри (Голландия, бля!). Благодаря этому шарфику фонарь стал как

какой-то мультипликационный персонаж. Зеленые пивные бутылки поблескивали, маня своим темным стеклом. Я подошел к одной и поднял; больше половины оставалось... Я тихо сказал: "Мне плевать — я хочу пить", и выпил. Хануман скорчил брезгливую гримасу; он даже отвернулся, чтобы не видеть, как я допиваю.

Мы шли вдоль улицы; я подбирал бутылки, клал их в пакет. Ханни пинал пробку. На картонке возле урны лежал подмороженный кусок недоеденной пиццы, виден был грибок, красиво расплылся томат, будто улыбаясь пьяной бессознательной улыбкой. Я так хотел есть, что поднял этот кусок и впился в него зубами. Я бы не мог идти дальше, если б не съел его!

"Хэх, — издал некий невыродившийся в смех звук Хануман. — Ты от брезгливости не подохнешь", — сделал заключение он. Пицца была деревянная, совершенно замерзшая, даже грибок, он был просто резиновый, томат кислый. Я исполосовал себе рот, поранил десны...

Когда мы сели в поезд и проехали пару станций, в животе у меня началось черте что; я несколько раз бегал в туалет. Когда мы приехали в Фарсетруп, я проспал целые сутки...

Проснулся от судороги в ноге и совершенно больным: у меня снова болели гланды, была легкая температура, ломило все тело, и жутко хотелось в туалет. Хануман снова проветривал помещение, утверждая, что я невыносимо пускал газы во сне, отчего просто невозможно стало дышать. Я сказал, что мне бы чайку, с молоком, потому что у меня гланды и температура; медку бы. Но Потапов решил меня на этот раз лечить шнапсом, который никто не хотел покупать, и он решил меня им лечить, только затем, чтоб самому к шнапсу иметь доступ, да так и прикладывался все время, ходил не пьяный, но веселый, под шафе, и напевал какую-то гадкую песню. Когда я спросил его, что это он напевает, он важно сказал: "Мумий Троллы!" Я переспросил: "Чего-чего?" — "А ну тебя", — махнул он рукой и пошел по коридору, напевая дальше.

Мы сперва начали продавать купленные в Германии сигареты, а потом поняли, что выгадать ничего не получается. Ханни сказал, что мы все равно сами курим, а если мы продаем наши немецкие

сигареты дешево, а потом покупаем датские за столько, сколько они тут стоят, а стоят они дороже немецких, то где выгода? Больше убытка! Проще курить немецкие и не покупать датские! Логика была железная, голова у него работала как часы, как компьютер! Мы прекратили торговлю и стали курить сами, да так набросились, что прикуривали одну от другой. Сигареты были какие-то очень сухие. Они просто сгорали, как солома. Иван даже стал их подлечивать влажным пальцем, чтоб не так скоро сгорали. Мы курили эти сигареты да шнапс наш пили, разбавляли с сафтом (скандинавским сиропом) и пили, будто соревнуясь, кто больше...

Я не мог этим как следует насладиться, потому что мне вспоминалась дорога, которую мы прошли. В хмелю я размышлял: ведь дешевый шнапс и дешевые сигареты, но не стоят они, ох, не стоят тех мучений, которые мы перенесли в дороге! И даже если б мы выгада-ли что-то, это не стоило бы того!

Я внезапно так расстроился от этих мыслей, что перестал что-либо делать совсем. Перестал отвечать на вопросы и задавать свои; прекратил все коммуникации; не реагировал на что-либо; не брился, не мылся, перестал вставать с постели вообще, и оставался в этом состоянии, пока мы не въехали на нашем поезде в весну, пока в этой весне не появились две сербские девушки: Жасмина и Виолетта.

ЧАСТЬ III

1

Февраль 1999-го выдался снегопадный. Датские газеты и телевидение орали на всю страну. Они писали и кричали, что такого снегопада не помнит даже стосемилетняя госпожа Вибекке Струсе, которая в своем преклонном возрасте пребывала в здравом уме и до сих пор сохраняла ясность памяти. Ее память работала вглубь до ее трехлетнего возраста! Она помнила, как был убит последний юлландский волк, убит и распят на дверях таверны, которая последней уступила Туборгу; она помнила, как ее прапрадед открывал зубами пивную бутылку и сплевывал первую металлическую пробку; она помнила, как возвращались моряки после трехнедельного шторма 1908-го года (они не выглядели счастливыми, а выглядели униженными, словно стихия надругалась над ними); ей приходилось жить при свечах и лучинах во время двух войн, она знала подлинный вкус хлеба и сыра; она помнила, как стригли спавших с немцами женщин. “Как овец”, говорила она. Она помнила те времена, когда люди ходили по льду из Копенгагена в Мальме. Она помнила, как люди ели конину в голод. “Они ели ее с выражением чувства вины, как будто бы ели человечину”, говорила она. Все это она помнила, но такого снега, что выпал в конце февраля 99-го, она не помнила.

Крыша обвалилась в потаповских руинах, но, слава Богу, никто не пострадал. Снега было так много, прямо посреди кухни и комнаты, в которой чадил в тот момент злосчастный камин, что случился потоп, как только он начал таять. Дома, как назло, не было никого, кроме Лизы. Она так испугалась, что забралась в шкаф и стала там истошно кричать, а когда ее извлекли из шкафа, она сказала, что ее

хотел украсть снежный человек. От этого у Потапова случился припадок гнева, и он избил дурочку-падчерицу; взялся за ведро, но не справился в одиночку; все бросил, и некоторое время они так и жили: ходили по щиколотку в воде, не раздевались вообще.

Я видел это своими глазами, видел, как они ели на кухне, когда мы с Иваном пришли за мясом, которое Потапов держал в прихожей, которая служила морозилкой. И исправно, надо сказать, служила; настолько холодно было в прихожей. Да маленькая печурка на кухне топила не шибко, так что можно себе вообразить, в каком холоде они жили!

Сидели они за столом и ужинали. А вокруг них вода... И снег на них падал через дыру в крыше. Свисали палки; пластик болтался, шелестел. Ощущение было такое, как будто люди на веранде или на природе кушали, но никак не в доме! Потому что над ними было небо, Луна и все звезды буквально заглядывали им в тарелки, а они сидели все втроем и невозмутимо, безмолвно ели суп. Одевались они, конечно, по-зимнему; на руках Мария держала Адама; сама была в шапке; Лиза даже в варежках ложку держала; Михаил тоже был в шапке. Он даже не посмотрел на нас.

“Сейчас”, — сварливо прорычал он.

Он неспешно доел суп, с кряхтением и порыгиванием встал и пошел с нами, светя фонариком в черноте своих руин, заставленных мебелью, ветхой, древней. Мы взяли кусок мяса в упаковке; вернее, он нам его выдал. Поднял с пола, стряхнул песок, понюхал, сказал “пойдет” и дал нам, как корм для собаки. Я стал выражать сомнение по поводу свежести куска мяса, за который Потапов с нас требовал пять крон.

“Со своих в два раза меньше. У меня арабы покупают за десять”, — сказал он с вызовом.

“Дело не в деньгах или арабах, — сказал я. — Этим все равно что есть, лишь бы не свинину. Пусть хоть двадцать крон, но свежее. К тому же как можно с нас брать деньги, если мясо-то со свалки из контейнера, и мы это знаем! Мы же не арабы, которые думают, что ты его купил или украл. Они же не знают, откуда мясо-то. Но мы-то знаем! Мы тебя сами надоумили его брать со свалки! Мало ли что ты

сам съездил!"

Потапов не стал слушать, махнул рукой, сказал:

"А бензин-то я сам покупаю!"

"Да причем тут бензин-то! — заорал я. — До контейнеров можно пешком дойти!"

"Но я-то, — задыхаясь, завопил он, — я-то не пешком! Я на машине же мясо привез!"

"Да хоть на вертолете!" — не сдавался я.

Он повернулся со словами:

"Не хотите — не берите. Жрите бобы. Мне с вами некогда. У меня дел куча. Еще и конь не валялся..."

Иван взял и сказал, что отдаст потом; я спросил было неловко насчет крыши, мол, помочь может чем? Михаил сказал, что все нормально, и не такое бывало, что он справится сам, и спешно закрыл за собой дверь...

Один за другим исчезали из кэмпя сербы; сперва они перестали пить и употреблять наркотики; все, кроме одного, Александра, которого увезли на амбуланции, после очередной овердозы. И не вернули. Говорили, мол, оставили в какой-то тюремной клинике для наркоманов. Потому что он исчерпал лимит терпения полиции, которая, когда он попадался, просто выписывала ему очередной штраф и не сажала его, а просто напоминала ему, что он поставлен в очередь на отсидку за свои сто пятьдесят тысяч, и если он продолжает воровать, то он просто продлевает срок отсидки. И он продлевал, продлевал срок отсидки. Продолжая воровать и попадаться. Ему было все равно, сколько там ему набежит. Он знал, что чем больше будет срок, тем дольше он проживет в Дании. Пусть в тюрьме, но в Дании! И это было важно, очень важно, просто жизненно важно! Потому как, говорил он, "лучше сидеть в Дании, чем в Сараево; там тюрьма такая, что еботе пичку матерь!"

"Да, — говорил я. — Это точно. Чем дольше он просидит в датской тюрьме, тем он вообще проживет дольше. Потому как не так много колоться будет... а может, и вообще слезет..." — "С его-то стажем — навряд ли", — чесал бороду Михаил. — "Не слезет, ннннет, не слезет, — говорил Иван. — Этот до конца будет ширяться, пока не

отъедет... Факт!"

Горану дали комнату в какой-то общаге, ничуть не лучше кэмп. Там он был как на родине! Вся общага была набита ему подобными цыганами из Боснии и Румынии! Они вместе пили, пели и пыряли ножами друг друга почему зря! Он тоже ждал очереди, когда в тюрьме найдется место для него! О, как он ждал! Он ждал этого, как иной моряк — возвращения на сушу, как нормальный человек ждет отпуска.

"Ох и отосплюсь! — говорил он. — Наконец-то работать не надо будет!"

Прочие сербы сперва планировали, куда бы поехать, куда бы рвануть; начали собирать деньги. Потом не сошлись во мнениях по поводу Голландии, куда три любителя тяжелого рока собирались. Два других, постарше и поумнее, собирались в Швейцарию. Они долго совещались, несколько дней лаяли на кухне, коптели потолок, переругались вконец, в итоге одни ушли в Голландию, другие — в Швейцарию... Но последних видели в Эльсиноре садящимися на паром, идущий в Швецию! Я не знал даже, как это понять; то ли у них с географией неважно было настолько, то ли они просто шифровались от всех остальных.

Весь январь и февраль Михаил рисовал большую, очень большую и не по силам ему сложную картину. Делал он ее по заказу Свеноо. Он был любителем хард-рока и быстрой езды на мотоциклах. На этом они с Михаилом и сошлись. Свеноо не скрывал своего темного, но не запятнанного тюрьмой прошлого, как не мог скрыть своих татуировок. Свеноо занимался подростками и тем, что возил беженцев по достопримечательностям Дании. Иногда он возил людей на озеро, где те ловили рыбу, закормленную до того, что рыбы не брали больших, ненормально больших червей, которые продавались прямо на месте у озера. Такие места звались "пут-н-тэйк"¹, но рыба, невзирая на обещанный в названии клев, не бралась; она плавала возле крючков и виляла хвостом, большая, жирная, ненормально большая и ненормально жирная форель.

На картине, которую заказал Свеноо из каких-то благотворитель-

¹ закинул и тяни

ных соображений, он должен был быть сидящим на своем мотоцикле. Мотоцикл был чоппер. Сидеть он должен был в своей кожаной куртке с заклепками и непонятного цвета платке, с трубкой в зубах. Михаил попросил сделать фотографию, которую сделал Хануман, затем Хануман в компьютерной комнате отсканировал фотку и поместил Свеноо на мотоцикле в американскую пустыню подле каньона. Свеноо пришел в восторг. Михаил сказал, чтоб Свеноо сам выбрал величину холста. Это был хитрый ход. Потому что таким образом он как бы вынуждал того купить холст. А холсты стоили дорого. Свеноо не пожадничал, купил побольше. Михаил, когда увидел размеры заказа, почесал репу и сказал: “Мдааа”. И вот он рисовал эту картину. Он сделал решетку, расчертил фотографию, стал рисовать по клеточкам, как какой-то паззл. Работа подвигалась медленно. Потапов не торопился предъявить свой убогий шедевр заказчику; он писал медленно, чтобы отодвинуть в необозримое будущее момент собственного разоблачения. И когда пришел этот момент, Свеноо так устал ждать, что был рад просто любой мазне. Но картина получилась, и довольно неплохо. Лучшее всего вышла пустыня; впечатлял бархан и утес; недурно вышел мотоцикл. Самого Свеноо узнать было невозможно, — он был в шлеме. Это было находчивым решением проблемы. Я видел и более убогие вещи в квартирах датчан, когда чистил с дядей их унитазы. Свеноо был настолько неразборчив в этом деле, что ему было вообще все равно, что у него висит на стене. Он и забыл, что на фотографии он был без шлема. Но это уже не имело никакого значения! Теперь он мог приглашать к себе своих собутыльников и говорить, показывая на картину, что это нарисовал один русский, с которым он колесил по пустыням Америки, это было в Небраске.

Пока Михаил рисовал, он курил гашиш и рассказывал всякие истории. Он не только курил, но и продавал потихоньку гашиш; у него появились постоянные клиенты, в частности, несколько курдов, которые курили тайком от прочих мусульман, а также иранец Мэтью, которого мы прозвали Холмсом.

Мэтью не вынимал трубку изо рта, он даже ел с нею! А ел он вся-

кую дрянью, так называемую лэйзи фуд¹, потому что готовить не умел вообще. Варил спагетти и потом спрашивал, почему они так все слиплись? Он всегда говорил, что все, что он готовит, на вкус настоящее дерьмо, просто дерьмо! Поэтому он ел сэндвичи и прочие бутерброды. Он выходил на кухню с множеством пакетиков в руках, раскладывал уже нарезанный хлеб в шеренгу вдоль двух столов, отодвигая прочих в сторону, затем клал на каждый хлебец продающийся нарезанным сыр, потом клал, так же ходя от бутерброда к бутерброду, кусочки колбаски, потом посыпал специями и клал сверху другой кусок хлеба; потом долго ел свои бутерброды, очень долго, так же продвигаясь от одного к другому, иногда даже пересаживаясь с одного стула на другой. Потом он нашел выход из положения: он стал варить моментальные супы, дешевую китайскую вермишель. Но даже тогда не мог дожидаться, когда та будет готова, и она похрустывала у него во рту на зубах. Сумасшедший иранец доводил своим странным, более чем странным поведением всех, кто с ним проживал, все от него бежали, в том числе и Иван. Но никто не раскрывал каких-либо определенных деталей, ставших причиной невозможности совместного проживания с Мэтью, никто не говорил ничего определенного, кроме упоминания запаха, который источал иранец. Он никогда не мылся и покупал огромное количество одежды в секонд-хенде, которую не стирал, а так прямо и одевал, сразу выходя в купленной одежде из магазина; он так и пах этим специфическим запахом залежавшейся одежды. Еще все говорили, что он сумасшедший! Просто псих; говорили, что он много дробит. Что пристает с идиотскими вопросами и орет во сне!

Он был очень азартен; любил карты. Однажды он проигрался, в дым! Он проиграл все свои деньги Аршаку. Армянин умело развел иранца на все его покет-мани. Он знал, что иранец любит играть, он с ним поигрывал на мелочь, дурачил его, строя из себя молодого простачка. А в вечер полочки он выудил из него все его деньги. Мэтью остался без еды. Никто его на хвост не взял, потому что все его ненавидели, никто его не кормил. Он стал красть еду в общих хо-

¹ еда быстрого приготовления

лодильниках. Его в первую же ночь поймали и поколотили легонько. Он стал голодать. На пятые сутки он пришел в офис к стаффам и упал, изобразив голодный обморок; стал ползать по полу и просить денег на еду или хотя бы фуд-пакет. Над ним сжалился только Свеноо. Он взял его на озеро и заставил ловить рыбу. Но тот не мог даже червя насадить на крючок, и ничего не поймал. Тогда Свеноо отдал ему весь свой улов и накопил вермишели. Мэтью продал всю рыбу и потащился играть с Аршаком, снова все проиграл и зарекся играть с тех пор.

Аршаку было двадцать два, так он говорил, а выглядел он на тридцать; волосатая мускулистая обезьяна, Маис при нем был шестерней на веревочке! Аршак был куда пронырливей своей ручной обезьянки. Маис был ловок, но Аршак был просто змея, пернатая змея. Несмотря на свои габариты, он влетал в окна птицей, крал на лету из шкафчиков все, что представляло ценность и нет, а затем выпархивал наружу, не оставив даже следа, разве что запах своего потного тела. Он был так крепко сложен и выглядел настолько угрожающе, что Хануман не решался ему перечить. Аршак бы смело пошел на конфликт, он был оторванный в край! Он постоянно искал возможности устроить заваруху. Иногда просто отнимал у тамильцев либо деньги, либо мобильные телефоны. Если видел, что в коридоре ресепшена кто-то из убогих мартышек говорит по общему телефону с картой, подходил и отнимал карту, или просил сделать звонок и разговаривал пока карта не кончалась, а на вопрос “вай май, фрэнд?” он отвечал грозно “вот вай май фрэнд? ноу си карт ест капут? го бай нью карт, придурок!”¹ У него всегда на лице висела вывеской мерзкая улыбочка гопника, настоящего гопника, который все мечтал перерасти в бандита, но этой возможности ему никто не мог предоставить. Он жаловался, что нет настоящих бойцов в датской общине; он имел в виду русские или армянские бригады. Они были, но его в них не брали. Он хотел дела, настоящей работы, он устал тырить спортивные костюмы и утюги. Он ходил в спортивный зал, качался до умопомрачения, пока на лбу не вздувалась огром-

¹ что почему мой друг? Не видишь карта кончилась? Иди купи новую

ная вена, с которой он и выходил из зала. Когда от него потребовали заплатить за занятия в зале, он отказался, и его перестали пускать в зал. Последний раз, когда он занимался и уже знал, что это был последний раз, он незаметно открыл окошко в углу, через которое ночью вынес из зала все, что ему было необходимо для того, чтоб продолжать раздувать на лбу вену в домашних условиях.

Однажды он украл кошелек с выручкой старого жирного серба, который привозил продукты в лагерь, и очень суетился всегда и потел, когда продавал. Было заметно, что ему неловко продавать пищу "своим"; этот серб сам был вчерашний азулянт. Аршак долго ждал, пока все будет продано; и когда тот собрался уезжать, он бросил какую-то банку на землю, чтобы тот вылез за ней из кабины. И пока неуклюжий серб, пыхтя, вылезал да ходил да нагибался за банкой, сам Аршак влез в кабину и вытащил из бардачка кошелек с выручкой. Серб долго сидел и плакал, обращаясь ко всем жителям лагеря с просьбой вернуть ему его деньги, потому что он, дескать, не сможет продолжать бизнес, его шеф убьет за эту неосмотрительность. Но Аршак не вернул, конечно; ходил потом целый месяц с довольной улыбочкой, и все хвалился: "Дурачок сербский, как албанец какой-то купился на банку сгущенки, дурилло, держал деньги в бардачке, во дурак!"

Он ходил по кэмпу и просил посмотреть видеокассеты; если ему кто-то давал кассету, он приходил к какому-нибудь доходяге и не отставал от него до тех пор, пока тот не купит у него ее.

Он засылал к тамильцам своего отца, чтобы те вызвали скорую помощь его жене, ведь она такая больная; мол, общий телефон сломан. И если те доставали свои мобильные телефоны позвонить, то старик уходил, а через некоторое время являлся Аршак и изымал телефоны.

Старика звали Серым зайцем; так его прозвала Лиза. Серый заяц был сед, лысоват, мал ростом, носил смешные усы, никогда не менял своего серого задрипанного костюма. Хотя иной раз понравившегося ему человека или людей, на которых он хотел произвести впечатление, водил к себе показать свой гардероб. Он мог пригласить человека на чай или даже далму, или тамале, которые делала его

жена; пальчики оближешь! И как бы между прочим залезал в шкаф и начинал: "Кстати, у меня тут пиджак есть... вот... как? Ничего? Не знаю, идет он мне или не идет? Что скажете? А этот? А вот еще есть синий, как он? Пуговицы ничего, я его из-за пуговиц только..."

В шкафу его было полно дорогих костюмов, которые они с Аршаком наворовали в Копенгагене из Кауффмана и Иллюма, еще в те времена, когда в магазинах работники были настолько наивны, что доверяли своей сигнализации, не подозревая, что кусачками можно оттяпать блямбу, на которую реагируют ворота.

Серый заяц был сед, но местами; был лысоват, но тоже местами; он был грязен, пах ногами и подмышками, чесался, часто прочищал горло, чтобы придать себе сааалидности; постоянно посещал секонд-хенды, никогда ничего не покупал, зато выносил, потому что там красть было просто. А без этого он не мог. Его можно было видеть каждый вечер возле помоек у супермаркета, или у фарсетрупского озера; он ловил даже в метель, только потому что бесплатно. Говорят, он был в Союзе не то каким-то технологом, не то инженером. Жена его была учителем русского языка. Она воровала больше всех в их семье. Каждый день, а иногда даже два раза в день она шла в магазин, чтобы набрать полную коляску и, спрятавшись за ящики с колгой, переложить содержимое коляски в свою бездонную сумку, и уйти, заплатив только за хлеб. Свое поведение она объясняла просто: надо же окупить дорогу как-то, так много денег вложено было, а работы не дают, а денег мало.

Когда у них начались какие-то запарки с ментами, которые хотели их выслать, как и прочих русскоговорящих, а армян зачисляли в их число и все они проходили под одним номером 120, так их и называли — сто двадцатые, то есть русские, когда за них взялись, они приняли странное решение: задержаться ценой здоровья матери Аршака. Аршак, как многие говорили, сломал ей ногу; она перестала быть транспортабельной и их перестали дергать. Но она все равно каждый день на костылях с сумой наперевес шла в магазин, как на работу.

Михаил рисовал свою картину, с ним заседали Иван и Хануман, я тоже заходил каждый вечер, на пару затяжек, чтобы уснуть в угол-

ке, сидя в разваливавшемся, но очень мягком кресле. Я курил мало, и только затем, чтобы провалиться в сон, чтобы быть способным спать, если не двадцать четыре часа, так хотя бы двадцать часов в сутки. Чтобы не видеть лагерной бытовухи. Чтобы не думать ни о чем.

Мы — я в меньшей степени входил в состав этого “мы”, как иной раз войдешь в фотографию только локтем, — обсуждали наши дела в лагере, который становился все больше и больше мусульманским. Лагерь и так был на три четверти мусульманским до нас, а тут, когда немусульман высылали пачками, а прочие бежали, распolzаясь по телу Европы, как вши, бегущие с тела, опрысканного антипаразитическим средством, кэмп стал вообще сплошь мусульманским! И в три раза грязней чем прежде!

Они молились сутки напролет, они ничего не ели при солнце, но выползали и обжирались в кухне по ночам, и ничего не убирали... Кухня была такой грязной, что страшно было войти: вонь стояла, ошметки пищи валялись повсюду, мука была везде, как в пекарне или на мельнице! Стаффы даже прибегли к угрозам: покет-мани не будут выплачены, если уборка не будет сделана! Такая появилась бумажка в каждом билдинге, но этого особо никто не испугался. Они не имели права принуждать людей убирать таким способом, все это знали, никто не убирал, и деньги выплачивались все равно. Мусульмане, когда не молились, крутили пленки с молитвенными песнопениями, в обе стороны. Забавлялись как дети, включали реверс; некоторые считали это богохульством, ругались из-за этого, у них по этому поводу возникали целые дебаты! Они штудировали Коран, громко крича друг на друга. Они скандалили между собой по любому поводу! Конечно! Надо ж куда-то было энергию девать! Ведь женщин не было! А напряжение было жуткое! Это ожидание того, как разрешится кейс! Да когда на них снизойдет благодать Директората! Они молились, молились... Все чаще и чаще мелькали с бутылочками в коридоре, все больше и больше луж было в туалетах, все ярче и жутче были набитые синяки на лбах их!

Хануман в один момент впал в задумчивость... Сначала было постукивание ногой. Я даже проснулся от этого мерного постукивания. Подумал сквозь сон: неужто опять петушок закрался к Ханни

под крылышко? Но, глянув вниз, увидел Непалино свернувшимся калачиком под своей грудой одеял; заглянул к Хануману. Тот лежал, вытянувшись, напряженный, с каким-то странным выражением отсутствия в лице, лежал и постукивал левой ногой по металлической стойке наших нар, устремив пустой взгляд в открытое окно. Он даже не заметил меня. Это было плохим признаком. Потом мне послышалось, что он начал напевать, даже слова едва уловимо всплывали. Мотив был чем-то знакомый. Где-то я уже его слышал. Не от него, а прежде, в детстве. Вспоминались почему-то заборы, столбы, ветки, покрытые инеем, стены гаражей, что тянулись вдоль дороги, где мы жили, в Пяэскула; высоченные березы с вороньими гнездами; болота и горы мусора с чайками над ними. Мотив тот вызвал такие давние, погребенные под тоннами песка времени воспоминания, — даже жутко стало! Так было несколько дней. Я беспокоился... Грустный мотив меня затягивал как трясина. Но вдруг — оборвалось...

Ханни встал, выкрикнул, что эти чертовы простыни красятся. Выскочил на середину комнаты, стал дергаться, выгибаться, кривляться, как одержимый бесами. Заламывал руки. Показывал мне свои локти, колени, жопу...

“Смотри, — кричал он. — Я весь крашенный! Это все синие простыни! Зеленые пододеяльники! Красные наволочки! Что это за белье! Черт бы побрал этих датчан! Я весь вылинял! Я стал цветным! Синим как Иисус! Как Кришна! Вот как красится их блядское белье! Мы тут все скоро превратимся в овощи!” И хлопнув дверью, пошел сломяться по кэмпу.

Он придирался ко всем, отпускал издевательские шуточки или совсем ядовитые делал замечания, он пускался преследовать Непалино, грозя отодрать его в зад, но тот заперся в душе, и долго не открывал... Хануман купил себе ящик пива, что было плохим знаком; чувствовалось, что он пребывал в состоянии поиска новой идеи. Но ничего не мог придумать... Он шатался по лагерю в поисках способа воплощения своей мечты, а мечтал он о том, чтоб все, кто плевали ему в лицо и спину, вдруг однажды все разом увидели, что весь мир заполнен его сияющей улыбкой, которая украшает каждый автобус, трамвай, небоскреб, с экранов смотрит на вас: “Хал-

ло, это я — Хануманчо!” И не мог найти в этом гадюжнике ничего, что бы приблизило его к воплощению этой мечты...

“Это гнилое место меня убивает!” — говорил он. К тому же кончились чертовы сигареты и нам снова надо было шевелить наши задницы! Ходить хотя бы на помойку за бутылками и едой!

“Этот лагерь душит меня! — рычал он. — У меня опять мигрень! Чертова мигрень! Моя голова как хэллоуинова тыква, вашу мать!”

И снова пускался в хождение по коридорам, напевал песни, крутил фильмы, которые сам не смотрел, просто включал и уходил, безостановочно поносил всех, в том числе и меня; мы с ним даже чуть не поссорились...

Это случилось из-за паззла, который со свалки притащил Иван и начал было собирать, но бросил. Я от нечего делать взялся его закончить. Ранним утром Хануман проснулся. Увидел меня и паззл. Усмехнулся и вступил со мной в спор, причиной которого послужил ничтожнейший повод: “Собирание паззла, — говорил он, — доводит наше положение до тюремного, потому что только в тюрьмах занимаются этой чепухой! Самое бессмысленное занятие, которое изобретено для детей, дебилов и инвалидов, которым нечего делать, только убивать время!”

Все закончилось тем, что мы заключили пари. Он сказал, что с моим слабоумием и кривыми руками мне будет не по силам собрать паззл из тысячи кусочков за пять дней. Ни по чем! Ни за что! Без шансов! Он так издевался надо мной, что я возмутился; причем, надо заметить, что возмущение во мне закипело и прыснуло, когда под сурдинку непальчонок стал подхихикивать (теперь я думаю, что они сговорились, — я просто уверен в этом! — потому что они стали часто в моем присутствии говорить на своем). Я зачем-то настаивал на том, что я соберу. Хануман сказал, что, если я соберу, он мне даст тысячу крон. Если нет, то я съем пять больших свежих зеленых чили, которые он сам выберет и принесет мне. “Я за ними поеду в Копен, если надо! — вскрикнул он. — Я достану такие перцы, что у тебя глюки начнутся похлеще, чем от space magic mushroom ¹!”

¹ космические галлюцинагенные грибы

Я браво парировал тем, что ему не придется ехать в Копен, и начал собирать. У меня быстро и удачно пошло. За несколько часов я здорово продвинулся. Паззл собирался на глазах. Через день стала вырисовываться картина. Он заметил, что я справляюсь, и стал делать все возможное, чтоб мне как-то помешать. Он засылал ко мне каких-то идиотов с самыми абсурдными вопросами: "Где здесь можно купить капусту брокколи?" Он приводил ко мне Свеноо с водкой. Он подсылал Непалино, который с очевидно поддельным ужасом в лице сообщал мне, что приехала полиция, указывал на открытое окно и говорил несмело: "Run! run! ¹", а за дверью стоял Хануман в ожидании, что я выпрыгну, и тогда он вошел бы, чтобы надругаться над моим шедевром.

Это был подлинный шедевр. Это была моя мечта. Голубая мечта идиота. На картине была бухта, вода была до головокружения голубая, была яхта, был берег золотого песка, были пальмы на берегу и скалы, на которых заседали, как присяжные заседатели шемакинского суда, большие пестрые попугаи ара. И над всем этим — в убийственно ровном небе — ослепительное солнце. Я собирал картину и сам себе говорил, что если я закончу и выиграю пари, моя мечта осуществится; и та яхта будет моей, и в этой воде я буду полоскать мои ноги, стирать мои грязные носки.

И все же я не закончил. Одного кусочка не хватило. Его просто не оказалось! Я облазил всю комнату! Я тряс Ивана! Загнал под каждую койку непальчонка! Позвал китайца пошустрить по углам. Все было бессмысленно и бесполезно. Непалино перебрал свои бумаги и, лениво отмахнувшись, ушел докладывать о моей панике Хануману; Ни ничего не понял. Иван был слишком пьян, чтобы что-то искать. Я от него ничего не добился, не получил ни слова вразумительного, только выпал из брюк брелок. Он только отмахивался, говорил, что он-то почему знает! Ведь со свалки припер! Может, и не вся была! Как проверить? Пока не соберешь — не проверишь! Хануман принес мне чили. Красиво выложенные на тарелочке. Один к одному. Улыбка космоса. Билет в клиническую безупречность. Я отказался

¹ беги!

признать поражение. Я не стал есть его перцы. Я сказал, что успел бы, если б не... Но Хануман даже не стал меня слушать; он полез в бутылку; он раздувался и сдувался, как воздушный шар, стреляя дымом и метая искры, он утверждал, что уговор звучал следующим образом: собрать за пять дней! "Собрать! — кричал он. — Я повторяю — собрать! Целиком! Но я не вижу! Не вижу, что ты закончил! Картина не собрана! Ты проиграл!"

Я послал его к черту и мы несколько дней не разговаривали.

Сошел снег; поле почернело; прошел первый настоящий весенний дождь; я выходил погулять в мокром, очнувшемся лесу. Слушал, как лес плачет, как шуршат в пахнущих, гнилых листьях птицы, смотрел, как замерзшее поле пускает трещины, выгибая могучую спину, смотрел, как над полем ползет туман, и почему-то думал: "Вот и пережили зиму, а что дальше?" — Оглядываться было противно; поднять глаза и посмотреть вперед — боязно; я уходил в лес со странным затаенным желанием — затеряться, затеряться в лесу, как сказочный персонаж, чтобы встретиться с какой-нибудь феей или тварью какой; так в отчаянии во мне пробуждался ребенок. Но ничего не случалось, конечно. Я все равно возвращался к нашему лагерю, украдкой выглядывал из-за кустов, все ли тихо, приближался к нашему окну, влезал в него и забирался в постель. Хануман спрашивал меня: хорошо ли я струхнул там, в лесу, — он так пытался со мной мириться, таков у него был подход... Я сквозь зубы посылал его к черту; он философски продолжал рассуждать, разговаривая как бы с самим собой: "Не понимаю, как можно струхать на открытом воздухе? В лесу? Как? Что можно испытывать при этом? Ведь из-за любого дерева могут видеть..." Хотелось заткнуть уши и бежать. Но я лежал, лежал, закрыв глаза, слушая жизнь кэмпса: голоса, хлопанье дверей, и если колеса машины принимались хрустеть по мерзлому гравию, напрягался, прислушивался, ждал, какие появятся вслед голоса, какая дверь хлопнет, шаги, куда пойдут шаги, и какие шаги — уверенные, по-хозяйски отмеряющие пол, или мягкие, крадущиеся... И расслаблялся, когда колеса уезжали. Проваливался в кратковременный сон...

Мы ждали весеннего мувинга; большого весеннего завоза но-

вых беженцев. Мы надеялись на что-то, на какие-то новые лица, какие-то свежие идеи, новая кровь, новые истории; мы надеялись, что будет побольше дураков, на которых можно будет нажать, которых можно будет развести; или людей, которые бы дали дельный совет; или людей, у которых были бы связи. Мы надеялись, что будет побольше приличных людей и поменьше иноверцев... Но вышло наоборот: прибыло много иракцев, переживших багдадскую бомбежку, с застывшим ужасом в стеклянных глазах и ненавистью в складках губ; две русские семьи; одна очень приличного тихого музыканта; их скоропалительно выслали в Швецию; и совершенно безобразная парочка из глубинки, молодые, неряшливые, неотесанные, неосторожные, они быстро вляпались в очень нехорошую историю, а потом тоже скоропалительно бежали в Германию; и еще две сербские семьи, в которых были две девушки, красавицы, жемчужины: Жасмина и Виолетта...

2

В середине апреля я увидел их — Ханумана и Жасмину — идущими по асфальтовой дорожке мимо еще и не думавших цвести вишен. Он жестикулировал; она улыбалась. Он был одет в свои синие джинсы, темно-коричневую рубашку с искрой, с запонками на рукавах; галстука не было, но было смутное ощущение присутствия одного; его кожаная куртка с замочками, как на дамской сумочке, очень дорогая, очень нежная кожа, таких курток не носили в лагерях, это была куртка франта, она выглядела так, будто стояла пятнадцать тысяч в отделе кожаных изделий в магазинах, в которые не входили простые смертные даже ради праздного любопытства; эта куртка делала его похожим на киноактера; его прическа, которую мастерски делал Непалино, и которую Ханни взбивал двумя смелыми движениями своих виртуозных рук, доводила до полного его сходства со всемирно известным киноактером Бахчаном. В этой куртке Хануман мог бы запросто подойти к любому кабриолету в городе и без

усилий убедить кого угодно в том, что это его кабриолет. Никто не стал бы подозревать человека во лжи, если у него была такая потрясающая куртка!

Когда я увидел их вдвоем, я понял, что девушка обречена; это было очевидно. Хануман овладел ею. Уже. Там же. На асфальтовой дорожке, подле кустов не зацветшей сирени, возле лужи, в которой полоскались воробы. Он говорил, его руки порхали как птицы, его подбородок был задран, его губы двигались, как волны, брови изгибались, как крылья сказанных им крылатых слов, он уже владел не только ее вниманием и воображением, но и сердцем, он им уже просто жонглировал. Капитуляция плоти была делом времени и обстоятельств. Это было точно так же делом времени, как и ожидаемое цветение сирени. Было совершенно ясно, что девушка была всецело его.

Я не задавал лишних вопросов и был галантен, когда пожимал руку Жасмины. Он представил меня как “русского-писателя-пишущего-по-английски”, ее — как совершенную супердевичку. Он сказал, что мы немедленно едем в город, что к нам вот-вот присоединится некая Виолетта, что все мы немедленно отправляемся развлекаться в городе, потому что сегодня пятница и нормальные люди отрываются! “А чем мы хуже нормальных людей? Мы должны оставаться людьми при любых обстоятельствах, не так ли? То, что мы нелегалы, а вы беженки, ничего не меняет; мы в первую очередь люди! Может, даже больше, чем те, у кого есть паспорта и шестизначные счета в банке! Короче: мы едем в Ольбо! Едем в Ольбо! В Ольбо!”

Там мы посетили все ночные клубы и дискотеки на улице Дискотек; мы танцевали; Хануман раздувал ноздри и пучил губы, закатывал глаза, дергал коленками; я просто делал видимость, что вращаю торсом, мои движения недалеко отходили от обыкновенной гимнастики, которую мы делали в школе; Жасмина и Виолетта поразили нас пластикой, я просто влюбился в талию Виолетты, в ее волну, в переход от девичьего стана в ягодицу. Вот он — переход от поэзии к прозе! Который я сделал, сжав стан и скользнув по ягодице в тот вечер... Ммм, в ее глазах вспыхнул огонь, она что-то сказала, но как я понял, она сказала это что-то самой себе, и это было похоже на нечто вроде “ух, вот это да!”

Как я узнал позже, им было только шестнадцать, но они сказали, что им все девятнадцать, чтобы получать не половину денежного пособия, как дети, а как взрослые — полную сумму. У Виолетты были длинные черные волосы, но волосы Жасмины были еще длинней, и такие же красивые, как у Виолетты; у обеих были красивые карие глаза, но глаза Виолетты были черны, как ночь, а глаза Жасмины были с просветами, просветами зарницы; брови Виолетты были жирно положены кистью, а брови Жасмины лежали, как тонкие короткие мазки; губы Виолетты цвели как бутон, а губы Жасмины были длинны и тонки. Виолетта была ниже Жасмины, и грудь Жасмины была выше низкой полной груди Виолетты. Жасмина вставала рано, Виолетта ложилась за полночь.

Хануман, когда мы вернулись, сказал мне, что больше не хочет спать один! Что нужно что-то делать! Нужно куда-то сплавить кошачьего непальца! Нужно организовать вечеринку! Нужен праздник! Нужны отмычки к сердцам отцов! Эти девочки сделают нас миллионерами! Я не стал задавать вопросов; я представления не имел, каким таким образом эти две несмышленные девочки могут нас сделать миллионерами. Но во всем полагался на его чувство, его инстинкт, и уж если он сказал так, то так оно и должно было быть. Мы сплывили непальца в Ануструп, сказали, что там его место! Его там ждет негр с большим жирным членом! И если он не пошевелится и не сгинет, то мы сами прочистим его трубы! Не сами лично, а пригласим Аршака! Непалино, услышав имя этого монстра, сказал: “Не надо этого, пожалуйста, что хотите делайте, я поехал к дяде”, и уехал после покет-мани, купив билет на свои. Мы в тот же вечер выложили несколько сотен и устроили вечеринку в нашей комнате; четверинку, я бы сказал, потому что никто, кроме Жасмины и Виолетты, не был приглашен.

Мы слушали музыку, у нас были горы дисков, мы их показывали девушкам, комментировали; мы показывали коллекцию видеокассет, у нас их было больше сотни, причем самых последних, у нас была потрясающая коллекция фильмов, переписанных с платных каналов... Девушки смотрели на нас как на самых продвинутых парней в деревне. Каковыми на самом деле мы и являлись. Пото-

му что в этом городе ни один человек не носил таких курток, как мы с Хануманом! Не мог сказать таких вещей, как мы с Хануманом! Никто не мог улыбнуться и посмотреть в глаза с такой преданностью, как я и Хануман! И они пали! Пали, как Берлин и Троя! Они не устояли! Он взял ее в машине, которая принадлежала Михаилу, Хануман взялся покаты Жасмину в машине, увез куда-то и там, там все и случилось. А я пал в своей собственной комнате.

Я, конечно, ничего не сделал, чтобы это случилось, ведь я никогда не делал ничего, от чего бы у меня могла ныть отмерзшая моя совесть; сделал так, что она сама сделала все, что произошло. Такова моя подлая суть, и я этим гордился, потому что не встречал еще на Земле столь изобретательного подлеца, как я! Подлеца, который бы гадости делал в таком количестве и сохранял совесть в анабиозе, и сердце при том чистым и незатронутым. Одним словом, в полном комфорте с собой жил бы! Делал бы гадости, как джентльмен! Сохранял видимость порядочного человека! Был бы изнутри насквозь прогнившим, и ничуть не страдал бы от этого. Расчленил душу, не замавав при этом белых манжет своих.

На следующий день мы смотрели *Shakespear in love*, пили колу, ели корн; зал в ольборгском кинотеатре был маленький и пустой... Потом мы сидели в открытом кафе, и несмотря на прохладу, девушки ели мороженое, а мы с Ханни пили пиво. Ханни все время рассказывал о том, что такое Дания, а что такое Швеция. Сонная продавщица в киоске зевала, выходила покурить, смотрела на нас с каким-то дремлющим любопытством... Ханни сказал, что сейчас покажет нам разницу, что такое есть Швеция, и что такое есть Дания. Он подошел к продавщице и спросил сигарету; та сделала такую гримасу, будто ей предложили купить крокодила, даже отвечать не стала, что-то буркнула, сама себе, отвернулась, даваясь своим дымом от негодования. Хануман подошел к нам и сказал: "Welcome to Denmark!"

Мы долго шли вдоль дороги, по которой неслась какая-то небывало шумная свадьба, и рассказ Ханумана о Праге тоже был какой-то торжественный и бесконечный. Мы гуляли по старым улочкам города, узеньким и битком набитым смешными японцами в кепоч-

ках, дождевиках, с миниатюрными камерами на груди. Ханни кричал: “Что эти люди собираются здесь фотографировать?!”

Ветер трепал волосы Жасмины и Виолетты, солнце играло с замочками и молниями на куртке Ханумана...

А потом мы стояли на мосту, по которому проносились нескончаемые машины и велосипедисты; кралась кошка, прячась и высматривая воображаемых голубей; из магазина музыкальных товаров выходили ребята с гитарой, сверкающими тарелками, усилителем, последние двое из них, пингвинами переступая, как гроб тащили огромный клавишный инструмент...

Какой-то пьянчужка под мостом, на котором мы зачем-то остановились и все не могли выбрать себе направления, стоял и кому-то что-то говорил, жестикулируя одной рукой, другой держал сумку, получал, видимо, ответы и продолжал говорить. С кем он говорил, видно не было; тот некто стоял под нами, под самым мостом. Того, что видно было, не было слышно. Потому что — я неожиданно понял! — мир был потоплен звуком приближающегося локомотива, от которого и исходила та оглушительная тишина. И мне вдруг стало как-то тревожно; у меня опустилось сердце; меня охватила внутренняя замкнутость; я запахнулся душой, точно в предчувствии сильного ветра, стужи, и подумал, что иду на дно.

Я смотрел на жестикулировавшего бродягу с сеткой, на надвигающийся на мир локомотив, и неожиданно подумал, что, возможно, так вот и с нами говорит мир, только мы этого не замечаем, не придаем значения, думаем, что то говорит пьянчужка невесть с кем там еще, а на самом деле... А и хуй с ним! Ведь какая разница?! Ну, какая разница, что там на самом деле-то! Пошло оно... Так запахнулось во мне все от тревоги, так затрепетали все струнки от вида надвигающегося локомотива, что я думать даже дальше боялся...

И мы снова потекли, просто потекли вдоль дороги с мороженым, а потом мы снова смотрели фильмы, слушали диски, говорили о книгах, Хануман показывал им в Интернет-кафе якобы присылаемые ему письма из всех точек планеты, в том числе из Новой Зеландии, от каких-то каннибалов, которые приглашали его стать вождем их племени, ибо только под его руководством они могли сделаться

вегетарианцами и порвать со своим темным доисторическим прошлым; он показывал им письма от себя самого под именем Салмана Рушди, от самого себя под именем Махариши Йоги, от самого себя под именем Бахчан, и от мадам Сони; некоторые письма мы называли обитуариями, потому что в них сообщалось, кто из наших общих знакомых умер, и сообщалось об этом нам с каким-то укором, будто мы были частично виноваты в их смерти; также шли в ход письма из Дома Культуры копенгагенских беженцев, из газеты, где печатали наши статьи или просто брали фотографии Ханумана, сделанные к статьям, написанным кем-то еще, например, очкастым жирным сербом, который иногда пользовался услугами Непалино.

Однажды мы вдвоем с Виолеттой шли возле озера, над нами пробегал ветер, стряхивающий капли с шепчущих ветвей, и Виолетта спросила: “Так значит вы ждете, когда получите “грин карту” из Америки от дяди Ханумана?” — И я невозмутимо глядя на уток, ответил: “Да, ждем, и не только этого...” Хотя Ханни ни о чем таком меня не предупреждал...

И все-таки появление американского дядюшки на устах Виолетты меня несколько застало врасплох; видимо, девушки между собой изрядно обсуждали то, что у них происходило с нами порознь; но вообще-то меня не надо было готовить к подобным сюрпризам. Я знал, как реагировать. А реакция у меня была слава Богу! Иначе Ханни не вошкался бы со мной. Виолетта сказала, что всю жизнь мечтала об Америке, она даже знала, сколько штатов в Америке! О, какая это была просвещенная девочка!

Я не думал, что влюбился. Иногда спонтанно возникшее чувство пылает сильнее, чем разжигаемое годами. Но даже случайно попавшаяся заблудшая овца, с которой вдруг сцепишься в потемках узенькой улочки и делаешь все, все, все, что хочешь, потому что в такие моменты можно себе позволить все, и так думаешь не только ты, но и та, что безраздельно потворствует тебе там, в темноте, — такие моменты мне казались жарче, чем то, что было у нас с Виолеттой. И все же это было нечто. В этом была какая-то трогательная нежность. Я чувствовал себя настоящим мужчиной. После целой зимы бесполого существования в полудреме. Чувствовал себя челове-

ком. Мог набить лицо любому негру, который не дай Боже нарисовался бы тогда у нас на пути с какими-нибудь нехорошими дающими повод для мордобития жестами.

Мы слушали музыку каждый день, часами, пили при этом колу, подмешивая последние капли шнапса, докуривали немецкие сигареты, которые нашел Ни, когда возил своей тряпкой пыль под кроватью Ханумана. Мы докуривали их, плавно переходя на табак. Хануман орудовал машинкой, забивая гильзы, рассуждая о том, почему "China girl" в исполнении Боуи более популярна и чаще мелькает на экране, чем в исполнении Игги Попа. Он забивал гильзу и грубовато говорил, что на Игги смотреть не так приятно, как на зализанного Боуи, потому что Игги — это мартышка, а Боуи рядом с ним просто интеллектурал, хотя сам очень любит обезьян, пишет про них какие-то абстрактные книги и рисует еще более абстрактные картины. Я очень много молчал, слушая Виолетту, я гладил ее поясницу, трогал пальцы рук, волосы, нежно улыбаясь, ловил ее взгляд и получал поцелуй, как вознаграждение за молчание, а она между тем говорила, что подлинные чувства нельзя подавить нормами и правилами приличия и этикета, потому что чувства — это как огонь, его нельзя держать под контролем и так далее... При этом она очень смешно жестикулировала... А Жасмина говорила, что можно, и тогда они переходили на сербохорватский и из нас с Ханмуаном только я что-то отдаленно понимал, не смысл, а тень смысла, не слова, а пантомиму слов! Я понимал не то, что они говорили, а то, как я себе представлял, что они, две шестнадцатилетние девушки, могли бы говорить по поводу этого, будь они русскими. Да и некоторые слова были знакомы; во всяком случае, казались знакомыми.

Я переставал слушать и начинал грустить; неожиданно, совершенно неожиданно, получая шок от осознания того, что я в этой комнате — единственный русский. Более того, во всем лагере мне не с кем было поговорить о Таллине. Или хотя бы сказать что-нибудь об этом городе, или не о городе, а об окрестностях; я не мог, если какую-нибудь деталь праздно вспоминал, в связи с какой-нибудь мелочью, свойственной датчанам, находил в скандинавах с эстонцами что-то общее, не мог никому сказать об этом. И тогда чесалось все

внутри, не могло разгореться и тлею, саднило невысказанное. Душило. Никто, даже Хануман не знал, что я из Эстонии. Это не значило, что я хотел говорить о Таллине! Скорее наоборот! Но именно то, что нельзя было говорить, и даже невозможно было говорить о Таллине (да хоть о Нарве или Кохтла-Ярве), одно это почему-то точило, мучило и подталкивало на то, чтобы заговорить, сказать что-нибудь. Иногда я даже приоткрывал рот, чтобы спросить: “А в Таллине, Вы в Таллине не бывали?” Или иной раз вместо Копенгагена почему-то с языка чуть не срывался Таллин. Как бывает, говорят: “Поехали в город!” Или: “Они уехали в город”. Имея в виду “уехали в ближайший большой город”, и всем понятно какой, как это бывает меж людей, живущих подле какого-то города всю жизнь. Для всех он разный. Для кого-то Бомбей, для кого-то Лос-Анджелес, для кого-то Сидней, для кого-то Иркутск. Для меня до Дании таким городом всегда был Таллин. Поэтому, когда мне хотелось сказать Хануману “поехали в Копен”, или в Ольбо, или в Оденсе, я автоматически мог ляпнуть вместо Копена “Таллин”. Или автоматически мог бы сравнить Скандик “Копенгаген” с гостиницей “Виру” или “Олимпией”, например, — просто потому что мне не с чем было сравнивать. Вот каким уродом я был. Просто калекой! Прав был Хануман, когда говорил, что надо мной жизнь надругалась почище средневековой камеры пыток. Так оно и было. Прошло два года, а я все еще не мог привыкнуть к той мысли, что я не в Эстонии, не где-то в кемпингах на Нелиярве или в Отепя, а черте где — на Юлланде в Дании. Если я курил как следует, меня вышибало так шибко, что мне казалось, будто я могу сесть в поезд или автобус и в считанные часы доехать до Таллина. Будто Таллин, он тут, в нескольких остановках... Приходилось все время себя контролировать. Я сам для себя стал вертухаем. Даже в общении с Ханни. Даже с ним надо было за каждым словом следить. Ляпнул раз, ляпнул другой, и пошло, поехало... Ни в коем случае нельзя было нарушить герметичность моей новой личности, новой натуры, дисциплины, на которой держалась легенда. Это как вера в бога: если верить, то не в определенные часы по воскресеньям, а каждую секунду! С утратой дисциплины сама легенда могла бы утратить свое правдоподобие. Легенда начала бы расползаться. Именно ле-

генда была тем, что мне давало крепость, что помогало держаться. По легенде я был из Ялты, и никто, кроме Михаила Потапова, не знал, где находится этот город. Никто в этом кэмпе даже в Ялте не бывал! Чего-то общего в прошлом, даже вымышленном прошлом, у меня не было ни с одним человеком в этом кэмпе! Какая это была уникальная изоляция! Это было так грустно! Нет слов! Просто выразить невозможно было, как одиноко я себя чувствовал иной раз! Особенно с теми девушками, наедине, так пронзительна была моя печаль! Одиночество сковывало меня, как наркотик, оно душило меня, я не знал, что делать. Однако одинок я был не потому, что мне не с кем было посудачить об общих знакомых и вспомнить старые добрые времена. К черту! Я не хотел ничего вспоминать. Ни старые добрые времена, ни старых общих знакомых. Я готов был с радостью всех их забыть. О, если б можно было пожертвовать памятью, без ущерба и риска утратить те слои памяти, которые содержали необходимую информацию! Если б можно было забыть как-нибудь избирательно! Если б можно было впасть в летаргический сон, лет на сто! Или умереть и очнуться в другом мире! И желательнее другим существом: каплей росы на коралловом стебле! Эх... даже там, даже будучи каплей на коралловом стебле, я был бы я! И больше, чем там, в Фарсетрупе, переодетый в некоего Евгения Сидорова. В Фарсетрупе я больше не ощущал ни корней, ни земли под ногами. Я был больше, чем свободен! Меня почти не было! Жизнь моя обрела статус сна. Стала в чем-то подобна галлюцинации. А я, я был в этом сне, в этой галлюцинации почти человек-невидимка.

Я не боялся смерти. Я себя чувствовал не идущим на дно, а уже опустившимся на дно. Я чувствовал себя покинувшим круг живых. Я для всех был Евгением Сидоровым, иногда Юджином, иногда Йоганом, иногда Женей; но ни одно из этих имен не было моим; и никто из них, попутчиков да персонажей моей анекдотической жизни, не знал моего настоящего имени. Никто из моих друзей и родственников не знал моих новых имен и прозвищ, не знал, где я (только мать, которая продолжала блюсти конспирацию и никому не говорила ни слова); никто не знал деталей моей бродячей собачьей жизни (даже дядя; уж он-то возрадовался бы); никто не знал ни что,

ни с кем, ни где точно я делал. Для многих, как позже выяснилось, я был давно мертв, поедаем червями; мертв настолько, что меня даже поминали, меня вспоминали, как вспоминают любимых певцов, мои стихи никто не помнил, но некоторые афоризмы и строки, некоторые метафоры все же вспоминали; или даже то, что припоминали из своего репертуара, приписывали мне почему-то, и тогда это принимало какую-то ценность или привкус какой-то ушедшей безвозвратно эпохи, которую якобы для всех них я представлял. Многие мои неудачные шутки и фразы, которые всем тогда казались какими-то бессмысленными (каковыми и были), потом вспоминались, их повторяли, как строки из песен, находя в них какую-то прежде не воспринятую прелесть, некий потаенный смысл и нечто роковое. Насколько основательно для них я почил! Но для себя, для себя я был еще жив; хотя тоже частично; в меньшей степени, чем когда-либо; и в меньшей степени я был собой. Вместе с именем из меня ушла большая часть личности. Она как бы выветрилась. Как запах из флакона духов. Консистенция остается, но запах становится другим, отвратительным, горьковатым.

Я больше года не слышал моего имени, — и несколько лет эти ничтожные звуки не имели ко мне отношения. Правда, был у нас в кэмпе в ту пору один парень, мой тезка. У него было точно такое же имя, такое же как у меня, как мое подлинное имя. И был он, недо-тепа, из Ростовской области. И жена у него была кривая, молодая, все пекла тортики. Он тоже был молодой, все показывал нам фотографии их свадьбы: они выходят из ЗАГСа, и она в каком-то таком странно потасканном платье, а на нем пиджак точно картонный; вот на пороге дома, а дверь чуть ли не отваливается, и кривая водосточная труба со вмятиной, и покосившееся крыльцо; ужасно! И она стоит в белом платье — по искаженной улыбке было видно, что уже здорово пьяная! Невеста в этом кошмаре! И в чертах ее, в фигуре ее — болезнь, алкоголизм. Они много курили гашиш и пили дешевые крепленые вина. Слушали всякую дурацкую музыку, “Агату Кристи” и так далее. Он иногда кололся. Приставал все к грузинам, чтобы ему привезли. Давал денег, а те его надували, привозили шприц с мутной водичкой, варили выборку, наверное, да ему давали. Он

вкалывал в себя эту дрянь и говорил, что не цепляет чего-то. Они ему тоже жаловались: "Нас тоже что-то не цепляет! Товар, наверное, плохой!" А сами кривые ходили, засыпали на ходу. Потом его избили. Армяне. Парень сам драку затеял. Вместе пили, вместе курили, а потом он в бутылку полез. В нашу комнату прибежали афганцы. Говорят, что там в комнате русских крик и бой. Поторопили меня выяснить. Я был единственный русский в тот день в лагере. Побежал, один. Забежал за билдинг и услышал: "Я тебя сука сейчас на глазах твоей жены в жопу выебу! Сука! Ты понял! А потом твой жена сосать у тебя на глазах у всех нас будет! Сука, ты понял меня!" — Дело было хреново. Более чем... Я побоялся стучать в окно. Я стоял и во мраке слушал, как парня дубасят. Побежал искать Тико. Это был его лучший дружок в кэмпе. Но Тико играл в бильярд с каким-то жутким гориллообразным армяшкой, который и привез всю эту шоблу. Я побежал к Ханни, потребовал, чтоб тот вызвал полицию. Но тот отказался использовать свой телефон. "Телефон высветится у полиции! Ты с ума сошел! Я не идиот! Звони из автомата! У меня нет карты! А лучше не лезь вообще!"

Я пошел к двери, сам; за дверью их слышал, слышал, как их бьют, насилуют; я уже взялся за дверную ручку; подергал, стукнул в дверь. "Эй! Откройте! Прекратите!" — На это, конечно, никто не обратил внимания. Я стоял и слушал. Представьте пытку. Человека, единственного человека, который имел какое-то отдаленное, пусть умозрительное, но все же отношение ко мне... Человека, с которым у меня была какая антропонимически-мистическая связь, известная мне одному, человека, у которого было такое же имя, как и у меня, насильовали. И его жену тоже. А я стоял за дверью и слушал! Это был кошмар! Я снова побежал к Тико: "Эй! Твои орлы что-то не то там делают..." Он разобрался. Выгнал негодяев из комнаты, выгнал их из лагеря на хуй вообще! Послал подальше! Но толку-то: ребята остались с такими синяками, что смотреть было страшно. Насильовать, правда, как стало ясно, их никто не насильовал, но все же... Вскоре они ушли, в Германию, ничего о них больше не было известно. Да, совсем ничего, и ладно... Это было даже хорошо, что о них ничего не было слышно; мне это помогло их поскорее забыть, забыть осно-

вательно, чтобы не испытывать этих уколов умирающей совести, совести, умиравшей вместе с моей прежней личностью, со всеми теми принципами, которые мне привили насильственно.

Я все время жил как бы в тени, в тени вымысла, под зонтиком своей лжи, которую день за днем не только подтверждал, но делал все более и более правдоподобной и ветвистой как древо. И никто, никто и никогда не докопался до правды, никто не поймал меня, никто не смог уличить; я был скользким как угорь, я был чувственным, а потому правдоподобным. Я изображал ностальгию так мрачно. Я рассказывал о Ялте такие красочные, такие живописные вещи, выпускал в разговоре такие цветы, что ни у кого не возникало сомнения в том, что я говорю чистую правду. К тому же, я был в Ялте раз, в детстве, с мамой, мы там прожили целую неделю, — а неделя в детстве идет за несколько лет! — Я впитал этот город всей кожей, — а после этот город так красочно всплыл в “Ассе”, что ошибиться было нельзя... Да и беженцем я не был, чтобы врать; у меня не было резону извираться!

В те дни я три раза говорил Хануману, что я — боже праведный! — не могу чувствовать ни нежности, ни тем более любви. Я говорил, что не люблю Виолетту. Я плевать, вообще плевать хотел на то, что между нами происходит! “Зачем все это надо? С какой целью все это? Зачем я нужен? Зачем я здесь? Чего я жду? Почему не брошу все на свете и не уйду? Зачем кэмп? Зачем мы тут томимся и этих девочек мучаем?” И тогда Хануман начинал раздувать щеки и хохотать! Позднее мне стало ясно, что делал он это деланно, притворно. Сверх всякой меры самоуверенно он раздувал меха своего смеха. Даже неправдоподобно уверенно. Он говорил, что мы планомерно придвигаемся к нашей цели, в упоминании которой нет какой-либо надобности, ибо так часто она была уже упомянута, а потому он не станет себя утруждать излишними упоминаниями, что является нашей целью и так далее... Все это было просто красивой патетической бредятиной и ничем больше. Ему нужен был компаньон, и он подыскивал себе товарища по несчастьям. Чтобы не чувствовать себя так одиноко. Или чтоб его собственная потерянная жизнь не казалась ему такой уж большой драмой, потому как есть тут еще и русский,

по имени Юджин, есть там Непалино, еще есть Иван на верхней полке, целая семья за стенкой, сербы, кого только нет. Его собственное положение рисовалось ему феноменом социальным, он видел в нем сложный аспект психологического отклонения, которое его как будто не касалось, он видел себя наблюдателем, ученым, который погрузился в мир перверсии для изучения болезни, имея скрытый иммунитет. Стратегия была проста: найти паспорт, с которым можно было бежать в Америку, страну всех нелегалов. Это тоже был синдром беженца. Это тоже была болезнь, которой болели многие, а потому Хануман не чувствовал себя одиноким. И драма его жизни становилась не его личной драмой, а драмой общества! Которое должно было переживать и молиться за него и всех прочих. Ужасно. Но именно так мне вдруг все это тогда представилось. Я это понял, как следует покурив. Я неплохо дунул, и вдруг увидел все очень отчетливо. Просто Хануман стал стеклянным. Я увидел, что он не мог выбраться из ямы нелегальщины, из этого клошарного состояния. Я не знал почему. Может, просто попал в водоворот, психологический водоворот, его засосала эта мания быть вне общества, даже не аутсайдером, а кем-то вне иерархии. Потому что для человека, который не имеет статуса, нет и места в общественной иерархии, где даже ауткаст нечто иное, даже бомж, потому что бомж — это человек, который некогда принадлежал к какому-то слою общества, а потом утратил эту скреплявшую его клеем жизнеспособности принадлежность к нему. А мы, мы были способны что-то делать, но все силы направляли на то, чтобы еще больше отдалиться от возможного сближения с местом в обществе, которому не принадлежали никогда, мы были всюду чужие. И вот ему нужен был товарищ в этом дрейфе на льдине.

Но после того, как из меня выходил дым, я плавно забывал эти откровения. Снова мыслил как прежде, без ясности, со свойственной мне близорукостью, не проникая вглубь, судя по вершкам фраз, которых было так много, что понять что-то было невозможно. Оставалось реагировать. Я оправдывал Ханумана, как и себя. Старался объяснить себе его драму жизни как-то иначе. Я был во власти бессилия. Был паралитиком, настоящим инвалидом. И кэмп был моим

лепрозорием, моей инвалидной коляской, моей дуркой. А Хануман — одним из тех больных, что могут сами двигаться, и одержимы настолько безумием, что готовы бежать из дурки на пару дней, чтобы нажраться, потрахать дешевых сук, но все равно вернуться, когда засвербит в желудке... Я был настолько туп в те дни, настолько безволен, что и не замечал, как сам Хануман боится остаться один на один с этой правдой, с правдой о том, что он сам себе лжет, и себе больше, чем мне! Ведь когда обманываешь кого-то — это полбеда, а когда себя — вот где грех-то! Потому как не обмануть другого, не обманув себя; грех начинается там, где начинается коррупция души. А начинается она с глаза на глаз в разговоре человека со своей душой. И если при этом человек кривит душой, комкает ее, как ему угодно, до размеров носового платка, то рано или поздно он сморкаться в нее, в душу, будет.

Вот это и происходило с нами, в те безумные ханумамбо дни, весной 99-го, в Фарсетруппе, в театре, в который мы вовлекли двух прекрасных сербских девушек... Две чистые души, которые мы отравили надеждой на что-то, разожгли в них огонь, мечту, веру в возможную Америку, веру в британские паспорта, успех, деньги, покорили языком, одеждой, жестами, улыбками, блеском наших глаз... О! Глаза мошенников! Глаза аферистов, фускеров! Мы, не обещая ничего, как бы обещали намного больше, чем те, кто обещал и, может быть, даже сдержал бы слово! Но мы не обещали больше, больше, чем те, кто сдержал бы слово!

Жасмина и Виолетта, видно, мечтали впервые; они верили в то, что их мечты могут воплотиться; нам же нужны были эти красивые мечты только затем, чтоб вскружить им головы, заразить! Парализовать их волю! Одурманить! Бедные девушки! Может, мы были достойны большего срока, чем педофилы? Будь небо хоть сколько-то ниже, уж молния не миновала бы нас...

Но, думал я, Бога нет, как нет и Дьявола! А значит, нет и греха, как нет и праведности! Небо дано только затем, чтоб поливать дождем и снегом землю, а земля — чтоб поглощать снег и дождь, и подобных мерзавцев, как мы, и таких невинных девушек, как Виолетта и Жасмина...

3

Май начался просто ужасно. Вся та весна 99-го была какая-то такая кривая, с изломом, как плохая польская дорога. Каждый месяц тянулся как фура за фурой. Дни были нагружены каким-то томительным ожиданием, они стали заметно длинней, и бессмысленней, будто в прозрачности того добавившегося и дробившегося сквозь жалюзи света обнаруживались с еще большей неотвратимой ясностью и безысходность и убогость нашей лагерной жизни. Тогда же Потаповых выселили из руин. Только они собачку себе завели, о чем так мечтали и Лиза и Мария, только собачка начала привыкать к русской речи и русскому обращению, а также к своему странному имени Долли, только более-менее свыклась с этой ужасной обстановкой, перестала трястись всем своим хиленьким тельцем и мочиться под себя на тряпку в прихожей, где ей постелил Михаил (в холодильнике!), как их попросили съехать. Пришел хозяин, молочник Хеннинг, и грубовато попросил их убраться. При этом, как говорит Потапов, датчанин несколько раз обозвал их цыганами, сказал что-то о чем-то таком нелегальном, что продавал Михаил. Какие-то велосипеды. Какое-то мясо и мешок картошки, который упер кто-то у соседа на машине без номеров. Что-то про вождение без прав и штрафы. Да еще и собаку завели! Ах еще и собака тут! О животных не было договора вообще! Собак держать нельзя! Одним словом — раусс! И они засуетились, а тот все поглаживал карманы комбинезона да подгонял: “Руссо, скюн дай! Йо, руссо, йо!”¹

Этого следовало ожидать. Это назревало. И назревало это в офисе, откуда и пришел приказ: Потаповы должны жить в кэмпе, и ни где больше!

Началось хождение в лагерь и обратно, с вещами. Таскали на себе

¹ вон, русский! Давай, пошевеливайся!

все, что не могло поместиться в машину. Совершили около тридцати рейсов. В комнате все, что было за зиму приобретено, не поместилось. Поэтому внесли часть в нашу. И наша комната стала чем-то вроде секонд-хенда. Просто лапидарий какой-то! Михаил, пока таскал, скрипел зубами, смотрел волком; он чувствовал на себе насмешливые взгляды албанцев и арабов, которым лишь бы посудачить, посмеяться над кем-нибудь, а тут был такой материал! Столько пищи для анекдотов! Только вгрызайся зубами в нежное тельце! Русские въезжают в лагерь! Перезимовали в руинах и обратно!

Они так запарились таскать вещи, что обратились за помощью к нам. Но Хануман сказал, что ничего тяжелее своей папки он поднять не может! А пройти пешком больше ста метров просто не в состоянии по причине крайней физической усталости... Я сказал, что у меня болят ноги, просто невыносимо болят пальцы: опять мозоли, опять грибок; все такое. У меня наверное нашлось бы несколько сотен причин... Хотя бы потому, что нам с Ханни нельзя попадаться на глаза — никому! Самая большая причина! С этим не поспоришь!

Они ходили вдвоем, ходили, носили вещи, вещи, хлам... Наконец, въехали в билдинг. И вместе с ними въехал какой-то странноватый запах, который, как я полагал, они приобрели за время проживания в руинах. Я полагал, что это был запах сырости, запах мха, плесени, а также псины. Этот запах стал расползаться. Первым, кажется, его невыносимость почувствовал я. Я проснулся утром от того, что не мог дышать. Я сперва решил, как обычно, что это удобрениями с поля тянет, но потом, приняв хавшись и осмыслив запах, понял, что это нечто иное, это просто запах чего-то разлагающегося, чего-то отсыревшего, давно умершего... Запах набирал силу и властно распространялся дальше. Уже не я один стал водить носом и спрашивать, что бы это могло быть. Запах становился все более и более тошнотворным; пахло самой настоящей блевотиной, и запах шел не откуда-нибудь, а из комнаты Потаповых. Я стал спрашивать Ивана, в чем дело, что это за вонь. Иван ничего не сказал, как-то хитро и виновато повел плечом и не сказал ничего. Видно было, что скрывал что-то, знал и скрывал. Когда запах стал есть глаза и у Ханумана начался

от него приступ астматического кашля, он сквозь слезы и судороги в груди закричал, лупя ногой в стену: “Даже мертвый старик не вонял так ужасно, как вы, люди, там за стеной!”

Потапов пришел, чихая и вытирая глаза платком, он вошел в нашу комнату, весь красный, весь трясущийся и сказал: “Все бя, больше не могу на хуй! Пиздец!”

Меня вдруг сковал ужас, холодок пробежал по спине; я подумал, что уже несколько дней я не слышал его брани, не видел Лизу, не слышал, как скулила собачка. И жена Михаила Маша не выходила готовить! Не может быть!

“Не могу, бя, больше на хуй! У меня же аллергия!” — кричал Потапов.

“В чем дело, скажи толком!”

“Маша шелк красит, батик, платки для бабушек, на заказ, русская роспись. Но как эта краска воняет! Пиздец какой-то! Просто невыносимо! Я больше не могу! Все, бя! Стелите матрас мне тут!”

Мы его взашей: “Get lost! Go in hell! Fuck off, motherfucker!”; “На хуй пошел отсюда!”

Как выяснилось, его жена неплохо рисовала по шелку, знала технологию, ведь когда-то училась и прошла курсы какие-то; она и шила и вязала и все такое, на все руки мастерица да рукодельница, умница-благоразумница была наша Маша! Потапову пришла в голову идея начать производство платков и шалей. Он накупил на свои и Ивановы деньги шелка, краски, смастерил каркас, на который натягивался шелк, и наладил мануфактуру на дому. Он заставлял ее подшивать шелк, потом красить, потом не знаю что, все как там оно полагается. Маша работала по двадцать часов в сутки. Потапов держал свой бизнес в большом секрете, пока не перестал физически переносить запах краски, потому что, говорил он, если поначалу еще можно терпеть, но вот когда под конец банки образуются сгустки, вот они-то, бя, так воняют, что просто плевать хочется. При этом в комнате их был маленький трехмесячный ребенок, Лиза, да собачка, и они там без вентиляции сидели круглосуточно и дышали этим дерьмом. Думаю, если б бабушки узнали, какой ценой делаются шали и платки, которые они покупают, они бы отказались покупать эти

вещи, они бы нашли способ засадить Потапова за решетку, за нечеловеческое отношение к людям!

Хануман, когда я ему рассказал, больше не здоровался с ним; он просто называл его всякими нехорошими словами типа "motherfucker", "son of the bitch", "sistersleeper", "bloodsucker", "bloody bastard", "blasted bastard", "fucking miser"¹; слов было много, но суть была одна.

Вдобавок к запаху в кэмпе становилось грязней и грязней; я редко выходил из комнаты, а зайдя один раз на кухню, решил не заходить туда больше никогда. Я отказывался думать о том, что еда, которую готовил с Непалино для меня Хануман, готовилась на кухне, на плите, залитой черным слоем жира, с прилипшим к ней куском помидора. Следы от брызг жира с семенами кунжута, залипшими в нем, были повсюду! И на стенах! И на окнах! И на потолке! Просто везде! Обьедки! Колбасная шкурка! Хвостики от рыб в масле! Оставленные огромными военными сапогами давно застывшие следы по всему полу и потолку! Волосы с лобка в мойке! Рис! Волосы с лобка на подоконнике! Соль! Волосы с лобка с ошметками колобка на бумаге для выпечки! Мука! Черте что! Просто свалка! И все это воняло... Такой грязи я не видел нигде и никогда! Даже бомжи на пязэскуляской свалке были более чистоплотные, чем арабы и албанцы, которые жили в нашем билдинге!

Появились, наконец, тараканы. Первый таракан появился посреди белого дня на белом столе, на котором только что мяла свое тесто албанка; красивый жирный черный таракан бежал по белому, посыпанному мукой столу, а за ним, на четвереньках, и тоже по столу, и на всех четырех, бежал сомалиец, и туплей наносил удары. На все на это глазели арабы и хохотали; они еще не понимали, что их ждет впереди. Второй и третий тараканы появились у мойки; на них даже не отреагировали, как на первого. Затем они поползли из всех щелей, и к этому почему-то все отнеслись совершенно нормально, как к чему-то неизбежному или даже необходимому, как к волосяному покрову или сыпи на коже. В конце концов, тараканы заполо-

¹ сукин сын, насильник сестры, кровосос, чертов ублюдок, проклятый ростовщик

нили весь кэмп. И Хануман стал звать наш лагерь красивым словом: “cockroachium”¹. Однако, веселей от этого нам не стало!

Как рассказывал Иван, он однажды вышел в кухню, сделать себе ночью чаю... Нет! Его заслал Хануман! Да! Его заслал Хануман. Сам он бы не поднялся. Хануман послал его сделать индийский чай с медом и сливками, потому что у Ханумана началась его мигрень, “дикая мигрень”, говорил ему ночью бессонный Хануман, “такая особая мигрень, которая начинается у всех индусов после перемещения в Европу... тебе этого не понять”, говорил он Ивану, который ловил каждое слова индуса, боготворя его как гуру. “Такая особенно свирепая мигрень, которая случается у тех, кто перебирается в северные страны... эта мигрень такая же обычная для индуса вещь, как и ностальгия... но она мучает нас еще сильнее любой ностальгии!” Иван готов был ему ноги мыть и спину мять, и в сито воду носить! Так его заворожил Ханни. Иван был ради него готов на все. Я об этой мигрени слышал тысячу раз. Начиная со знакомства. По словам его эта особая мигрень обычно начинается в левом виске, расплзается как паутина по всему левому полушарию, и в итоге, как утверждал Хануман, он ничего не может потом слышать на левое ухо, ничего не видит левым глазом, или почти не видит, или видит, но как в тумане... Он ничего не может есть; он с трудом управляет левой рукой и левой ногой; от головной боли не то чтобы аппетит пропадает, но его даже тошнит, а иногда он говорил, что его даже рвало, но, скорей всего, он врал... Он попросил Ивана сходить, принести ему чаю, потому что только чай он и мог пить, есть не мог, но чай мог, да... Так вот, Иван вошел в кухню, в три часа ночи; он сперва не понял, что происходит. Вся кухня шевелилась, кухня была черной, движущейся, живой. Он подумал, что ему это снится. До него не сразу дошло, что все было облеплено тараканами и все они сновали. Это было похоже на тучу саранчи, которую он видел летящей из Киргизии в Туркменистан, когда служил в армии; у него возникло впечатление, будто стая саранчи залетела в кухню и остановилась пообедать.

¹ тараквариум

Это дошло до офиса; приехала антипестицидная бригада; все опрыскивала несколько часов, всех нас выгнали на улицу. Мы с Хануманом и еще тремя нелегалами из Шри Ланки спрятались в поле за высокие кусты, стояли и курили. Ханни разговаривал с тамильцами о чем-то, поднялся ветер, пошел дождь, весь лагерь был под дождем. Бригада уехала; азулянты вошли в билдинги, которые воняли еще хуже, чем краски Потапова. Несколько часов выметали кучидохлых тараканов; при этом албанские и сомалийские женщины тут же начали готовить пищу, хотя всех предупредили, что как минимум сутки нельзя ничего готовить. И несколько дней спустя выстроилась очередь к медсестре — с отравлениями. С тех пор мы всегда готовили только в нашей комнате, даже полуночный чай.

Тоже в мае... Лиза и ее курдская подружка прибежали к нашим окнам наперебой галдя, что там! В контейнере! Лежит что-то! Но что именно, мы не сразу поняли, рассудок отказывался понять и переварить и уяснить или поверить в то, что они нам кричали. "Голова мертвой лошади и копыта!" Мы с Хануманом, как любители всего бизарного, как любители натурализма, пошли посмотреть, правда ли. И действительно, в контейнере, среди папки и черных пластиковых мешков, наряду с обычным мусором, в таком же обычном пластиковом черном мешке лежала огромная голова лошади (как мне показалось, пони)! И копыта. Много крови; много крови растеклось по дну контейнера; и уже, не обращая внимания на собравшихся людей, ползали, сновали, попискивали и лакали кровь огромные серые крысы.

В том же месяце Потаповых вынудили избавиться от собачки: в лагере запрещалось держать животных. Им удавалось утаить от всех крысу в банке, но собачка примелькалась. К тому же с ней стали случаться странные вещи. Во-первых, Потапов ее бил, пинал ногами, душил, кидал, как мячик, и все кричал на Лизу: "Видешь, как эту собачку возьму и придушу тебя, дуру, если есть не будешь!"

Потом собачку держали снаружи, в коробке под окном, откуда та выбиралась и все норовила юркнуть в дверную щель. А если не удавалось, то пыталась запрыгнуть в окно. Но если и окно было плотно закрыто, то она просто вставала на задние лапы и скули-

ла, кружась. Затем начинала выть, лаять, рычать, плакать. Я не мог спать. Меня это просто бесило. Я мечтал, чтоб Потапов прикончил ее. Иногда открывалось окно и огромная лапа Михаила махала собачонке, и та визжа прыгала внутрь, и затихало. Но вскоре случилось и вовсе нехорошее дело. Михаил пришел в офис, с большой сумкой. Из нее он достал собачку и поставил ее на стол директора кэмпя, причем повернул собачку к лицу оторпевшего директора задом. И указал на то, что, дескать, собачка была изнасилована. Он указывал на следы насильственного вторжения в известный орган собаки, вторжения чего-то такого, что было явно в размерах более того, что бывает у обычных собак, и по его разумению, принадлежало человеку, и не просто человеку, а человеку арабского или албанского происхождения. Его даже не стали просить объяснить эту странную теорию, а попросили убрать животное, и самому убираться, немедленно! В офисе потом долго смеялись. Возмущались. Отплевывались. Каких только эмоций не вызвало явление Михаила с собачкой! Об этом нам рассказывал Свеноо. Он тоже не верил, что кто-то мог бы... "Нет, Мишель, нет! — кричал он. — Нет, это невозможно! Это уж слишком, мой дорогой, нет! Осла! Мула! Большую собаку — да, еще можно. Но такую маленькую собачку, как Долли — не-ет, Мишель, не-ет, дорогой, не-ет! Это уж слишком, даже для арабов! У тебя большое воображение!"

У Михаила действительно было большое воображение. Ему не терпелось, чтоб его теория подтвердилась, и чтобы случился громкий скандал. Он требовал, чтоб Хануман или я, или оба мы написали огромную статью об этом инциденте, он бы нашел свидетелей! Надо было непременно сфотографировать собачку, и все, что там у нее повреждено! "Нужно устроить экспертизу!" — кричал он, выпучивая глаза и махая крабьими своими клешнями. Он, казалось, был готов сам, сам ее изнасиловать, лишь бы случился скандал. Скандал! И чтоб во всех газетах написали! И о нем, как хозяине, тоже!

Вскоре собаку приютили датчане, которые жили неподалеку от кэмпя. Долли сама к ним прибилась. Ее часто видели играющей с датскими детьми. Лиза тоже иногда приходила к ним поиграть с Долли. Но Михаил ей запретил. Он однажды пришел к ним с ви-

зитом. Сообщил прямо с порога, что заплатил за Долли 500 датских крон, и раз уж те забирают собачку, то он бы на правах хозяина хотел бы получить — “компенсацию”, как он это назвал; и ушел, деловито запихивая кошелек в свой внутренний карман. Поправляя при этом воротничок. Водя двойным подбородком. Приглушенно прочищая горло.

Частенько потом, по пути в магазин, проходя мимо дворика новых хозяев Долли, он мог позвать ее, и я видел, как собачка, услышав его голос, вздрагивала и начинала трястись, как безумная; она начинала озиаться, прижимая хвост, писая под себя... Боже, думал я, чего она натерпелась, бедная!

4

К нам частенько заходил отец Жасмины. У него были важные дела, которые он должен был с нами обсудить. Так как мы считались (это была работа Ханумана, конечно, он всех неустанно зомбирова) весьма сведущими людьми в области легальной и нелегальной иммиграции, а также всего того, что касалось нарушения всех границ, включая границы приличия. Отец Жасмины, которого Ханни звал Здравко, потому что не мог выговорить его имени как требовалось, потому что оно не умещалось на языке Ханумана целиком, а поэтому оно не уместилось и в моем сознании тоже, был мучим одним вопросом: где бы осесть, чтобы ничего не делать, но получать хороший социал. Хануман ему все рассказывал сказки о Швеции. Эти сказки поражали воображение старого серба. Тем более, что он уже прежде от кого-то слышал подобное. Серб еще говорил, что ему надо учить английский, бурчал под нос, что английский где угодно пригодится. В дрожь бросало от его фраз. Он и правда готов был оказаться где угодно, и английский ему воображался основным подспорьем. Так он себе это внушил. Я мог ему сказать, что есть тысячи мест на карте, миллионы задраенных камер в каждой стране, где английский ему точно никак не пригодится, — но, разумеет-

ся, молчал. Он был так жалок, что его можно было раздавить одной фразой. Он все время испытывал неловкость. Жался в себя и покусывал губы. Приносил с собой бутылочку дешевой датской водки, набивал трубку и требовал, чтоб Хануман начинал ему рассказывать о Швеции, Индии, Греции, тех странах, в которых он, серб, сам не бывал, но хотел бы непременно побывать, хотя бы даже в воображении, или ощутить близость и досягаемость тех стран в компании человека, который там пожил. Он думал еще, что таким образом учит язык. Задавал он массу безграмотно построенных вопросов. И никогда не получал ни на один из них прямого ответа. Если он не понимал какого-то слова, то поворачивал ко мне изумленное и очень серое лицо и спрашивал почему-то по-польски: "Цо то ест?" Для него я был учителем и переводчиком. Хотя я ни разу ничему его или кого бы то ни было не научил, и ни разу ничего не перевел, так как ни сербского, ни польского, ни румынского я не знал. Я очень быстро устал от его общества. Последней каплей была эпопея с Австралией. До серба дошли слухи о том, что в лагере Гульме, где держали преимущественно одних сербов и албанцев, несколько семей написали какие-то обращения и послали в Австралию. И совсем недавно, через какие-то два месяца, они получили приглашения, и успешно отбыли в Австралию, для — как утверждал Ханни — дальнейшего рассмотрения их дел. Но серб был настолько очарован этой фантастической историей, что ему не терпелось повторить успех первопроходцев из Гульме. Он потребовал, чтоб Ханни узнал все о перспективах переселиться в Австралию. И Ханни распечатал три килограмма бумаг из интернета, принес и сказал, что вот это те самые бумаги, которые надо заполнить и отослать в Австралию, на рассмотрение. Серб глянул на таблички, на законы, на параграфы в строках, на графы, на схемы, на вопросы, на анкеты, сказал: "Ебо те в гузицу, бюрократия! Катастрофа!" И сел на шею Ханумана, слезно упрасывая помочь ему в этом деле разобраться. Они с Хануманом вместе заполняли эти бумаги. Они просиживали целыми днями. Это был полный идиотизм, о чем сам Ханни начинал орать, как только дверь за старым сербом закрывалась: "Идиот! Он думает, что их примут в Австралии! Кретино! Вот!" — кидал он мне в лицо другие бума-

ги, которые распечатал из того же интернета. “Вот! Посмотри на эти статьи! Это расследования комиссий! Это о лагерях! О закрытых лагерях! О закрытых австралийских лагерях! Закрытых! По пять-семь лет людей держат в тех лагерях! Они там живут, как индейцы в резервациях! Их не пускают в большие города! Без пропуска не пускают! Никуда! Да-да! Они живут в резервациях! В пустынях! У них нет адвокатов! У них нет ни малейшего представления о том, как продвигаются их дела! Не далее как три недели назад по Си-Эн-Эн показали интервью с директором австралийского Директората, который отстреливался от журналистов, утверждал, что у них нет закрытых лагерей! Паршивый лжец! А как его приперли к стенке! Фотографии! Отрывки из видеофильма! Свидетельства! Все! И эти туда же! Там дела рассматриваются по десять лет! И потом, потом... Потом они не имеют вообще ничего! Жрут кроликов и сеют маис! И что хуже всего, ты тут в Европе, и если тебя депортируют, если гонят куда-то, ты хоть куда-то едешь потом, хотя бы домой, а там тебя загоняют в резервацию и оттуда ты уже никуда не денешься! Ни домой! Никуда! Потому что оттуда даже не депортируют на хаус! Тебе не дают вида на жительство и работы! Но и домой не высылают! Потому что это чертовски дорого стоит! Потому что их так много, так много, что если всех беженцев из тех пустынь выслать, то австралийское государство должно потом всех своих кенгуру и ленивцев забить, потому что жрать после этого им нечего будет!!!” — Поэтому вся эта волокита с бумагами насчет Австралии была с его точки зрения чистым безумием и ничем больше. Однозначно.

Мать Жасмины Богумила была женщина высокая, тонкая, остроносая, шустрая, но тихая, очень хорошо готовила. Мать Виолетты Борислава тоже. Они все вместе решили заполнить анкеты и подать на рассмотрение в Австралию, и вся эта волокита была для нас с Ханни полезна только тем, что они нам носили еду, курицу и выпивку, пока мы помогали им заполнять эти бумаги. Но боже, как тяжело все это было! Как бессмысленно! Как безнадежно! Как неловко мне было смотреть им в глаза! И видеть там страх! Перекошенные, лихорадочные, больные лица... Их помяла боязнь депортации, как вечная бессонница, а надежда затеряться в Австралии, обрести там

статус, эта нелепая надежда омыла и взбодрила их ненормально, как кокаин. Мать Виолетты говорила, что у них там какой-то родственник, и Здравко приговаривал: “Будем держаться вместе, будем держаться вместе, все ж лучше, вместе... Правда?” — так говорил он и смотрел в мою сторону. Я, конечно, кивал. И был себе отвратителен! Я был себе отвратителен тем, что принимал из их рук пищу, помогал переводить документы, заполнять анкеты и при этом ничего не делал, чтобы развеять их нелепые иллюзии. Но и не подпитывал тоже. Под конец мы с Хануманом говорили по-сербски лучше, чем они по-английски. Мне смешно вспоминать сербов, которые быстро говорили Хануману что-нибудь, перекрикивая друг друга, а он им важно, открытыми кистями отодвигая невидимую стену перед собой, говорил по-сербски: “Полако, полако!”¹

Тем временем Зенон и его семья получили позитив — наконец-то! Зенон тут же устроился на работу в отель, где он якобы был гарсоном в ресторане. Интересно, смеялись все, кому он там накрывает, если никто не ходит туда вообще! И спрашивали его, когда попадался в лагере (ведь он от скуки продолжал ходить в лагерь): “Эй, сколько чаевых вчера получил?” — Они получили огромные подъемные, ходили по магазинам, покупали мебель.

Маша попалась в магазине с трусами. Она якобы шла покупать подарок для Михаила, но в магазине обнаружила, что по пути потеряла сто крон, которые Михаил ей выдал на подарок для себя, и решила, что сопрет что-нибудь. В результате попалась с трусами. Я слышал брань за стенкой. Я не слышал, а чувствовал, как трясутся стены нашего курятника. Я думал, он убьет ее. Его довела эта лагерная жизнь до ручки. Почему-то, когда я узнал о том, что Мария потеряла деньги, которые ей выдал Михаил, у меня мелькнула мысль, что она не потеряла тех денег, а Потапов сам их у нее из кармана выудил. Когда я бросил это вскользь Хануману, тот моментально со мной согласился и крикнул: “Он запросто мог это сделать! Он не мог, а сделал это! Он сделал это! Проклятый ублюдок сделал это!” Потапов мог это сделать, — запросто, — я несколько не сомневался, — более того:

¹ тихо, тихо

я уверен, что так он и сделал! Потапов был так жаден, и еще он ненавидел весь мир, что ему было необходимо сделать что-нибудь именно вот такое!

Вскоре Жасмину с родителями депортировали; они так и не дождались ответа из Австралии. Их депортировали, в раз, пришли рано утром, часов в семь, дали двадцать минут на сборы и отправили прямиком в Каструп, в аэропорт, рейсом на Сараево, что ли, с пересадкой, кажется, в Берлине или Франции, не знаю, порой маршруты бывали самые причудливые. Могли и в Сербию выслать через Испанию. Могли албанца вести через Арабские Эмираты. Одна сербохорватская семья поехала домой через Фарерские острова, где получила разрешение на убежище! Про них даже фильм потом сняли.

Хануман был в депрессии, в легкой, но переносил ее как простуду после пулевого ранения. Надо сказать, ему эти люди поднадоели. Это было избавлением. Иной вот такой друг гораздо хуже, чем мерзкий сосед. Но все равно Ханни не удержался и запил, потом закурил. А курил по большей части всякую дрянь, так как ничего хорошего под рукой не было. Приходилось довольствоваться табачными самокрутками, отмоченными в молочке диких маков, стебли которых он собирал в местных садах, где все головы уже посрезали грузины; бред полнейший! Я ни разу не пробовал; подозревал, что такое вряд ли вставляет. Но он утверждал, что еще как вставляет, “э-о-эй как вставляет, май мэ!” Я качал головой, соглашался, сочувствовал... Виолетта плакала, она говорила, что мама получила депорт тоже, что в течение месяца их гуманитарное дело по болезни матери рассмотрят и вышлют тоже; все! Сказка кончилась! Мы больше никогда не увидимся... Я вздыхал и думал про себя: “Ой, как скучно... Ой, как тоскливо... Так тоскливо и так скучно...”

Обдолбавшись в конец и не соображая ничего, Хануман стал ей говорить, чтоб она не отчаивалась, а поехала искать счастья в Швецию; пусть поедет туда одна, ведь она же ребенком тут сдавалась...

“Нет, — сказала она, — мы сдавались как взрослые...”

Я подумал с усмешкой: “как взрослые”... Две буренки...

“Так сдайся как ребенок в Швеции! — закричал Хануман. — Паль-

чики брать не станут... Скажешь, что сирота, что цыганка, что ни писать, ни читать не умеешь, что даже не знаешь из какой страны тебя привезли! Для цыган все одно! Весь мир табор! Им плевать на границы и государство! Придумай что-нибудь страшное! Скажи, что родителей расстреляли мусульмане! В Боснии... или где-нибудь в Бухаресте! Где сейчас цыган не гоняют?! Скажи, что хотели продать в проститутки, для педофилов каких-нибудь! Наплети что-нибудь такое и плачь, плачь! В Швеции воды в каналах много, они это любят, так плачь! Затопи их слезами! Пусть тоже прослезятся! Это еще прокатывается, давай!" — и, точно следуя совету Ханумана, она тут же начала плакать, причитая:

"Я не хочу с вами расставаться! Не хочу ехать одна! Что я там одна буду делать! Без вас! Без мамы!"

Я уже хотел выйти, но Ханни меня остановил взглядом, а ей говорил: "Найди себе хорошего богатого парня, какого-нибудь шведа! Или местного экс-югослава! Там полно парней вроде Ибрагимовича! Породитсый скакун... Или все-таки шведа! Там их пока что больше, чем иностранцев! Да, пока что! Так что еще не поздно и можно найти и настоящего шведа в Швеции! Выйди за него замуж! А если надоест, бросишь по получении паспорта! Паспорт есть, квартиру дадут, наберешь всяких кредитов в банке на учебу, выучишься, не дура же, получишь работу! Найдешь парня получше! Будешь жить как человек!"

"Я не хочу таким способом!"

"А что тебе не нравится? Так или иначе... Какая разница? Все средства хороши, когда сроки поджимают, депорт на носу! А?"

"Но это все равно как продать себя!"

"Ну знаешь, дорогая, все продают себя, все! Особенно артистические натуры! Художники и киноактеры, все себя продают! Оглядишься вокруг, все эти чистенькие миллионеры насквозь прогнили, коррупция вокруг, коррупция! Мир — это рынок, большой рынок! На нем индусы продают свою кухню и религию, продают статуэток, сандаловых будд, хэхахо! Китайцы продают свой кунг-фу, дзен, бог знает что еще, чай, например! Японцы продают электронику и астрологию! Американцы — гамбургеры и оружие! Француз — открытку с Эйфе-

левой башней! Итальянец — с Пизанской! Египтяне продают пирамиды! Мы все что-нибудь продаем! Самые хитрые продают подороже! Каждый в этом кэмпе пытается продать свою родину, в обмен на позитив! А ты же красавица! Ты сама по себе произведение искусства! Так продай себя так хорошо, чтоб не осталось привкуса рынка! Продай, как ювелирное изделие! Продай себя, как редкий алмаз или жемчужину! Приправь это чувствами, иллюзиями. Убеди себя в том, что ты любишь человека, с которым спишь, что тебе нужен не паспорт его, не его благосостояние, не страна с ее сбалансированной системой социального обеспечения, а что ты действительно любишь и выбираешь путь маленькой лжи ради большого счастья своего ребенка, которого можешь, кстати, зачать здесь, с человеком, которого любишь. Я имею в виду Юджина, если ты все еще любишь его...”

“Поэтому я и не хочу никуда ехать без него! Поехали со мной, Евгений, поехали вместе!”

“Нет, — сказал я, покачив головой, — нет, я не могу...”

“Но почему? Почему ты не хочешь ехать? Что тебя держит здесь? Что тут такое? Ради чего ты не едешь со мной?”

“Не знаю, я не чувствую зова ехать... Может, я и поеду, может и скоро, но только не в Швецию... или в Швецию, но не сейчас... дай мне подумать с недельку, хорошо?”

“Ну а ребенка-то ты хочешь?”

“Нет, этого я точно не хочу, в этом я уверен точно!”

“Почему?”

“Потому что я достаточно хорошо знаю этот мир, и чем больше я его знаю, тем больше ненавижу; я не хочу, чтоб моему ребенку пришлось продавать себя; не хочу вводить в этот мир душу, то есть давать плоть и предоставлять условия для ее гниения и страданий; я не хочу заниматься ловлей души, обретающейся в иных сферах, не хочу заниматься тем, что называется...”

“Все ясно! Все ясно! Мне все ясно!” — она ушла, громко хлопнув дверью.

“Дурак, сказал Хануман. — Ты дурак! Какой ты дурак! Ты бы мог ехать с ней в Швецию! У тебя был бы ребенок и позитив! Но ты... ты такой дурак...”

“Я не хочу, не хочу! Пойми! Пусть я лучше буду дураком в твоих глазах, чем поступлю как свинья! Использую ее! Сделаю ее дурочкой! Пойми, у нее есть будущее...”

“... в котором никогда не будет никого лучше, чем ты, — сказал он, поднимая и бровь, и указательный палец. — Все, дискуссия окончена! Конец басни! Ты — эгоист, но глупый эгоист! Потому что твой эгоизм даже тебе самому не приносит никакой пользы! Он тебе во вред! Ты не умеешь быть даже эгоистом! Потому что играешь в гуманизм, в честного, совестливого! Хэхахо! Юдж! Ты якобы не лицемер! Ты якобы чист! Хэхахо! Чист? Да! Совесть чиста и спит спокойно в дерьме! Ты просто дурак! Лучше не спать и испытывать муки совести, но в Швеции! В пуховой перине! С красавицей-женой и ребенком, да несметным счетом в банке! Чем не иметь ничего и спать спокойно, без уколов совести... В дерьме! Эх, ты, дурак, Юджин, просто дурак... Ты неплохо играешь в шахматы, пишешь, есть у тебя идеи неплохие, иногда ты умеешь неплохо одурачить человека, но толку никакого от всего этого нет, потому что ты пропускаешь самый главный свой шанс, когда он подворачивается, ты не делаешь главный ход тогда, когда можешь выиграть решающую партию у Господина Бога! Ты отдаешь Ему ее — эту девушку, эту королеву на доске! И обрекаешь себя на множество других партий, которые ты можешь не выиграть, во всяком случае, не так легко, как эту! На! Возьми ее! Возьми сейчас и поезжай в Швецию! Пока там спохватятся, кто вы такие, кто да что, пока бумаги идут, компьютер работает, суд да дело, у нее будет живот величиной с арбуз, она родит и все, куда вас выгонят? В Сербию ее, что ли? А тебя в Россию, что ли? Они вас никогда не разлучат! Вы семья! У вас ребенок! Разыграйте попытку покончить с собой! Ляг в дурку с депрессией и помутнением рассудка от горя! И все! Паспорт в кармане! Цель достигнута! Я же говорил тебе! Говорил, что эти девушки нас сделают миллионерами! Не я, так ты! Такой случай! Возьми ее и все устроено! А там, где устроился ты, там и я устроюсь! Поеду к своей шведской суке, поживу, а там видно будет! Такой шанс нельзя упускать! Давай, иди, догони ее, сделай немедленно ребенка и вы в Швеции получите все! Они же гуманные! Она ребенок! Тем более! По всем статьям вы уникальная пара! Она

понесла ребенка в возрасте таком, знаешь, за что в Сербии ее или тебя в России... В общем, в Швеции вас приняли бы да обласкали всякими благами, а ты, дурак, этого не хочешь... Ты, видите ли, чистым и благородным перед собой хочешь быть! Ну и кому это надо? Кому от этого хорошо, кроме тебя, или твоей совести? Ей? Нет! Мне? Вообще нет! Кому тогда? Только тебе! Тебе! Эгоист! Чистоплюй! Чего ты хочешь? Чего ты вообще в жизни хочешь? Почему не хочешь ее? Ты же с ней спал уже! Так сделай ей ребенка, возьми в жены! Ты ей поможешь и себя вытянешь, дурак!"

"Ты не понимаешь... я не хочу примешивать к нашим отношениям обман!"

"А ты уже его изрядно примешал, ты уже здорово пустил ей пыль в глаза!"

"Да, но жизнь пока не сломал!"

"Так и не ломай! Не ломай, а сделай так, чтоб она счастлива была! Обмани и сделай при этом счастливой! Потому что она хочет быть обманутой! Все этого хотят! На этом построен мир и человеческие отношения! Сама коммуникация — сплошной обман! Чего тут философствовать! Вы поедете в Швецию, вас примут, будете жить!"

"Нет, как я буду всю жизнь смотреть ей в глаза? Как я буду с ней всю жизнь за одним столом, в одной постели? Может, я умирать буду и думать буду о том, что вот так поступил с ней, использовал ее, как транспортное средство... Что я буду думать о ребенке? Что я буду думать о нашем ребенке? Всю жизнь я буду смотреть на него и думать, что зачали мы его затем, чтоб получить убежище в Швеции! Я не смогу с этим жить!"

"Нонсенс! Все это просто патетический нонсенс! Я не хочу этого слышать! Ты слишком русский! А вы, русские, все такие идиоты! Идиоты! Самое обидное знаешь что? Сколько с вами не возись, а ни черта не сделаешь! Вас не переделать! Бесполезно!"

5

Потапов и Иван стали нюхать какой-то дешевый кокаин, который доставал Бачо. Этот Бачо был связан с самой настоящей датской мафией, такого же смехотворно мелкого помола, что и он сам. После того как он посидел в настоящей датской тюрьме три месяца, он вышел на свободу заматерелым, блатным и со связями, а также с перстнем на безымянном пальце и татуировкой дракона на левом плече. В билдинге у себя он ходил теперь в безрукавке, похлопывал себя по наколке и говорил: “Знаешь, что это у них на тюрьме означает? Авторитет нах, понял?! Рэспэкт, бля!”

Он все бегал ко мне с письмами от своих новых датских друзей, а я их переводил. Ох, там были какие-то зашифрованные тексты! Речь в тех письмах шла о каких-то коробках, которые будут доставлены в каких-то контейнерах из Германии и будут храниться в каком-то бункере. Иногда там были какие-то луковицы вместо коробок. Однажды в тексте фигурировали рыбы, которых надо было доставить на рынок каким-то арабам. Когда я переводил (а он требовал, чтоб я все слово в слово перевел, буквально, один к одному, чуть ли не калькировал), получалась чушь такая страшная, просто натуральный бред идиота. Но он, слушая, кивал и приговаривал: “Так-ага, так-ага, понятно, короче слушай все ясно, биджо! Благодарю!!!” — Хватал бумажку и исчезал на несколько дней. Возвращался серый, усталый, заходил к нам с очередным письмом и предлагал мне кокаин. Я отказывался; мол, у меня и так голова не на месте, мне не до кокаина, я отказывался. Он говорил: “Ну как хочешь, биджо, твое дело...” Но Иван, когда увидел кокаин, спросил, где можно его достать. Бачо сказал, что сам привезет, потому что человек, который ему дает его, не хочет никаких новых покупателей, у него свои люди покупают, “а ты мне дай деньги, биджо, я тебе сам привезу, прямо сейчас поеду, на бензин добавь чуть-чуть...” Иван давал деньги

одной купюрой, тот брал, говорил, что привезет сдачу после или потом, чего никогда не делал, потом привозил кокаин, говорил, что сдачи нет и не будет, вот, получи товаром, тут же говорил, что еще привезет, если хочешь, или есть деньги, чего ждать, давай пока есть! Иван или Михаил давали деньги; тот брал, ну так и возил...

Хануман как глянул на эти серые орехи, так и скис: "Ну что вы нюхаете, идиоты! Это же отрава! Просто дерьмо!" — А те мололи, мололи, толкли, потели, измельчали, подолгу, а потом нюхали, задрав головы, как будто глазолин какой-то! А нюхали они его почему-то через пятисотенную купюру, как будто это что-то меняло! А потом, когда оставалась пыль на зеркале, проводили пальцем по пыли и мазали себе десны, просто натирали их.

Вскоре у них начали болеть зубы. Михаил ходил и все время трогал их, пошатывая, или убеждаясь в том, что те шатаются. Вставал посреди коридора, трогал, трогал и говорил: "Шататься начали... блин... отчего бы это?" — Или садился с сигаретой на крыльце, трогая зубы, сидел-сидел и говорил: "Черт, правда шатаются!", — и с таким изумлением говорил, что хотелось ему съездить по морде! Иван тоже стал говорить, что у него распухли десны, и кровоточат. Михаил сказал, что у них, наверное, началась цинга, по всем признакам это была самая настоящая цинга! И, по всей видимости, началась она от нехватки витаминов. Сколько можно этой парашей с помойки питаться! Конечно, цинга на хуй началась! И он стал счищать кожуру, картофельную кожуру, он варил ее, сам ел и всех принуждал есть, даже жену с Лизой, у которых с зубами все было нормально. Он говорил, что это все от плохой пищи, тут в Дании всякое дерьмо! Низкокалорийный продукт! Потому что экологическая пища, вся экологическая пища низкокалорийная! "Мы, русские, не выдерживаем такой пищи! Нам настоящее мясо надо, понимаешь!" — говорил он, срезая веточки ели, из которых он потом варил еловый сок, сам пил и всех заставлял пить, приговаривая, что это рецепты Джека Лондона.

Ближе к середине августа Хануман стал распространять слухи о конце света, он просто издевался над людьми от нечего делать. Он толкнул речь в одном билдинге о том, что скоро будет затмение,

а затмение случается, предвещая что-нибудь страшное; и пошел в другой билдинг. А люди пошли за ним. В другом билдинге он встал в позу пророка и сказал: "Behold you idiots! Time has come to test your souls! The ultimate quest is about to take start and innumerable unpredictable things to descend upon your ignorant heads, bastards!!!"¹ Привел несколько цитат, якобы из Библии, сказал, что по всем признакам приближается конец света, предсказанный Нострадамусом, Сай Бабой и Вангой; и пошел в другой билдинг. За ним потянулось еще больше людей. Он привел всех в наш билдинг; в толпе появились Иван, Потапов и арабы. Хануман завернул речь о Y2K, о компьютерном коллапсе, о войне машин, о ядерных боеголовках, о том, что человек — самый большой паразит на теле планеты, но на самом деле планета, поддерживая и потакая популяции такого высоко-развитого паразита, совершает самое что ни на есть самоубийство. "Держитесь, идиоты! — говорил он. — Время пришло проверить на крепость сердца ваши! Живой станет глотать мертвого! А мертвый будет живее живого! Вижу черный снег! Вижу кровавое небо! Вижу стаи стервятников и гиен! Таракана на троне! Червя в чреве невинной девы! Антихрист грядет! Антихрист грядет! На костылях с забинтованной головой!"

И спокойно ушел в свою комнату.

Но на арабов не подействовало. Они сказали, что человека сделал Аллах, а все, что Аллах делает, все на пользу, так и должно быть, Аллах ничего плохого делать не может, потому что Аллах — это добро, Аллах — это хорошо, поэтому если должен быть конец света, значит он и будет, и затмения тут не нужны, затмения тут не причем, и если будет конец света, то это Аллах сделает, потому что все, что делается, делается по воле Аллаха, а он плохого делать не может, потому что Аллах — это хорошо, Аллах — это добро, и если все умрут, если полетят ракеты, значит, так решил Аллах, и это хорошо, "Уж мы-то точно на небо пойдем, а кто там сгорит, тот сгорит, неверный должен гореть, такова воля Аллаха, и это хорошо, потому что Аллах — это хорошо..."

¹ Имейте в виду, идиоты! Время пришло испытать ваши души! Окончательное испытание вот-вот начнется, и несчетное количество непредсказуемых вещей сойдут на ваши невежественные головы, кретины!

Михаил стоял с закопченным стеклом и пялился в небо, смотрел на солнце сквозь стекло; он это делал как-то так, как он видел в фильме про Ломоносова. Да, этому человеку несомненно нужно было увидеть затмение. Он сам своими узкими татарскими глазами должен был это увидеть. Ему непременно нужно было увидеть, как закатывается свет за мрак, как наступает тьма. И не одному ему это надо было. Он всех привел на поляну. Всю свою семью! Даже Адама на руках вынесли! Он его держал на одной руке и сквозь стекло смотрел в небо, и время от времени подносил к глазам пятидесятилетнего сына свое грязное стеклышко! Всем остальным он тоже выдал закопченные стекла, и всех заставил смотреть на солнце сквозь них. В том числе и Ивана, которого тоже не забывал, как члена семьи, о чем все чаще и чаще напоминал Дураку. Они стояли и смотрели, на небо, задрав головы, держали закопченные стекла, жмурились, смотрели, прикрыв свободной рукой часть головы, зачем-то кривя свои некрасивые рты. Михаил смотрел, смотрел и приговаривал: “Может, последний раз смотрим на затмение... Может, скоро всему конец... Как знать... Индус просто так трепаться не станет... Индия — страна мудрости... Оттуда все началось...”

Да, ему, конечно, необходимо было смотреть на небо; вот ему необходимо было верить в пророчество Ханумана. Он снова использовал это для собственной выгоды: он стал тратить все деньги, которые откладывал Иван на побег в Голландию. Иван действительно, насмотревшись на массовые депорты, взялся за голову: начал копить. И ехать он хотел не куда-нибудь, а в Голландию. Он заболел Голландией как раз тогда, когда мы с Хануманом, кажется, окончательно выздоровели, и даже думать о ней забыли. Но тут время подошло роковое. Иван вспомнил про голландцев, про семейку ассирийцев, которые в фургоне уехали в Голландию. Они тогда прислали всем электронное письмо, свидетельствовавшее о благополучности завершения их путешествия. Ассирийцы были сами из Москвы, отец был так называемый старый новый русский, разорившийся. Бежали они из Москвы спасая свои шкуры, и в основном — ради детей. Отец и мать по-ассирийски еще говорили, а вот дети их уже нет. Но в Голландии и они прошли интервью, и впол-

не успешно, потому что закосили под дебильных, которые говорить вообще не умеют. Из их письма следовало, что границу пересечь можно “легко!”, ментов на интервью наколоть “как два пальца обосаться!”, лагеря хорошие, все что нужно есть. А нужно им было: комнату попросторней, спортивный клуб да чтоб бутсы тут же выдали, так как пацаны без футбола жить не могли, и именно в Голландию только по этой причине и ехали. Ивану они написали, чтоб немедленно все бросал и приезжал, потому как без Ивана в их лагере совсем никак: уже проиграли кому-то там, потому что вратарь у них дырка. А скоро турнир на кубок беженцев назревал, и без такого стоппера как Иван выиграть турнир не представлялось возможным, так что Ивану было велено собираться. Ну Иван и начал копить. Хануман ему сам пообещал свести с кем надо, и как-то Ивана убедил в том, что сам в Голландию не поедет, и что та половина им сделанного взноса на паспорт и грузовик может быть как бы переведена на Ивана. Хануман сказал, что поговорит с кем надо, и вместо себя Ивана отправит, если тот ему сразу даст столько денег, сколько Хануман уже внес. Иван немедленно отдал Хануману три тысячи (Ханни мне потом признался, что тем он заплатил гораздо меньше, так что Ханни опять нагрелся). Иван сам списался с пацанами. Те писали, что “в Голландии платят, суки, мало”, “ну, не так много, как в Дании”, и еще писали, что “блин, сука, пиво тут хреновое”. Зато бабы в Голландии, как они писали, были такие, что гуляя по городу можно было просто кончать в штаны!!! И тут Иван уже просто лихорадочно начал копить. Михаилу это не нравилось. Сам он не хотел куда ехать. А то, что Иван — собачонка на побегушках — от него так запросто уходит, да еще со всеми своими деньгами, которые он — Михаил — всегда мог использовать, прикрываясь вывеской “семья”, он этого пережить никак не мог. Он стремился его отговорить, удержать. А потом решил как-нибудь завладеть его сбережениями. Но как, он пока что не знал; а там была уже тысяча с небольшим! Если не две! Чем меньше он знал, сколько там у Ивана уже скопилось, тем больше рисовалось в его воспаленном уме. А не две с половиной ли? Да все три! Ведь два месяца копит... Три с половиной! Это ж столько кокаина и гашиша! А тут затмение! Всемирный коллапс! По-

топ! Конец света! Зачем копить деньги, когда всему амба! Надо все тратить! И уломал как-то; они поехали в Ольборг, накупили там гашиша, и стали курить. Я им немного помог, самую малость; меня так плющило от жары в те деньки, что и курить-то не надо было, я просто сидел с ними в одной комнате, слушал их тупой базар, и меня плющило... Потом они быстро скурили все. Жара была страшная и она наливалась, она грозила разразиться чем-нибудь страшным, она обещала быть просто чудовищной! Хануман сообщал нам, что люди падают замертво в Эл Эй! В Городе Ангелов амбуланции не успевают подбирать трупы! Зверидохнут в таком количестве, что их даже не собирают! Они лежат и разлагаются! Повсюду пожары! Сибирь полыхает! Амазонский рэйнфорест горит! Распространяется какая-то зловонная чума! "А в Мексике, — кричал он, — в Мексике в это же самое время мексиканцы играют в снежки! Да-да! Они играют в снежки! В центре Мехико-сити прошел снежный буран! Чего никогда прежде не бывало! Вот так! Готовьтесь, идиоты! Хэ! Ха! Хо! То ли еще будет!!!"

Я уже не мог всего этого слышать. Потапов только и делал, что ездил в Ольборг за гашишем; он уже не мог курить, он кашлял так страшно, что я вздрагивал всем телом; он охрип, и кашель его был, как лай цепного старого пса. В комнате было невыносимо душно. Крыша раскалилась так, что если на нее залетал мячик, в который играли дети, то он моментально лопался. Все прятались в тени. Только в бадминтон играли тамильские педики, которые недавно вселились. Третьим на очереди в их игре всегда был такой неспортивный Непалино. Если волан залетал на крышу, Непалино влезал на лестницу и рогатиной сбивал волан с крыши, стараясь не касаться самой крыши, потому что Раденько до того уже имел неосторожность влезть за мячом и получил ожог!

Измученный тоской и духотой, я вышел на полянку в шлепанцах; ноги дышали, не прели, было приятно; весь потом обливался, а ногам было приятно. Тут еще солнце за луну закатилось так слегка, будто в обморок впадая, вообще стало клево! И я сказал Михаилу с Иваном: "А что если покурить вашей травки, дички?" — "Нет, — ответил Михаил, — рано". И в небо стал смотреть.

“А чо рано-то? Какая разница, все равно амба скоро. Давай хоть молока сварим!”

“А вот это уже мысль!”

И мы пошли в поля, искать их травку, которую Михаил, как он хватался, там посадил. Они стали плутать, мы забрели черте куда, нашли два растения, сорвали; хиленькие, таких минимум семь-восемь было надо, и то было неизвестно, получится ли... И тут я наступил на змею, она впилась мне в ногу! Я отчетливо почувствовал, как яд влился мне под кожу. Я лягнул ногой. Она отвалилась, как большая пиявка. Несколько секунд я надеялся, что это был шмоток проволоки. Но тут же стало ясно, что это змея. Как только она поползла. Она уползла. И затем я тихо сказал:

“Меня укусила змея...”

“Его укусила змея!” — закричал Иван в панике.

Михаил схватил палку и стал бить вокруг да около моих ног:

“Эх! Ух! Ах!”

Я стал прыгать и кричать:

“Дурак! Что делаешь! Дурень, бя!”

А он продолжал лупить меня палкой по ногам. Потом вокруг себя палкой стал бить и гопака танцевать с такой бледностью, с таким испугом в лице, что не передать! Я завопил:

“Что вы, идиоты, делаете! Надо отсасывать!”

Они встали вкопанными, уставились на меня и затрясли головами:

“Нет-нет, мы не можем! У нас раны во рту!” — и рты свои разинули, и десны кровоточащие мне показали...

И я понесся с воплями: “Ведите меня, ведите, бя, меня к Хануману! Где тут в этом лесу дорога? Бросай свои растения! Ведите! Завели черти!”

Один направо потянул, другой налево; круглые идиоты! Я бегом наудачу быстрее их прибежал и заголосил:

“Ханни-змея-соси!”

Ханни посмотрел на меня, как на умалишенного, спросил: “Что соси?”

“Вот, нога! Змея! Сосать надо!”

Хануман махнул рукой и сказал, что я вру.

“Ханни! Идиоты видели, сейчас подтянутся!”

Тут вдруг рядом возник Непалино, который, внезапно осмелев, сказал насмешливо: “Если его бы укусила настоящая ядовитая змея, он бы уже сдох. Но нет такой змеи во всей Дании! Все змеи вместе взятые должны укусить, чтоб этот сдох!”

И он захихикал, приоткрыв уголок рта. Непалино почему-то считал, что я просто образец выживания. Он брякнул свои фразы, повернулся и собрался куда-то шлепать на кухню, глянуть, не угодит ли его кто чем-нибудь. Я на него заорал:

“Сука! Эй! Я сказал, эй! Ты! Ублюдок, бя! Иди сюда! Сосать лубишь — так пососи палец на ноге!!!”

А Непалино обернулся в полоборота и так сказал лениво:

“Змеи в Дании так же ядовиты, как комары. Не будь идиотом. Не паникуй. Помой рану. Налепи пластырь. Поболит и пройдет. Дания поди не Непал...”

И пошлепал дальше, побрякивая ключами в штанах.

“Да ну вас всех на хуй, ублюдки!!!” — заорал я на них, и посмотрел на ногу; она начала пухнуть на глазах. Хануман присел, спросил:

“Какого узора на спине змея была?”

Михаил, тяжело дыша, сказал:

“Медянка была!”

Хануман, конечно, понять не мог.

“Если б медянка была, — сказал тоже по-русски Иван, — давно бы того...”

“Молодая медянка, молодая”, — настаивал Михаил.

“Да не медянка, не гадюка вообще, а уж...”

“Какой уж! — закричал я. — Я что, не почуюл, как яд в ногу влился?! Какой уж кусать будет?”

Хануман поднялся с корточек; таким серьезным я его еще не видел.

“Да, — сказал он, — это серьезно, надо к врачу...”

“Нет, — отрезал я, — не к врачу!”

“Иван, — сказал Михаил, — лети к врачу, скажи, что тебя змея укусила, пусть даст чего!”

“А как я докажу... у меня же нет раны на ноге...”

“Давай я ножичком ковырну пару раз!”

“Иди ты знаешь куда!”

“Хватит пиздеть! Надо ехать!” — запаниковал я.

“Куда?”

“Не знаю! Нога же пухнет! На глазах пухнет нога! Давай, двигай к машине, едем в город!”

Хануман достал свой мобильный телефон, набрал, чего не делал никогда, чей-то номер, и быстро заговорил на хинди; потом снова набрал; снова поговорил; снова набрал; поговорил; выругался на своем; снова позвонил; долго говорил; выругался; позвонил и заговорил по-английски: “Это последняя надежда, — сказал он, — уже не знаю, кому еще могу позвонить, все посылают... Змея укусила! Антибиотики? Какой пенициллин? Откуда я возьму? Да пухнет нога, каждую секунду вздувается... Ехать к тебе? Сейчас едем! Давай живей в машину!”

“Какую?”

“Твою, дурак, заводи, быстро в Ольборг едем, живо!”

“Бензина нет...”

“А голова у тебя есть? Живей!”

Мы сели в машину, быстро заправились у грузина; тот не взял денег, так как вошел в положение, когда ему предъявили мою ногу, которая вспухла так, что не хотелось видеть... Меня уже лихорадило; не то нервы, не то температура... Яд! Яд! Яд!

Машина еле тащилась; я думал, что это был мой катафалк; до Ольборга ехать было полтора часа, а мы ехали все три! Бесконечность! Как я думал, смерть была во мне и все вокруг ей было радо поспособствовать...

Въехали, наконец, в город. Михаил, который страдал топографическим идиотизмом в еще большей степени, нежели я и Хануман вместе взятые, не мог найти улицу, которая называлась Годхобсгэдэ. О, какое название! Когда же мы останавливались и спрашивали у прохожих дорогу, никто не мог понять, какая улица нам нужна, потому что никто из нас не мог правильно произнести это бесконечное слово, и потому надежда, которая таилась в этом слове,

отворачивалась и ускользала от меня. Я практически уже просто бредил. Я думал, что уже на три четверти состою из яда! Что во мне уже было литра два-три яду! Что я вот-вот начну гнить изнутри или зримо разлагаться!!!

Когда мы оказались на месте, я уже не мог наступить на ногу, которая стала втрое больше, чем была! Какая ужасная боль! Меня подняли, нога потянула вниз, она была такая тяжелая, что, кажется, была готова запросто отвалиться. Впрочем, как и другая нога, и рука, а голова, голова могла покатиться, и ее подобрал бы какой-нибудь бродяга, как кочан капусты! Меня пронесли мимо машин, двух столбов и человека, который стоял между столбами, с телефоном у уха и открытым ртом, он смотрел мне вслед немигающим взглядом. Я подумал, что сейчас он донесет кому надо о моей смерти, и людям с телефонами дадут отбой или новое задание: следить за кем-то другим.

Внесли в квартиру Хью. Тот сидел за столом с неким Полом, — меня никто не стал с ним знакомить... Оба стали изучать мою ногу. Пол сказал: "Во-во, точно как у меня, как эбойла, помнишь? Я чуть не умер тогда, капилляры стало рвать, кровь пошла по ноге под кожей, нога распухла, опухоль поднималась выше по ноге прямо к органам, моментально распухло бедро, если б не сыворотка, я бы сейчас с вами тут не сидел..." Хью дал мне пенициллин, три штуки, поставил ногу в таз с каким-то порошком; игнорируя нас, стал совещаться с Полом: "Чего делать?" — "Как чего делать?.. Парня надо спасти..." — "Сам вижу... спасти... Как?.." — "Надо думать..."

Они были здорово пьяные; пивных бутылок вокруг расплзлось море, ступить было некуда, даже одной ногой. Пол натягивал губы и все запасы кожи на лице, выражая тем самым полную неспособность принять какое-либо решение. Хью вращал глазами, утирал маслянистый рот, вздувался всем телом, тянул воздух. Пол шевельнул единственной извилиной на лбу и сказал, что надо ехать к врачу, если парень жить хочет. Я закатил глаза и сказал, что лучше умру, чем отдамся ментам.

"Ну причем тут менты? — сказал Пол. — Ведь есть врачи, которые не станут ментам ничего говорить!"

“Мы таких врачей не знаем...”

Пол сказал, что мог бы позвонить, но у него нет телефона. Хануман достал свой телефон. Пол позвонил, говорил пару минут, объяснил ситуацию какой-то Зузу, сказал, что нога выглядит ужасно, у парня температура, сам не знает, что говорит, почти бредит... “Доставить к вам и немедленно? Понял, будет доставлен,” и встал. Приказал отнести меня в машину. Нogu волокли точно якорь. Казалось, что некоторое время даже несли отдельно. Как ребенка на руках. И все же, все же — проклятье! — я не мог не задеть ею дверцу! Через семь часов я был в Хускего.

Но чего мне стоило это путешествие!

То трясло, то кидало в жар, тошнило, рвало, было неотвязное видение: неизвестная улица, по которой бегают стайка неразлучных карманных собачек, они бегут направо, и меня тошнит, налево — обдает холодом, и куда я ни посмотрю, туда они и бегут, неотвязно, и так это было мерзко, была в этом такая неизбежность, такое плохое предчувствие конца, ужасного, страшного конца, который наступил бы в тот момент, когда стайка карманных собачек бросилась бы врассыпную. Это было бы самое страшное! Самое немыслимое и самое страшное! Казалось, что я куда-то лечу, на каких-то прозрачных едва ли зримых крыльях. Приходил в себя, когда начинал трясти Хануман; он будил меня, заставлял говорить, бороться, а Пол говорил: “Оу, он уже совсем посинел, и синеет дальше, это не выглядит очень хорошо, не выглядит совсем хорошо, вообще охуеть, как хуево это выглядит!” И я провалился в бред, в котором кто-то дергал меня за ногу и что-то шептал, что-то пелось, что-то двигалось, что-то переливалось, вливалось в одно ухо зеленого цвета, выливалось через другое синего, все это бурлило, и я вместе с этим...

Когда я пришел в себя, доктор убирал ватку от моего обожженного носа; я задыхался, по лицу тек пот, я видел старичка: совсем старый, совсем ветхий старик, он стоял и говорил по-датски маленькой озабоченной женщине в платках, что — если я правильно понял — может помочь только одно, и немедленно, у него есть это, но вот он не знает, есть ли у меня аллергия и вообще, как мое сердцеотреагирует, она в платках сказала, что если это не сделать,

то я умру, а если сделать — то есть шанс: “Ну, — сказал старик, — если я сделаю укол и он умрет, меня привлекут!” — “Ага, тогда кто-то другой должен сделать укол?” — “Логично...” В комнате не было никого, никого, кроме нас троих, и Ханумана, но он был не в состоянии сделать укол, тем более в вену, потому что пока суть да дело, как выяснилось позже, его очень здорово накурили. Я внезапно пришел в себя, сказал, чтоб дали мне шприц! Доктор молча отломил головку от ампулы, наполнил и дал мне шприц. Все плыло перед глазами; я собрался, поймал вену, поймал, увидел, что в шприц брызнула и побежала кровь, не стал брать контроль, а сразу погнал по вене, уверенно, бесповоротно, не боясь, что задую, или что-то там, что бы ни было, а оно уже пошло, пошло, пошло с ветерком!!! Такая свежесть! Такая свежесть! Такая легкость! Я понятия не имел, что там было за противоядие, но меня понесло, понесло, и носило, да так, как никогда в жизни не носило! “Эй, док, — сказал я, — ты это... ничего не перепутал? Это случайно не фентонил, а?” — Тот посмотрел на меня, уже пергаментный и с глазами цвета рубина, и сказал: “Лучше тебе не знать, что это такое, и больше не повторять этого никогда, никогда, никогда...”

Все плясало перед глазами, я с трудом понимал, где и что за люди меня окружают; не хотелось ни есть, ни спать; ничего не хотел; только просил сигарет, которые иногда путали с джоинтом, курил все, что давали, пил чай, зеленый чай, который мне подносил огромный тощий негр, со стен на меня смотрели маски, они мне показывали длинные змеиные языки, они смеялись мне в лицо, что-то шептали; ночь кружилась, люди вращались, играла африканская музыка, танцевали странно одетые люди, курились куренья, дым плыл, плыл и я вместе с ним, а потом был рассвет, и неожиданно я обессилел, и провалился в глубокий сон...

Доктор выжимал из ноги гной, — я орал. Орал как в детстве. В голове пузырились видения. Боль порождала картины. Мне мерещилось, будто у меня в голове происходят взрывы, и где-то растут какие-то стены, башни, мосты... Это был бред, натуральный! Еще мне почему-то казалось, что доктор получал садистское удовольствие от этой процедуры; он пунктуально являлся каждый день, да-

вал мне пенициллин, ставил ногу в тазик, снимал повязку и начинал давить.

Когда доктор уходил, и я оставался один, в голых сырых стенах, мне становилось так плохо, так одиноко, так страшно, что хотелось повеситься. Во-первых, я не мог понять, где я и почему постоянно мерзну. На мне лежала груда одеял. Подле меня стоял радиатор. Он грел слабо, очень слабо, но все-таки грел же! В этом-то и было дело. В этом-то и была беда. Он грел, а я от этого не согревался, я не чувствовал тепла. Меня трясло. Начинали грызть опасения, что со мной что-то не так... В меня вселялась паника. Меня никак не покидали страхи, уже не смерти, а некая бесформенная боязнь потерять ногу. Во-вторых, у меня и правда онемела нога, умножая тем самым мои страхи, подпитывая мои спекуляции. В-третьих, шел бесконечный ливень за окном, стоял стеной, и какая-то до неприличия музыкальная капель играла внутри, в самой комнате! Дождь пробирался в комнату через крышу, которая тоже позвякивала и гроыхала; дождь капал на пол, в сырые тусклые пятна большого стертого в некоторых местах до дыр ковра; дождь капал на столик, на газету на столе, которую не дочитали в 1985-м году, 16-го июня, и бросили желтеть на столе; дождь капал на стулья, которые стояли так, будто кто-то вот только что сидел на них, или лет сто тому, и эти кто-то встали, вышли, оставив стулья именно так, и с тех пор их никто не трогал, сохраняя это исторически музейное расположение как дань уважения, и только дождь осмеливался на них капать, на пружинно выгнутое сиденье, на изогнутый подлокотник, на розочку на спинке. Я смотрел на эти немые стулья и меня не покидало странное ощущение, что эти воображаемые некто, кто вышли, пусть даже лет сто тому, обязательно должны вернуться, и они непременно вернутся, и вернуться они могут вообще когда угодно, просто когда угодно, они могут вернуться в любой момент; и монотонно капающие капли усиливали это ощущение, они словно нагнетали это ожидание. Там еще были какие-то бумаги, огромные кипы и папки, подшивки, распечатки, какие-то выступления, речи, доклады, рефераты, отчеты с каких-то семинаров, все было по-английски, но все равно ничего было не разобрать! Такая белиберда там была понаписана. С трудом вери-

лось, что за словами стояли настоящие люди. Это был какой-то научно-фантастический роман! Там говорилось о какой-то конспирации, глобальном заговоре против всего мира, о какой-то верхушке людей, которые спланировали все, все, все: экономические кризисы, развитие общества, образование, идеи, революции, религии, войны, все, решительно все было им подвластно. Эта горстка элиты контролировала всех нас, в том числе и сны Ханумана и мои. Элита дескать вмешалась в ДНК каждого из нас, это они построили Макдональдсы и МакБургеры, открыли Спаркиоски и Спаркассы, они придумали интернет, компьютер, тараканы бега и каннский фестиваль, они транслировали фильмы голливудским и болливудским режиссерам, они внушали нам как себя вести, с кем спать, а с кем просто дружить. Им было подвластно все, этой элите, даже смерть. То есть простые идиоты вроде нас с Ханни должны были помирать за них, чтобы они всегда оставались живыми, эти Рокфеллеры и Ротшильды, Форды и Бургеры, принцы и принцессы, дамы и господа, элита, мать твою! Этими бумагами даже подтереться было бы страшно! К тому же погода все ухудшалась; в воздухе все время что-то висело; все время было сумрачно; крыша дрожала, где-то что-то ухало, скрипело, стонало, назревал какой-то шторм, который конечно тоже был спланирован ложей, коалицей, божками. Вода струилась по стенам; она не просто так струилась, ее направляли прямо мне в постель; было сыро лежать. Было жутко. К тому же я голодал. Раз в день приходил какой-то старик, большой, угловатый, бородатый, лохматый, беззубый, он был одет в огромный плащ со следами пыли, известки, смолы, он приносил мне чай, хлеб и тарелку постного риса, тарелку ставил узловатой рукой. Ставил, пододвигал. Садился на один из стульев, не обращая внимания на сырость и то, что на него тут же начинал капать дождь, он сидел и смотрел на меня и вокруг, дыша ртом, как рыба. Посидев немного, уронив с носа каплю старческого пота и не сказав ни слова, уходил, чтобы явиться на следующий день и повторить все: и чай, и хлеб, и рис, и молчаливое созерцание, и сопение. Каждый день он приходил ко мне посидеть вот так в сырости, отрастить на носу каплю пота, уронить ее и уйти, чтобы снова прийти на следующий день. И так без конца. Я просто сходил с ума.

Всю неделю я жил вот так, не понимал, ни где я, ни где Хануман. Или хотя бы проклятый ирландец. Как выяснилось позже, после того как моя жизнь, по его мнению, была уже вне опасности, Ханни сильно расслабился, он решил снять напряжение, и покурил с Йоакимом, Фредериком и Джошуа их супер-травку. Ему пришла в процессе разговора интересная идея. Они говорили, что Люк умеет делать чапати, но на самом деле никто не верил, что получаются настоящие чапати. Ребята стали обсуждать, как делаются чапати. И неожиданно они пришли к тому, что курды делают шаварму, а если завернуть в чапати мясо и салат и помидор, то получится что-то вроде шавармы или тортилы. И Хануман закричал: "Идея! Бриллиантовая идея! Это будет ЧАПАТИЛЛА!" И уехал воплощать свой замысел в каких-то ресторанах. Его потеряли из виду. Как только он уехал, начался сильный ливень, все хиппаны стали накрывать свои дрова пластиком, или перетаскивать их под крышу, и на крыши натягивать пластик. Все забыли обо мне, о Ханумане, обо всем. Ливень, по версии Ханумана, якобы помешал ему как воплотить свой замысел, так и вернуться, чтобы навестить меня. Он осел в Авнструпе у жирного серба. Он написал за это время статью о том, на что идут деньги, которые выдают беженцам (на что они их тратят, если тратят, или если не тратят, куда и как шлют). В своей статье он написал о досуге беженца в период ожидания разрешения кейса. Он написал о насилии в лагерях и о том, чем занимаются дети. Он написал о посылках с краденым. Он написал в своей статье об антисанитарных условиях, которые возникают сугубо по вине самих азулянтов. И еще о многом, о голове в контейнере, о траве, о навозе. О вони, о туалете с лужами. Все это в сорока трех строчках с одной фотографией: лагерь Фареструп издалека, вот и все. Между делом он рыскал по Копенгагену в поисках каких-то людей, которые могли бы поддержать его идею или помочь в развитии оной. Он хотел встретиться со своими знакомыми, которые продавали банальный рис и курицу в карри, нечто вроде китайской коробочки, но по-индийски. Он хотел с ними встретиться и объяснить, что у него за идея такая. Чапатилла! Завернул в чапати мясо с капустным листом, залил соусом с дрессингом, и готово! Двадцать пять крон! Двадцать крон чистой прибыли! Гени-

ально! Он бредил авторскими правами, сетью забегаловок с названием “Хануман и сыновья”, и еще что-то плавало в его голове, нечто вроде проекта мирового масштаба, как в случае с выдумкой кафе Chez Guevara. Только на этот раз он сам себе это придумал. Сам себя опьянил, одурачил, свел с ума! Он верил, что взойшла его звезда на небосклоне. На его лице уже собиралась помаленьку улыбка, которую он готовил к тому, чтобы показать ее на всех телеэкранах, на всех постерах, вывешенных на небоскребах, на всех остановках и всех видах транспорта во всех странах мира! Он уже воображал, как люди, которые плевали ему в спину или лицо, будут рвать на себе волосы! Он готовился к тому, чтобы улыбнуться и мне тоже. Он хотел посмеяться надо мной: “Хэхахо, Йоган, трахнутый ублюдок!” Он готовился к тому, чтобы расхохотаться мне в глаза, мне, смеявшемуся над его мечтой! Мне, человеку, который помирал от паранойи и гниения ноги в каком-то насквозь продуваемом замке. Мне, не верившему в его, Ханумана, гениальность! Конечно, мне — ютившемуся под горой вонючих одеял — необходима была чапатилла и его насмешка величиной в айсберг! Он должен был мне доказать. Он должен был надо мной усмехнуться. Я должен был быть наказан за мое узколобие. Я, этот пескарь на дне омута, этот мизантроп и пессимист. Меня надо было наказать, проучить, ткнуть носом в лучезарный факт, потому что я слишком часто говорил ему: “Ханни, когда твоя мечта воплотится, не останется либо людей, которых ты бы хотел заставить рвать на голове волосы при виде твоей улыбки на экране, либо у них не останется на головах волос, или у тебя не будет к тому моменту зубов, чтобы ослепить их своей улыбкой, или даже если ты и вставишь себе зубы, чтобы блистать улыбкой и вводить всех в шок, все уже настолько состарятся, что всем уже будет наплевать, просто наплевать, и никто в сияющем Хануманчо не признает тебя, того человека, которому они намылили зад когда-то, или просто-напросто не захотят себе признаться, что обладающий ослепительной улыбкой человек на плакатах — это тот самый Хануман, которого они опускали в казематах индийской тюрьмы!” Ооо! Теперь он торопился мне доказать, что я был не прав! Доказать, что он — великий Бог! Мне доказать, что он может выжить и стать

на ровном пустом месте без ничего миллионером! Не играя ни в лотерею, ни в бинго, ни в казино, ни в “Хочешь ли ты стать миллионером”! Он может! Сейчас мы все должны были в этом убедиться! Скоро вместо Луны и Солнца на небе должен был засиять лик Ханумана. И чтобы поскорее воплотить свою мечту, он бросил меня. Он забыл обо мне. Он уехал. Бросил одного в замке, лежащего в горячечном бреду. Одного! Не удостоверившись, что я выживу! Ему было наплевать, наплевать... Хануманьяк!

Мне предложили пожить в замке. Пока нога не заживет; пока то да се... Вошли в положение; сжалились... Сделали для меня исключение. Мистер Винтерскоу (тот самый древний кормилец мой) сказал, что я, когда поправлюсь, смогу тихонько работать, и таким образом платить за ренту. Ему нужны были люди. Надо было делать ремонт в замке. Предстоял какой-то семинар. Ему некогда было сюсюкаться, взвешивать, проверять — хороший я человек или нет. Он меня поставил перед фактом. Даже если я и не был “хорошим человеком”, я должен был моментально им стать, если хотел жить в замке! Таково было условие. У меня не было выбора. Я согласился.

Мы с ним сошлись. Нашли несколько общих языков. Он даже по-русски недурно говорил! Он говорил про себя так: “По-русски я плохо говорю, читаю много, а понимаю — еще больше!” — Такого человека я еще не встречал! И такие фразы из него выплывали каждый день, по любому поводу. Он, наверняка, и мыслил так же! Ему уже было за восемьдесят. Это было в порядке вещей. Он еще ничего держался. После того, как он отважился со мной заговорить, мы много друг о друге узнали. Он мне рассказал про Индию, про Африку, Париж, Павла Флоренского, отца Сергия Булгакова, вторую мировую, как он ее помнил... Передо мной был не человек, а музей, библиотека, настоящий вавилонец! Мне было нечем его подивить. И все же удалось, кажется... Я сказал, что не могу ему сообщить моего подлинного имени и страны, откуда я родом, на то у меня есть причины, причины... Он согласился с моими условиями: называть меня по вымышленному имени и не задавать лишних вопросов... Я рассказал, что у меня неприятности на родине, обрисовал в общих чертах, — бандиты и коррумпированные менты, — разуме-

ется, округлив и смазав по краям, сказал, что надо бы еще годика три с небольшим — пока срок давности, то да се — перекантоваться. Он понимающе кивал, хмыкал в бороду, жевал губы, мял руки, говорил, что его монастырь готов принять меня под свой покров, как первого беженца... “Ты будешь у нас под защитой... В церковном убежище... Тебя даже полиция не сможет забрать!” — говорил он многозначительно. По-видимому за этим я и понадобился в замке: чтобы эти руины вдруг обрели в призрачной степени облик монастыря! Я согласился играть роль беженца; мой статус сразу же вознес меня над прочими в деревне; от всего сердца поблагодарил и возрадовался... Наконец-то!

Он приносил мне книги. Я попросил принести Киркегора, сказал, что немного уже читал, — я даже вспомнил, что читал что-то об Аврааме, потом вспомнил что-то о болезни духа к смерти, что Я — это, это болезнь неперсонифицированного духа, и свобода заключается в избавлении от всего личностного, от эго, совсем буддистское выздоровление, обретение свободы и так далее... Старик соглашался, жевал свои губы, добавлял свое... Оказывается, те бумаги, что я нашел в шкафу, те отсыревшие отчеты, это были отчеты с его семинаров, которые он устраивал прямо тут, в замке. К нему съезжались каждый год, даже из Индии... Вся та чума, которую я там раскопал, о вживлении чипов в людей, о тотальном контроле, — подумать только, все это произносилось людьми, живыми людьми, вполне здоровыми, а не лунатиками. Он все тщательно документировал. Он мне сказал, что его семинары посвящены анти-глобализации и еще чему-то, свободе духа, гармонии, совершенству и тому подобному хламу, я не вникал. Что меня поразило, он сказал, что действительно все спланировано, вообще все, вся недавняя история человечества, весь расклад, всё! Для тотального мирового контроля группа индивидов (миллиардеры и власть имущие) кропотливо разрабатывает план раздела мира на подконтрольные сектора, чтоб из-за кулис управлять каждым в отдельности, дергая за ниточки ими выбранных марионеток. Старик с важностью предрек, что скоро все сильно изменится, мир будет под зонтиком единого правительства.

“Да, — сказал он. — Европейский Союз это всего лишь первый

этап большой программы, первый шаг к унификации земного шара, в планах порабощение всего человечества. Затем будет Африканский Союз. Потом, скорей всего, будет объединение Соединенных Штатов с Канадой и Мексикой, с введением единой денежной единицы, разумеется... За этим последует объединение Евразии... Да, России не будет, как таковой, будут Соединенные Штаты Евразии, вот... Туда войдут: Украина, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, ну и другие... Китай, Индия и близлежащие страны тоже образуют союз Азии и Океании, вместе с Кореей, Японией и Океанией, соответственно... Тихоокеанский союз, вот... Так будет проще контролировать... Как сказал Форд, если человечеству нужен кризис, чтобы организовать новый мировой порядок, мы его устроим, любым способом..."

...и за всем этим стояли евгеники, ко всему прочему! Я с трудом верил своим ушам! А почему не инопланетяне?! Но шутить не было сил. Я был в шоке. К тому же, старец был чертовски серьезен. Какие уж тут шуточки! Он загибал свои крючковатые пальцы: "Рокфеллер, Ротшильд, Форд..." Я сглатывал после каждого имени: "Буш, Блэйер, Столтенберг, Клинтон..." Этого было более чем достаточно; я ничего уже не хотел слышать о стерилизации, скрещиваниях, не хотел знать, что станет с Востоком, Австралией и всем остальным миром... Я ничего не хотел слышать о техногенной революции, о программе депопуляции, о предстоящих ударах, войнах, холокостах, кризисах и торнадо, которые нам готовят злобные монстры, эти карлики в хрустальных лимузинах. Я заткнул уши, чтобы не слышать откровения этого Нострадамуса! У меня глаза выкатились из орбит от натуги: из меня кишки лезли наружу. Я запихивал их себе обратно в жопу, затыкая проход кулаком! Мне казалось, что он бредил, или у меня галлюцинация! Старик бурчал, бурчал, и умолок потихоньку, унял, наконец, свой фонтанчик, где-то в глубине его желудка некоторое время все еще что-то журчало, сосало, как в трубах, а потом и это затихло. Старик замялся, ссутулился... Я вздохнул с облегчением. Я выглядел, наверное, ужасно. Эта беседа меня истощила. Он дал мне отдохнуть; не являлся несколько суток; потом пришел и больше не требовал от меня слишком много внимания; он

понял, что для моего ослабленного организма это слишком большой удар; впитать подобную информацию требовались калории и здоровье леопарда. У меня ничего этого не было. Я еле двигался. А тут он еще со своим мировым господством!.. Я неделю не мог в себя прийти от этого. Продумывал планы бегства. Просчитывал, как я мог бы добраться до Оденсе, куда подамся затем... Но решил переждать. Он больше не добавлял ко всему сказанному чего-то еще; меня это устраивало; помаленьку он задвинул эту тему вообще; только приходил да подбрасывал поленья в печь. Сидел молча. Мял свои уродливые пальца. Тербил бороду. Наливал чай, ронял каплю с носа и уносил тарелку в узловатых руках. Я предпочитал говорить о поэзии, о вещах бессмысленных и неконкретных, как можно более удаленных от евгеники; я говорил ему о поиске свободы, о том странном путешествии, в которое меня вовлек Хануман, о том странном способе существования, который мы изобрели за последние два года. Старик слушал да умилялся. Я говорил, что таким образом мы движемся против течения, пытаюсь остановить мир.

“Вот для этого и нужен новый мировой порядок,— сказал с ухмылкой мистер Винтерскоу.— Чтоб никто не шатался без дела... Чтоб не было таких вот как вы!..”

Я сказал “да-да, конечно” и продолжил гнуть свое. Я жестикулировал, дул губы, запускал глаза в потолок, с которого, как экскременты голубятни, вместе с дождем нисходили на меня мысли, и приплетал ко всей этой ахинеи экзистенциализм, “Притчу о капле” и еще кое-что, что слышал из уст Ханумана. Я даже использовал жесты Ханумана, его фразы, иной раз начинал с его трамплинного взлета “cause you know man”, чем вызывал на суровых устах старика легкую затаенную улыбку, которая на миг показывалась, как чайка над волной, и вскоре снова исчезала за глыбами суровых вод. Я чем-то пригласился старику; я не мог этого не заметить; меня вообще некоторого типа люди за что-то любят, даже ни за что, просто так, есть такого плана люди, которые в меня сразу же влюбляются, не отдавая себе отчета, об этом мне еще Хануман говорил. “Только вот такие люди, как правило, никакой пользы принести тебе не могут,— добавлял он.— Ни тебе, ни мне, никому... Это как в тюрьме. Просто

среди забитых идиотов встречаешь более менее достойную овцу, от которой ни пользы, ни вреда... Они подобны тебе, вот и все..." Ну и пусть, считал я, мне все равно, главное — не плюют в душу. Мне старик тоже пришелся по сердцу, по всему было видно — блаженный, дон Кихот, ни гадать ни гадить мне он, кажется, не собирался. Кроме того, ему, казалось, нравился ход моих мыслей, ход живых мыслей, смелых мыслей, которые летели галопом, в то время как я не мог даже встать и пройти по комнате. Ему нравилась смелость и вызов во мне, потому как сам он, как ботаник-экспериментатор, любил скрещивать идеи, религии, языки, которых знал больше дюжины. Когда я стал обходиться без лекарств, то некоторое время ходил с палкой. Как только дождь прекратился, мы стали с ним выбираться и даже работали вместе. Дойдем до ивового сада, встанем как псы на карачки и выпалываем сорняк вокруг деревцев. А их там было больше сотни. Каждый день с утра до обеда мы с ним пололи в саду, на карачках! Руки изодрав в кровь! Сбив ногти! Сидели, бывало, на его крыльце, и как дети показывали друг другу ранки на руках, сбитые ногти, говорили о бренности тела, о бессмертии души, которая укрепляется, закаляется в процессе таких вот испытаний.

Я со многими познакомился. В деревне было чуть больше дюжины домов, которые были кое-как сбиты из ненужного хлама. Некоторые с любовью. Некоторые тят-ляп. Наскоро. Халупы, никак иначе и не скажешь! Большинство домов было когда-то вагончиками. Но об этом было трудно догадаться; настолько хорошо их обустроили внутри и покрыли утеплительными слоями снаружи. Самый лучший дом был у японца. Это был настоящий японский дом с фонариками вдоль карниза по всему периметру, — во всяком случае казался настоящим. Очень неплохой дом был у Хенрика: сборный шведский дом, доставленный прямо из Швеции. О чем он мне объявил первым делом: "Мой дом в деревне — единственный настоящий дом, и сделан он в Швеции!" Ох, думаю, если б он был шведом, он объявил бы свой дом шведской территорией, и на домике его болтался бы шведский флаг! Но в Хускего не было шведов! Даже в Хускего терпеть не могли шведов! Хускегорцы только делали вид, что не такие как все, на самом-то деле эти хиппи были такими же

датчанами, как и те, что жили в блочных и частных домах, в городах, городках, селах, в Копенгагене и на фермах Юлланда, — точно такие же! Только чуть чудоковатые... да и фиг с ним, что чудоковатые; это не имеет значения; как не имело значения курили те травку или нет, просто такие как все, и все тут. Джошуа снимал у Хенрика три квадратных метра, за что Хенрик пунктуально брал с него либо платой (денежная сумма высчитывалась при помощи специальной программы, которую для них состряпал немец Гюнтер, учитывалось все: даже количество воздуха, вдыхаемого Джошем!), либо уборкой и работами в саду. Мы как-то с Джошуа неплохо покурили на крыльце этого шведского домика. Нас здорово унесло. Джошуа не знал меры, знай накручивал. Джошуа страсть как любил покурить, — мог бы, наверное, раздобыть травку даже в Антарктиде. Мы скурили все, что там у него было, он на этом не остановился, он требовал еще одного последнего взлета. Наскребли какие-то крохи, сходили к немцу, потом к Ивонке, в итоге свернули большой добрый джоинт, и покурив, смотрели, как живописен, как ухожен сад Хенрика. Я был так выбит, что на этот сад взирал с двух точек: с крыльца, и с высоты башни замка, — одновременно! — и никак не мог сообразить: где же я нахожусь: в башне замка или на крыльце домика Хендрика! Джошуа говорил, что так много работал в этом саду, так много работал, Джошуа повторял и повторял: “Я так много сажал, так много всего сажал, сажал... А выкорчевывал куда больше! Так много всего выкорчевывал, таких сорняков, какие только в Полинезии, наверное, встретить можно! И все потому что нечем было платить Хенрику...” Он так много пахал, что сад стал нереально хорош, так нереально хорош... “Волшебный сад, не правда ли?... — сказал Джош. — Такой, что можно ожидать появления черных, красных людей с их детьми, они так и просятся в этот сад, они должны появиться, как на картинках в журналах Свидетелей Иеговы, чтобы играть с тиграми, львами, пантерами...” Меня чуть не разорвало от смеха!

* * *

Одним тихим вечером в Хускего закрался Хануман. Он еле втащился, качаясь из стороны в сторону, как пьяный. Сел на скамейку у домика коммуны и вытянул ноги, вытянул ноги и уронил голову

назад, так что его огромный кадык торчал наружу, как Килиманджаро. Он был совершенно без сил. Выжатый, как блудный кот после продолжительного гулянья, с глазами полными невысказанной мольбы, пустым желудком и легкими чреслами. Он пустил по ветру свои сбережения. Он снюхал их с какими-то наркоманами на Истыдгэдэ. Он опять трахал какую-то нигерийку, за сорок пять крон в час. Беженка. Она была замужем за немцем. Так она говорила. Но дело было не в этом. У нее были большие скулы, огромные соски, как гусиная лапка, и ноги с плоскими пальцами враспырку. Как тут удержаться! Она носила джинсы. Зад у нее был сплюснутый, но широкий, широкие плечи пловчихи и очень кучерявые волосы. Ну что тут было поделывать! Была она грубая и наглая, взрывная, крикливая. Одним словом — динамит! С ней переспала половина мужского населения Авнструпа, и если учесть, что это был трансферный лагерь, куда регулярно привозили и откуда столь же регулярно вывозили беженцев, она работала как мельница на этой реке человеческих жизней, поступавших из различных точек Европы, Востока, Азии и Африки. Ее знали все, потому что сама она там жила уже почти год, и практически так же нелегально как и Хануман. Негр, с которым у нее был договор, с нее брал деньги за комнатку и еще что-то, как сутенер. Его почему-то не направляли никуда. Он постоянно жил в Авнструпе. Вот уже полгода! Все говорили, что он просто шпион, агент ментов, доносчик, а не беженец. Может и так, но при этом он еще был и сутенер! Он и одевался так же, во все пестрое, с блестящими воротниками, капюшонами, весь был в цепях, перстнях, браслетах, и зубы у него были все металлические. С трудом верилось, что он был беженец. В Авнструп он приходил только два раза в месяц: забрать свои деньги. Больше его ничто не интересовало. Вообще! Куда он уезжал, никто не знал. Он ни с кем не разговаривал. Разве что давал советы. “Я советую тебе думать, прежде чем говорить”, “я советую тебе держать рот закрытым, а уши чистыми”, “я советую тебе тщательно пересчитывать деньги, прежде чем давать их мне”, — вот так он говорил, и никак иначе. “Он только притворяется, что он из Камеруна, на самом деле он из Америки, — говорила она Хануману. — Только американские черные могут обращаться

так с женщинами! Только они называют своих братьев *nigger*. Африканец африканцу ни за что так не скажет, даже в шутку! А этот только так и говорит!" У нее были большие глаза и длинные пальцы с загibaющимися внутрь ногтями. Она была больше Ханумана. У нее были жабыи глаза, сказал Хануман чувственно. Ему было неудобно драть ее стоя. От нее пахло как-то странно. Она редко мылась. Но это было *all right*. В Авнструпе было полно неудобств. Было на что списать недостатки. Там было тесно. У нее торчали ребра и выпирал копчик. Они не могли поместиться вдвоем в душевой кабинке. Одна она ходить в душ не любила. Она говорила, что там ей скучно. "Что мне там делать одной?" — спрашивала она его и смеялась. У нее был скрипучий смех, как крик ночной птицы. В уголках губ у нее скапливались слюнки, которые она втягивала очень шумно, особенно если запальчиво говорила по телефону, особенно когда переходила на свой родной язык. На родном она только кричала, спокойно говорить она не умела совсем. "То, как тут в Европе разговаривают, так только покойники разговаривают! — говорила она. — У нас так даже покойники не говорят! У нас даже покойники говорят живее, чем то, как тут у вас в Европе люди говорят..." Слова из ее рта вылетали с хлопками. Они впечатывались в Ханумана. Ему казалось, что каждое слово сопровождалось хлопанием крыльев огромных незримых попугаев! Он был ею заморожен. У нее была боязнь замкнутого пространства. В душевых кабинках Авнструпа и правда было тесно. Это точно. Как в гробу. Ханни пытался ходить с ней. Тем более что в таких случаях она с него не брала денег. Да так и так не получалось... Ни помыться, ни поебаться... Там было тесно, как в шкафчике! Она забиралась в кабинку, как будто примеряла пальто или плащ, это было нелепо. Они несколько раз пытались ночью. Но был Рамадан, и всюду шатались сонные чумные бородатые поющие хныкающие медленные арабы, курды, албанцы, черт знает кто! Они про-являли слишком много интереса ко всему и его персоне в частности. Так ему казалось. Они все хотели знать о его кейсе. Полусонные они вставали перед ним с открытыми ртами и полуприкрытыми глазами, покачиваясь как зомби, задавали одни и те же вопросы. Кто, что, за что, на какой стадии, получил ли отказ, второй отказ, написал ли

апелляцию, депорт, фуд-пак, что?.. как?.. почему?.. Все, все, все! Они хотели знать все. Подозрительные, они хотели знать каждую подробность его дела. Его мучили сомнения: они могли настучать. Он хотел бежать, но его удерживала животная страсть к кучерявой нигерийке. Он спустил с нею все деньги. Он оставался с нею, пока не осталось ничего! Они шастали по дискотекам. Она в наглую пыталась снять датчанина у него на глазах. Она без стеснения говорила об этом. Она не потратила ни одной кроны. Она много нюхала speed. Они жрали какие-то таблетки, от которых его слабило, а ее распыляло. Она не скурила ни одной своей сигареты. А он не выкурил ни одной ее сигареты. Как ни крути, он ни разу не потрахал ее даром. Он за все должен был платить. Последние деньги ушли на то, чтобы с ночной дискотеки довести ее на такси до Авнструпа. Как только он отдал таксисту все свои бабки, она закрыла перед его носом дверь. И он пошел шакалить, где бы ему заночевать. Ничего не нашел. Сел на поезд и поехал в Хускего. Ему повезло — он переждал контролеров в туалете. Он признался, что плакал там, в туалете, от унижения и страсти. Его ломало по ней, он никак не хотел смириться с тем, что никогда не увидит ее, не ощутит ее тела рядом. Что-то томилось на дне, какие-то невысказанные ругательства... Ее звали Деба, и это значило "God abides with us"¹. Он плелся пешком от Оденсе до Хускего (почти двадцать километров). Когда я его увидел, он был похож на призрака. Я даже подумал, что сплю и мне снится, будто это ковер вынесли и положили на скамейку возле Коммюнхуса, что это не Хануман, что это меня так шибко выстегнула травка Джоша, что сейчас я наведу резкость и то, что мне кажется Хануманом, станет ковром, выставленным для чистки. Но нет, это был он. И в глазах у него стояли слезы, и в них танцевала насмешливая нигерийка. Меня передернуло. Я пригласил его в замок. Накормил чем было. Он жрал мало, осторожно, сонно. Я приглядывался к нему, а он ко мне. Наконец, его сморило. Проспал почти сутки. Долго курил джоинт с литовцами, почти ничего не говорил, только постукивал ногой, его стопа все время постукивала, будто приводя в движение невидимую прялку.

¹ Господь пребывает с нами

А потом ему кто-то позвонил, он долго был на телефоне, отвечал односложно, потом резко закруглил беседу, выключил телефон и снова завалился спать.

За ним появился Иван, с еще более ужасной историей. И мы вторым засели в замке. Иван работал по десять часов в сутки, то крышу кому-нибудь подправит, то пол постелет, то дров порубит, то что-нибудь покрасит, заодно штукатурил в комнатах замка, сам над собой смеялся, говорил, что трудотерапия, чувствует себя человеком. Хануман ничего не делал и лежал, лежал да напевал свою песенку, читал отчеты с семинаров мистера Скоу и прочие бумаги, которые я выгребал из шкафов и ящиков; ему понравилось, он требовал, чтоб я приносил еще и еще, я приносил, он читал и смеялся, рассуждал, потом, видимо под воздействием от прочитанного и выкуренного, он принялся придумывать себе какие-то фильмы, писал в уме сценарии, все больше и больше отдаляясь от нас и теряя с реальностью связь...

Один из тех сценариев занимал его особенно долго; мне даже казалось, что он галлюцинировал; с такой ясностью он видел каждую деталь своего фильма, который снимал у себя в голове. Он мог долго рассказывать о своих персонажах, о их жизни, о событиях, которые происходили в фильме. Под конец он понял, что это не просто фильм, а целый сериал.

В сценарии было несколько главных персонажей, которые начинают видеть сны как-то между собой связанные, при этом сами персонажи между собой никак не связаны и ничего друг о друге не знают. В это же время в мире начинают происходить странные события: появление НЛО в разных местах, катастрофы необычайно крупного масштаба, пророки и чудотворцы, ну и прочая высокопарная дребедень... Все идет к тому, что мир катится в пропасть, приближается Армагеддон. Между тем чудеса и прочая ерунда случаются на каждом углу, с инопланетянином можно столкнуться чуть ли не в чулочном магазине, проехаться с чудотворцем в одном трамвае, посетить другой мир, как сходить в кино или музей, а также купить билет на Сириус, равно как и на путешествие на машине времени, и все это очень недорого. Персонажи, связанные меж собой только

общими силами, независимо друг от друга нападают на след того, что за всеми этими чудесами стоят какие-то магнаты, которые устраивают эти чудеса, инсценируют весь этот миротворческий антураж, все это шоу, чтобы отвлекать людей от надвигающейся катастрофы, чтобы как-то еще продолжать удерживать узду на человеческой массе. Мол, случись что, у нас есть и машины времени, и космолеты, и сальваториумы, и другие миры, и чудотворцы, которые спасут от чумы, и инопланетяне, которые спасут от глобальных катаклизмов... Но герои фильма знают, что все это — брехня! Они вступают в противоборство с паутиной властных агентов, которые охотятся на героев. Они вступают в борьбу открыто. Они связываются друг с другом. Объединяются. Они ведут борьбу. Один — врач. Другой — политик. Третья — адвокат. Четвертый — ребенок с поистине феноменальными способностями. И так далее... Они спасают мир, разумеется, который катился в пропасть только потому, что магнаты использовали какую-то энергетически убийственную для планеты систему, которая и обеспечивала все те чудеса, которые были ничем иным, как массовыми галлюцинациями, случавшимися спонтанно, в разных местах. Таков был сценарий. Он захватил Ханумана и выдернул из нормального существования на несколько недель. Он просто бредил. Бредил наяву! Он впал в транс. Он смотрел свой собственный сериал. Это было хуже чем то, что случается с обычными людьми, когда те подсаживаются на какую-то идиотскую мыльную оперу. Это было хуже, потому что он носил свою оперу в голове, он ее сам снимал, писал и видел ее круглосуточно! С этим ни в какое сравнение не шли ни нумизматика, ни астрология, ни гадание на кофейной гуще.

6

Мы кое-как держались на тех деньгах, что давали Ивану; мы с Хануманом прозябали, не делали ничего, ни для мистера Скоу, ни для пользы коммуны, ни даже для себя. Иван долбил стену, потом что-то

где-то ковырял; я как бы писал книгу, — то есть поддерживал миф в голове старика о том, что я якобы пишу книгу, имеющую отношение к мировому владычеству и прочей фигне, — а Хануман впал в летаргический сон.

Расставшись со своим сериалом и почувствовав себя пустым, истощенным и чудовищно одиноким, Хануман впал в такую глубокую депрессию, какой, наверное, даже у меня никогда не случалось. Глядя на Ханумана тогда, я чувствовал, что вот ему так плохо, что мне по сравнению с ним просто легко, и я иногда даже брался покурить травы с Клаусом.

Но это продлилось недолго, потому что депрессия Ханумана продолжала нарастать, он просто сходил с ума от головных болей, его они доводили до отупения, он мог часами стонать, а когда ему приносили чай, его любимый с медом и листиками кориандра и еще какой-то травки, он корчил такую физиономию, будто ему предлагали кумыс! Хотя, может, кумысу бы он и испил...

Шли бесконечные дожди; в замке было темно и страшно, сыро и зябко. Иван топил печь, но она грела первые три часа и только в радиусе трех метров от себя, а потом угли быстро гасли и не давали тепла вообще, — печь была ни на что негодная. Иван ходил по комнатам и выбирал в обломках всяких печей части, из которых можно было бы собрать одну достойную печь. Он пропадал целыми днями. Мы его почти не видели. Тем более — результата. Ничего не менялось. Печь не топилась. Мне казалось, что Иван нас водит за нос, только говорит, что он там где-то что-то делает, ищет, а сам сидит в каком-нибудь чуланчике и мастурбирует сутки напролет. Хануман уже месяц не выходил из комнаты; я забыл, когда он последний раз с нами поговорил, и казалось, что он говорил не больше двух-трех слов в сутки. Он просто лежал под одеялом и стучал зубами, отстукивал ногой мотив своей песенки, стонал, когда начиналась мигрень; а дождь лил и лил, нескончаемо...

Вскоре Иван перестал работать и куда-либо ходить. Он так часто перекуривал с Иоакимом и Фредди травкой, что стал недееспособным. Он слег. Зарылся в одеяло с головой и не показывался. Я больше не мог находиться в этой комнатке, это было слишком похоже

на палату в дурке; я бежал оттуда, решил заменить Ивана; стучал молотком, долбил стену. Мне было обещано пятьдесят крон в час. Я должен был выдолбить какую-то дыру, сквозь которую планировалось (не знаю кем, — может, и никем) протянуть какую-то трубу, споры о приобретении которой на заседании коммуны даже еще и не вспыхнули, — куда, зачем, откуда предполагалось тянуть трубу, мне не объясняли, да и плевать я хотел! Вставал пораньше и начинал долбить. Очень скоро вошел в ритм, просто вставал, долбил, пил чай, курил и снова долбил. И в жизни все стало как-то проще.

Хануман еще сильнее закис. Он перестал контактировать с миром совершенно. С его наилучшими и к нему ближайшими представителями мира, такими как я, Иван, да и ребята, мистер Клаус, который заходил проводить Ханни.

Клаус считал, что Ханни просто болел, что это пройдет. Клаус говорил, что он тоже, вот так же, валялся месяцами, после того как его жена ушла к одному ублюдку. Сперва Клаус его дом изрубил, потом он его спалил, потом повалял в грязи ублюдка, потом развод дал суке, потом обкурился, стал курить, и курил и лежал, а Джошуа или Фредди с Иоакимом ему еду носили, покупали, готовили, ну и тоже курили, они даже переселились к нему, не оставляли его одного, все гиги отменили, все время подле него дежурили, а он в отключке был, курил, ел автоматически, сам с собой говорил да в потолок смотрел, но, честно говоря, на самом деле он совершенно не помнил ни как время прошло в той депрессии, ни что он делал. Он курил; это все, что он помнил. А что ел, что говорил, этого не помнил совсем. Патриция и Жаннин тоже заглядывали к Клаусу в те трудные дни, делали ему массаж; без какого-либо подтекста, просто массаж, и убирали в доме, кормили собаку; но чтобы он говорил, нет, они все говорили, что он ни слова не сказал никому в несколько месяцев, себе под нос — да, он что-то усердно и насмешливо бормотал, никто не мог понять что, а так, он просто курил, глазел на все пустыми стеклянными глазами, и все... "Они думали, что потеряют меня, думали, что я вздернусь, но я не вздернулся, отошел... и Хануман отойдет", — говорил Клаус с теплотой, клал руку на одеяло, похлопывал его по плечу, поправлял одеяло, и добавлял: "Конечно, отойдет, поправится, я уверен".

То же самое сказал мистер Ли, он вплыл в нашу комнату вслед за какой-то редкостной бабочкой, за которой он охотился третий день, с сачком, в своей мантии, он постоял возле постели, выслушал мой отчет, то есть краткий обзор жизни Ханумана, его эротические сны, увлечение фотографией, первый опыт с женщиной много старше его в потемках его маленькой лаборатории при редких вспышках красной лампы, потом похождения по горным гималайским деревушкам, где ему подносили лепешки с семенами каннабиса танцующие в ярких платьях феи с вплетенными в волосы лилиями, из которых выпархивали колибри и бабочки, о его путешествии в Новую Зеландию, где он танцевал с аборигенами, превращаясь в разноцветный фонтан, оттуда — на остров Крит через остров Бали, где во мраке он забрел на поле петард и фейерверков в какой-то карнавал и, когда все это рвануло и он вышел цел и невредим, его приняли за Нового Аватара, я рассказал о его жизни на Кипре и Капри, о его жене в Бухаресте, Праге, Риге, Го под Стокгольмом, обо всем том, что приключалось с нами в Дании, от Фредериксхавна до Копена и от Копена до Фарсетрупа, вверх до Ольборга и вниз до Лангеланда, в Свенборге, Силькеборге и, наконец, Хускего... Мистер Ли внимательно слушал, оставаясь при этом невозмутимым, неподвижно застывшим в одной позе: правая рука с сачком была поднята вверх, длинный рукав халата, похожего на мантию, свисал до локтя с бородавкой, вес тела был перенесен на правую полусогнутую ногу, левая нога была в воздухе, Меркурий да и только! Он выслушал меня и сказал: "Это всего лишь мезолимбическая система дает сбой. Пациент употреблял наркотические вещества в избытке. А также был подвержен игре в казино и с судьбой. Авантюризм, азарт, риск, увлечение деланием денег из ничего, а также искусство тратить еще больше, все это привело к истощению психических сил. Ему нужен покой, чай, травка. Это не психоз, не кома. Это всего лишь *nucleus accumbens*¹. Вот и все".

Хануман спал сутки напролет, иногда ел, иногда курил, или просто лежал и смотрел в стену или потолок, подергивая ножкой под

¹ скопление нейронов во внешней части головного мозга

одеялом.. Надежды, что он придет в себя, у меня и Ивана оставалось меньше и меньше...

И все-таки он пришел в себя. Вот как это было.

Я продолбал достаточно, чтобы неплохо оттянуться; я заслужил это; честно-нечестно, но я сделал свою работу; нигде не оговаривалось, сколько и как долго я должен долбить или перекуривать. Одним словом, мистер мне заплатил часть, большую часть забрал за ренту и еду (за всех нас, и за Ханни-Манни). Я пришел с деньжатами, потряс ими и сказал, что намерен оторваться.

“Мужик, ты как?” — говорил я ему без особой надежды на ответ, я одевался и говорил, мы давно привыкли к тому, что говорили с ним и не получали никакого ответа, это стало привычкой, вот и в этот раз я говорил в его сторону слова так, словно предполагалось, что он ответит.

“Эй, — говорил я, — Ивана с собой не берем: только ты и я, как раньше; как в старые добрые времена, а? Можем ширнуться, если тебя не воротит от героина. Можем посидеть в кофе-шопе, покурить, попить, посмотреть на публику... Там можно сыграть партию в шахматы, нарды, бакгаммон, а? А хочешь, пойдём в ресторан? В индийский? Снимем блядей, наконец! Что хочешь? Я тридцать дней долбил стену по десять часов в сутки, у нас денег куры не клюют, пошли отовремся! Да не молчи ты наконец! Ответь, сукин ты сын!!!”

Он посмотрел на меня; взгляд его прояснился. Он очнулся, встал, помылся в душе, сбрил бороду, повыдергивал волоски из носа, причесался, почистил зубы, достал из своего чемодана новую рубашку, коричневую с искрой, одел легкую весеннюю куртку, поправил золотой браслет на запястье, наложил крем на лицо, желе — на волосы, повернул кольцо аквамарином вверх, щелкнул каблуками своих кэмелов и пошел за мной...

До города нас подбросили Патриция и Жанин. Они смотрели на Ханумана с изумлением, они просто не понимали, откуда он взялся. Они спросили, не гость ли он; но он сказал, что уже три месяца проживает в замке, что он официально прописан в нем, за него заплатили арендную плату, он совершенно легальный житель Хускего! Тогда они спросили, в какой из комнат он проживает. Он сказал,

что не знает, он был в состоянии глубокой медитации, из которой вышел пару часов назад, и ему требовалось теперь посетить места силы, чтобы пополнить резервуары энергии; он так много ее растерял, странствуя в мирах иных; теперь он не мог даже говорить; ему требовалось некоторое время, чтобы прийти в себя.

Оденсе был застеклен лужами; солнце билось о землю, пытаясь прорваться, но разбивалось о лужи, частями отражаясь в них. В кофе-шопе мы покурили; Ханни глазел на всех, все больше наливаясь иронией, ухмылка его становилась все более загадочной, он чем-то был похож на большую рыбу, которая сама высунулась из воды, как бы раздумывая: а может, и мне тоже податься в двуногие? Затем разыгрался аппетит. По пути в ресторан Хануман говорил о каких-то видениях, которые его посетили, пока он был в анабиозе. Он говорил, что теперь он набрался достаточно мудрости и сил, чтобы возобновить работу... "Хэхахо!", восклицал он. Теперь он даст всем прикурить и просрать! Он такое придумал! Такое! Он уже собирался мне сказать, что за дело он задумал, он уже открыл рот, чтобы выговорить какое-то заветное слово, но было так суждено, чтобы он его не сказал, чтобы вылетела из открытого рта брань вместо заветного слова, вместо откровения от Ханумана вылетело проклятье! Так я и не узнал, и никогда теперь не узнаю, что за видения посетили Ханумана... И все из-за проклятого индийского ресторана. Потому что когда мы подошли настолько близко, что Хануман сквозь свои очки смог разглядеть, что там написано было на стекле и дверях ресторана, он вместо откровений сказал: "Fuck me in the mouth!"; и глаза его остекленели, наливаясь яростью. На стекле ресторанной витрины было написано: "Чапатилла-ресторан"! Тут же у входа стоял в бордовом тюрбане с брошью в тугой складке ткани какой-то напыщенный индус-индус с длинными усами. Складывая перед собой торжественно ладони и кланяясь, он приглашал всех зайти и отведать индийской кухни; он лоснился, блестел шелками, переливался, давая чайный отлив щеками; он блистал зубами слоновой кости. На него-то и набросился с кулаками Хануман. Ханни кричал: "Bloody bastard! Tell me you motherfucker who's running this godforsaken place?! Tell me who's that son of a bitch sucking my blood gaining my profit?! Who's

that thief that stole my idea?! Show me to him! Show me that bloody bastard!'" Выбежали индусы, все затараторили, как сороки, захлопали мантиями вокруг нас, приклепывая сандалиями. Вынес набитый бурдюк своего пуза сам хозяин. Дунул в трубу своего сального рта. Все притихли. Стали спрашивать Ханумана, в чем собственно дело. Хануман тараторил еще живей. Рвался на стекла ресторана, как Матросов на амбразуру. Я ничего не понимал. Я боялся, что сейчас все схватятся за мобильники, сами работники, или прохожий какой-нибудь на всякий случай наберет... Один из индусов, самый маленький и самый щуплый, стал расспрашивать меня, приняв меня за датчанина. Полагаю, если б не присутствие белого, то есть меня, и если б меня не приняли за датчанина, что случилось единственный раз в моей жизни, Ханумана бы тут же скрутили, и неизвестно чем все это закончилось бы, да и не важно чем; в любом случае, как ни крути, а кончилось все плохо, просто хуже не бывает! Так вот, когда я разжевал им кое-что по-датски, который они кое-как проглотили, но все же повторить попросили все по-английски, во избежание непонимания, так вот, когда я им гладко объяснил, что Ханни взбеленился из-за чапатиллы, которой приписывал свое изобретение, когда до них дошло, что Ханни считал, что его идею украли (в это им было настолько трудно поверить, что они даже усомнились, что поняли его хинди!), ему (и мне) сказали, что он лунатик! Маньяк! Шизофреник! Потому что ресторан с этим названием и этим меню функционировал уже больше десяти лет! И в меню была не только чапатилла, оригинально вылепленная впервые каким-то афганцем индийского происхождения в 1987-м году в Берлине, где тот афганец катается в масле, шелках, коврах и горя не знает, но, кроме того, там были и такие подобные изобретения, как чапатилетта, чапати-мама, чапатипулька и прочие, и прочие чапати...

Ханни был подавлен; я тут же вспомнил, что идею подкинули ему братья, и лицо Йоакима всплыло у меня перед глазами, насмешливое, игривое... Я понял, что он одурачил Ханумана...

¹ Чертов ублюдок! Скажи мне ублюдок, кто заведует этим Богом проклятым местом! Скажи мне, кто этот кровосос, который наживается на мне! Кто тот вор, кто крад мою идею? Отведи меня к нему! Покажи мне этого негодяя!

Мне никогда не было так обидно за моего друга, ни за одного моего друга! Я никогда ни к кому не испытывал такого чувства жалости, как тогда к нему... Когда его как-то успокоили и вежливо, чтобы загладить ссору и выказать свою цивилизованность и некую терпимость к предполагаемой болезни умственного характера, которую тут же все заподозрили в Хануманьяке, его пригласили войти в ресторан бесплатно попробовать чапатиллу! При этом ему показали сертификаты, ему сказали приятного аппетита, ему показали прочие фотографии десятилетней давности, первую чапатиллу ресторана под стеклом, как устрицу в колбе... Он нервно извинялся перед всеми, много извинялся, выглядел потерянным, расстроенным, ребенком, которого пристыдили... и когда ел чапатиллу, слезы катились у него по лицу, он ел и все говорил, что давно не ел настоящие индийские свежие чили... аж прослезился... "Ваши чили — самые лучшие в Дании! — кричал он. — Да, да! Самые лучшие в Дании! Они оставили слезы у меня на глазах!!!"

Мы, конечно, расплатились с ними; он приказал мне дать сто крон за моральный ущерб, но я дал только двадцать, одной монетой, парню на улице.

Ханни шел вперед, выкатив грудь, оттопырив подтяжку, выпятив локоть левой руки, что запястьем покоилась в кармане его брюк; он бравым широким шагом шел, никого не замечая, но он шел навстречу своему поражению, да, потому что Хануман пал!

Но это не было дно, еще не совсем дно... Он продолжал падать, погружаясь в ил и известняк, окутываясь облаком донной мути; с того момента он только падал, проваливаясь глубже и глубже, теряя лицо, дух, надежду, становясь потерянным человеком, превращаясь из авантюриста в беженца, а потом просто в клошара...

После нашей гулянки в Оденсе он принял окончательное решение сдаться в Красный Крест с легендой, что он якобы Хануман Пардеси, уроженец пакистанской части Пенджаба, вырос там-то и там-то, учился и так далее, принял веру — стал Свидетелем Иеговы; с таким кейсом он покинул Хускего, оставив меня. Я был в шоке! Я был в шоке, когда увидел, как он садится в машину свидетелей, которые к нам часто заезжали со своими журнальчиками, которыми даже печь то-

пить было нельзя, так они плохо горели. Он снюхался с ними, сказал, что давно верит во всю эту муть, съездил раз на их слет, а потом прыгнул в машину и укатил, с улыбочкой, помахав мне на прощанье своей птичьей рукой... Я был в шоке. Я несколько дней не мог в себя прийти. В моей жизни не стало Ханумана! Я остался один...

7

Спустя некоторое время я поехал в Фарсетруп, повидаться с Хануманом, который прислал мне ужасное письмо, которое мог написать только безумец. Он писал, что у него начал расти хвост! Прямо из ануса! Это жутко усложнило его жизнь. Столько возникло новых трудностей, связанных с отправлением нужды! Просто кошмар! Из его письма следовало, что хвост уже размером с мизинец, тоненький, хрящеватый, розовенький и очень чувствительный. “Ты представляешь, Юдж! Что мне делать? Как я буду смотреть в глаза людям? Я заперся и никуда не вылезаю! Я скоро стану настоящей обезьяной, потому что у меня к тому же обильно увеличился волосяной покров! Деформировались кисти! Стал пологим лоб. Смотри какой у меня стал ужасный почерк!” — (Почерк и правда был просто ужасный, просто дико ужасный почерк, который затем прервался совсем, встав на рельсы печатной машинки Непалино.) — “Какая-то злая мутация. Понятия не имею. Никакого объяснения не нахожу. Как это произошло? Как такое могло со мной приключиться?! Что могло быть толчком? Может, наркотики? У тебя там как? Нет ничего такого? Никогда не слышал, чтоб у нас в семье было что-то подобное! Я в ужасе. С каждым днем метаморфоза прогрессирует. Ухудшается артикуляция и работа мозга. Сам видишь, как я ужасно излагаю мысль. Если б ты видел, во что я превратился. Я скоро перестану говорить совсем! О, Юдж, это какое-то наказание! Боги смеются надо мной... Спаси же меня, Юдж!”

Я пришел в ужас от такого письма. Поехал немедленно. Я нашел его все там же, у Непалино. Он лежал в постели. Возле постели на по-

лу стояла пепельница, полная окурков, и кружка чая. Никаких признаков мутации. Подавлен, растерян. Выглядел ужасно. Стал как-то сероват с лица. Глаза его запали. Они были раздражены. Рот его был открыт. В лице тупость. Мне стало не по себе, но он меня тут же успокоил. Подмигнул и сказал, что письмо написал намеренно такое идиотское, в надежде, что его перехватят, прочтут и придут к заключению, что он действительно сошел с ума, окончательно, и дадут ему позитив. Но этого не случилось. Никому не было дела до того, кому и куда он писал. Его письма не перехватывали, а те, что он получал, даже не вскрывали. Он был разочарован: его права не нарушались никак! Он не мог апеллировать в Европейский суд, в Страсбург. Ему не в чем было упрекнуть проклятых датчан. По отношению к Хануману они вели себя безукоризненно. Настолько им было наплевать на него. Настолько они были уверены в том, что его скоро депортируют, что даже не было надобности в том, чтобы давить на него. Все были полностью уверены, что он здоров и скоро будет отправлен домой. Настолько во всех была сильна вера в его скорейшую депортацию, что на Ханумана не оказывалось вообще никакого давления. Давления не было никакого. Не было нужды на него оказывать давление. Зачем оказывать давление на человека, который уже давно морально раздавлен? Зачем давить на индуса, если индус в своем самоуничтожении дошел до того, что потерял достоинство настолько, что назвался пакистанцем? Зачем на такого давить? Он уже в доску плоский! Он гладкий как асфальт немецкого автобана! По нему можно ездить! Его можно запечатать в конверт и отправить в Индию обратно письмом! Настолько он раздавлен! Все просто ждали, когда он сам отдастся в руки властям и сознается в том, кто он такой. И тогда его торжественно, как старичка, отведут к самолету, усадят, хлопнут по щеке и скажут: "Гу тур¹, Ханумэн!"

Он пребывал в жуткой депрессии, просто замумифицировался, обложившись подушками, с пятью кружками и чайничком на полу, он курил сигареты, которые приносил ему Непалино, он лихорадочно отбивал обеими ногами мотивы разных песен, шептал себе

¹ счастливого пути (датс.)

под нос что-то, нескончаемо... Он даже не ходил в туалет, а мочился в ведро, которое выносил Непалино. Увидев меня, он вскричал: "Как ты вовремя! Моя непальская жена уезжает! Некому поднести спичку несчастному сумасшедшему!" Потом он прошептал мне в самое ухо: "У Непалино есть пиво в холодильнике, но он мне его больше не даст... Сделай что-нибудь!"

Глаз его поплыл, как рыбка. Я уловил знакомый отлив; подсел к непальцу, отодвинув его писанину; спросил, куда это уезжает кошачье существо, обнимая его за плечи. "Неужто мерзавец получил позитив?" — спросил я, постукивая того по спине, выбивая из него застенчивую улыбку.

"Нет-нет, какой позитив, что ты! Где ты видел, чтоб непальцам давали позитивы? Он получил депорт! Обычный депорт! Правда? Вот он тебе сам скажет..."

Но Непалино молчал, горделиво-задроченно отворачиваясь, подобрал ногу, обхватил колено обеими руками, и сидел, набрав в рот воды. Он просто млел, он таял в снопе на него направленных проекторов мускулиного внимания!

"Что молчишь? Уже третий депорт после всевозможных обжалований, и уже собрал чемоданчик, чтобы ехать в Копен, к своему дядюшке! Не так ли, гаденыш? Бросить меня собираешься? Скрути мне... тоже", вдруг прервал свою речь Хануман, заметив в моих руках пачку табаку с травкой. Протянул лапку. Я подсел к нему. Дал понюхать. Он долго тянул носом из пачки, с наслаждением внюхиваясь в хвойную пряность. "Прелесть!" — наконец изрек он.

Вдруг, вошел наш тамилец; сразу было видно, что он безумен, напуган, он натурально трясся. Он опять был в жестком толстом свитере, заправленном в штаны, а штаны натянул по самую грудь, и все подтягивал, подтягивал, — он был похож на обоссавшегося ребенка в комбинезоне. Такой у него был озабоченный вид. Я сразу почувал: что-то не то. Он сел напротив нас с Хануманом на постель рядом с Непалино. Тот слегка отодвинулся. Тамилец тут же затараторил что-то на ужасном английском. Я стал рассматривать его: он был худее прежнего, оброс, в воспаленных глазах помешательство, и он все время нес какую-то пургу о Германии, о Фленсбурге, о Франкфур-

те, о Падборге, о границе, границе, границе; он через каждое слово вставлял *principally*, и звучало это ужасно, потому что слово упиралось, оно топорщилось у него на губах, как репей, он не мог его разжевать, он сплевывал, и начинал сызнова; мне даже казалось, что он вообще говорил только затем, чтоб вновь и вновь повторять это идиотское слово. Понять его было трудно, так как все-таки датских и немецких слов в его английском было больше даже, чем английского, и все-таки это был английский, потому что вся эта германская каша была замешана на английском молоке.

“Переработался, — подумал я, — довела конспирация”, — и стал разглядывать у него на носке огромной спиралью завивавшуюся стружку. Я спросил его о работе на фабрике, а он махнул рукой и ушел, ничего не ответив, кроме: “Контрабанда — вот это бизнес!!!”

Непальчонок улучил момент и тоже сорвался, шмыгнул вон за тамблером. Я посмотрел на Ханумана; он сказал: “Да, трудно нынче даже с помешательством получить гуманитарный позитив; вокруг так много сумасшедших, что никто не воспринимает тебя всерьез; так много психов, что это уже перестали считать серьезным основанием для получения разрешения остаться; такая конкуренция, что можно отчаяться! Каждый, кто получает депорт, тут же оказывается сумасшедшим, и вот уже справки несет, самые настоящие справки! Многие с таковыми уже въезжают и косить начинают на первом же допросе! Некоторые даже до допроса попадают в ментуру через дурку! Они косить начинают в центре города, на Пешеходке! Впадают в транс или закатывают истерику! И тогда их забирают... А потом оказывается, что они беженцы... Видишь, как! Да хотя бы этот бенгалец! Он не тамилец, а бенгалец, как установила полиция; прячется здесь нелегально, у него куча денег, а он сидит на них и боится выйти из кэмп! У него самая настоящая паранойя! Ему кажется, что за ним следят! Вон в тех кустах, за окном, ему мерещатся полицейские! Он совершенно себя не контролирует! И у меня уже есть одна идея; может быть, последняя идея, пока я совсем не спятил тут...”

“Что за идея?”

“Ну какие у меня еще могут быть идеи?.. Я хочу выудить из этого бенгальца все его деньги, попрошу на хранение, да, на хранение

ние, брат, на хранение, скажу, что у меня все надежней, чем в банке, пусть отдаст мне деньги, и я уеду...”

“Куда ты уедешь?”

“На Лолланд!”

“На Лолланд?”

“Да, на Лолланд! На несколько дней выйти за рамки, поправить здоровье в бассейнах с коктейлями и девочками... Возьму его деньги и уеду! И он об этом даже не узнает, потому что он уже ничего не соображает; он тут же забудет, все — о своих денежках, обо мне... Он же полный идиот, полный идиот... Вот только я боюсь, что он уже их либо кому-то отдал, либо зарыл где-нибудь, и сам не помнит где... Ну, это мы выясним...”

“На Лолланд, говоришь?... Ну и что тебе Лолланд?..”

“Говорю же: человеком себя почувствовать хочу... Взять разгон... Вдохнуть полной грудью... Увидеть картину целиком... Может быть, что-то прояснится... Ведь возможности лежат под ногами, наклонись и возьми! Столько раз получалось! Надо просто сдвинуться с мертвой точки!”

“Понятно... Далековато отсюда... до Лолланда... Сперва до Шилэнда... а это ого-го...”

“Вот я и говорю — деньги нужны... У тебя есть сколько-то?..”

“Сколько-то... есть...”

“Понятно...”

“А из Бломструпа нельзя?.. Не думал?.. Ходят там паромы на Лолланд?.. Может, Свеноо знает кого, кто на лодке отвез бы?..”

“На какой лодке?..”

“Ну, помнишь, он говорил, что у него там какие-то рыбаки на моторных лодках, чуть ли не на Лангеланд, Аэро, в Германию гоняют только так... Там клев... Что он там плел про рыбаков?..”

“Не помню...”

“Может, подкинули б до Лолланда?..”

“Да ну что ты... На лодке до Лолланда?.. Свеноо?.. Шутишь?.. Стрельни лучше пивка у Непалино...”

“Так, а куда все-таки уезжает наш маленький друг Непалино?”

“Я же сказал, что в Копен, залечь на дно на полгода... А через пол-

года, со свежими непальскими газетами, какой-нибудь одежкой, купленной в непальском магазине и с чеком непальским к ней, он заявится к ментам снова, снова скажет: вот новое дело буду открывать, был в Непале, снова преследуют, все по закону, полгода на родине — новый кейс... Я тоже хочу так сделать... Только залечь негде... Разве что в Хуского... Слушай, не томи, сходи насчет пива!"

"Хорошо, хорошо..."

Я вышел; непалец стоял в коридоре, как школьник, ковыряясь в носу, стоял он как-то криво, повернувшись бочком к одной из дверей, будто что-то подслушивая. Было б чего в этом петушатнике... Он отдернул руку, когда я посмотрел на него.

"Эй, Непалино! Подойди сюда! Не хочешь меня угостить пивком? А? За встречу! Чин-чин, бэби! Скюн дай, бёссевен¹!" — и непалец полез в холодильник...

Мы пили пиво, Хануман медленно рассказывал. Оказалось, что все было гораздо сложнее, чем я себе это рисовал; он зашел так далеко, что объявил голодовку; да, всему Красному Кресту Дании, всему миру, и все об этом знали, даже Далай Лама. Вот так! Ханумановы дела шли из рук вон плохо, — пришлось пойти на крайние меры. Пожертвовать организмом. Теперь он боялся, как бы совсем далеко не зашло. Когда он сдался в руки властей, он сказал, что он из Пакистана, как и планировал; проверив его данные, полиция пригласила его на очередное собеседование; его назвали лжецом, сказали, что улицы, на которой он утверждал, что проживал когда-то, на самом деле нет в городе Чахмадур, как и самого города! Вообще! Ни слова правды! Сплошная ложь! Кроме слова Пакистан... Но даже то, что он там бывал, было под большим вопросом! Ему сказали, что если он не скажет правду, его посадят в депортационную тюрьму до установления личности... И вот он лежал и ждал момента, когда его посадят... Потому что тюрьма пока что была забита ему подобными выдумщиками... Места для него пока в ней не было... Надо было подождать, — как всегда. Вот он и ждал...

Я послал непальца за следующей бутылкой.

¹ гомик-дружок, копенгагенский сленг, bøsse — гей, ven — друг (датс.)

“Ты чего? — сказал я, когда Непалино скорчил мину. — Не хочешь выпить за свое путешествие в Копенгаген?”

И зеленокожий лягушонок пошел в холодильник. Хануман продолжал как жаловаться, так и рассказывать; посасывая пиво, становясь чуть веселей, он рассуждал, говорил, что надо было сдаваться иначе: надо было с ходу метить в психи, устроить что-нибудь грандиозное в Копене, изобразить какой-нибудь припадок в Иллюме! Посреди роскоши повалиться на пол и начать рыгать кровью! Или попытаться вспороть вены в супермаркете! Или инсценировать самосожжение! Или что-нибудь другое, все что угодно, все что угодно вообще!..

Нет, он не думал головой, а надо было, надо... Он тут пытался быстеренько поджечь, вступил, как и планировалось, в секту миссионеров, стал ухаживать за молоденькой датчанкой, которую за глаза звал Танк, потому что она была невероятно толстая и неповоротливая, просто черепаха! Но черепаха не так напориста и не так стреляет словами как эта, а эта была такая чума, что мама миа! Танк послала его подальше, она не верила ни единому слову, что он говорил. Вообще, казалось, что Хануман утратил и шарм, и дар убеждения; все шло мимо. Он перестал подыгрывать небожителям; помощи от них никакой, только кровь и время сосали; забил на них, стал пить и спиваться, и вот решил голодать... Но даже медсестру убедить в том, что у него легкая форма шизофрении, ему не удалось...

Поэтому, когда я вошел, он, наконец замизерабленный нелегкой долей азулянтской, очень обрадовался мне, как вестнику каких-нибудь перемен к лучшему. Я вновь послал Непалино за очередной бутылкой, чтобы выпить за старые добрые времена, но Непалино отказался, сказал, что в холодильнике больше нет пива; тогда я посоветовал ему вынуть пару купюр из мотка, который он прячет кое-где, и сходить к албанцам в Кафетерию, за парой бутылочек пива, да поживее! Пока мы не обратились за помощью к Аршаку...

“Не надо Аршак, мой друг, не надо Аршак”, — забормотал Непалино, зеленея еще больше, и добавил кротко: “сейчас, сейчас будет пиво!”

И мы снова пили пиво, и Хануман говорил, что он доживает по-

следние дни своего путешествия, так ему кажется; есть неприятное ощущение, под левой лопаткой, очень неприятное... такое раз уже было в Бухаресте, когда он развел группу цыган; он продал им тысячу фальшивых долларов, забрал грамм двести золота, а потом его чуть не убили; ему пришлось все отдать, звонить в Индию отцу, чтоб его выкупили! И тогда он впервые услышал хмыканье папашки: "Мог бы придумать что-нибудь более оригинальное"; — ответил ему папашка... В итоге его румынская жена выплатила все свои сбережения, которые заработала непосильным трудом стриптизерки за два с половиной года в Германии! И теперь что-то такое, вроде коллапса, просто конец, почти конец! Осталось дело за малым — сесть в тюрьму, и сдохнуть там, тихо, как кот...

К нам зашел Свеноо, его привел Непалино, они несли сеточку пива; Свеноо сел на койку возле Ханумана, он был уже крепко пьян, едва соображал, вращал пустыми глазами, его рот был открыт и не захлопывался, он нервно сглатывал. Он открыл нам по пиву и сказал, что снова в порт пришел русский корабль... Черт подери! Ему не удавалось просохнуть! Чуть протрезвеет, как вновь в порту — русский корабль! Не успеет выпить их водку, как снова — русские! Когда ж это кончится? Никакой жизни не стало! Ханни пропустил его слова мимо ушей, продолжая жаловаться на судьбу, говорить о предчувствии, о какой-то роковой ошибке, которую некогда допустил и с тех пор все так пошло ухабисто в его жизни, вкривь да вкось. Датчанин отхлебывал да вздыхал. Когда Ханни закончил бормотать, я вздохнул тоже и сказал, что вот тоже собираюсь принять серьезное решение, мне все надоело, решительно все, хватит ползать, как вошь, по телу Европы, без дома, без близких, нет, хватит! "На самом деле, мужики! Надо что-то думать!"

Свеноо покачивал сочувственно головой, делал понимающий вид, но едва ли ему то удавалось; я хлопал его по коленке; он хлопал меня по шее, вздыхал, на глаза наворачивались слезы...

На следующий день, так и не отойдя, все еще в дым пьяный, он пригласил нас в порт, на русский корабль, он нас буквально потащил туда, хотел, чтобы я снова переводил ему, что моряки говорят, потому что те ни в зуб ногой по-английски, как всегда, а он как все-

гда боялся, что его обманут. Я пошел с ним; мы купили несколько блоков сигарет и ящик водки, как всегда; засели за выпивкой дома у Свеноо. Хануман курил больше, чем пил, пьянел больше, чем курил, потом вырубился. А потом забормотал: “Душа человека бессмертна, но она дается не навсегда, мы как камера хранения души, потому что душа — это драгоценность, и вот то, как мы о ней заботимся, вот что важно!”

Конечно, это был бред, которым его зомбировали свидетели, но Свеноо сказал:

“Да! Вот верные слова, потому что жизнь такая штука...”

“Жизнь это лестница, — подхватил Хануман, — она ведет либо вверх, либо вниз, вниз идти легче, поэтому мы и идем вниз, а вверх идут единицы, обеспокоенные вопросом спасения души...”

“Вот-вот”, — вздыхал Свеноо.

“И вот поэтому я еду в Петербург!” — вдруг выпалил я.

“Куда?! Зачем?!”

Я стал говорить Свеноо, что поговорил с ребятами на корабле, через два дня они идут в Питер. Меня так это проняло, сказал я, у меня там девушка, бывшая, любовь всей моей жизни, я бы хотел ее повидать. Хотя адреса не знаю, но есть такая вещь как телефонная книга, есть всякие бюро, я обзвоню всех с фамилией Лепа. Обойду все театры и киностудии, и если она сменила фамилию, буду искать по имени, и обойду всех Анн, которые только есть в Питере, и если надо — в России!

“Но я найду! — ударил я кулаком по столу. — Я непременно найду ее! Бля буду на...”

И Свеноо тоже сжал кулаки и сказал:

“Я верю в тебя! Ты найдешь! Такой парень, как ты, фо хэльвэ¹, найдет! Только зачем?”

“Затем... затем... хотя бы затем, чтоб просто узнать, как у нее дела... блажь?”

“Эээ... Йоганнн, ты сентиментален! И это хорошо!”

“Да... Знаю... Я согласен... Глупость? Да! Но...”

¹ черт возьми

И некоторое время я рассказывал ему историю моего выдуманного романа с несуществующей девушкой Анной.

К концу этого рассказа Свеноо был уже совсем в хлам. Он смотрел на меня по-настоящему восхищенно и, наконец, спросил, когда я еду.

“На днях... Верней, я уже договорился с капитаном, мне только нужна определенная сумма, совсем немного, но за эти два дня я не смогу достать таких денег, так что придется ждать следующего корабля... Но я все равно уеду!” Я жажнул кулаком о стол. “Бля буду! Чего бы то мне не стоило! Я соберу эти деньги...”

“Сколько надо?” — спросил Свеноо участливо.

“Не хватает восемьсот долларов”, — скорбно сказал я.

“Не так уж много... я... я одолжу тебе столько”, — сказал датчанин.

“Слушай, Свеноо, мы старые друзья, я не хочу ставить тебя в неловкое...”

“Ты не ставишь меня ни в какое... Восемьсот долларов? Это ерунда для меня! Йоган, не надо меня благодарить... пришлешь ведь... вот кто-кто, а ты наверняка пришлешь... что за разговоры? Йоган, мы же старые друзья! Друзья, ты понимаешь? Может, ты мой единственный друг! Может, вот еще Ханни-Банни тоже, и все! Кто еще? Ласло? Этот венгерский серб, в пичку мать! Пф! Ебо те в гузицу и срачку! Еще неизвестно, что он за серб такой! Может, и не серб он вообще никакой! Проверить бы надо! Да какой он мне друг?! Он это так... Выпил да потрепался... А вы — мужики! Вы для меня... Мужики... Друзья... Я знаю, Йоган, ты пришлешь, и все...”

“Да, Свеноо. Конечно, пришлю. Обязательно!”

Через несколько часов мы шли с Хануманом вон из лагеря. Заслышав наши шаги, в окна выглядывали албанцы. Я вбирал голову в плечи и надеялся, что это в последний раз. Хануман пальцами сжимал воротничок у шеи и щурился. В моем кармане были восемьсот долларов, а на лице — печаль, сумрак; в небе сумерки беспросветной датской печали, и еще томило предвкушение, вскипавшее и пробегавшее по коже мурашками. Предвкушение чего-то большого, авантюрного; предвкушение, затаившееся на глубине рудниковой души.

С нами шел Жан-Клод, который на плече тащил баул. Как глыбу! Он за что-то получил какой-то бесплатный абонемент на посещение тренажерного клуба, вот и набил сумку. С ходу начал нам говорить, что у них в билдинге появился пронырливый молодой человек, из Нигерии. Он это сказал с каким-то особенным неудовольствием (возможно потому, что ему приходилось говорить это по-английски). Жан-Клод рассказал, что этот тип уже третий раз умудрился продать один и тот же общественный пылесос, и два велосипеда; и кого он только не обманул уже за это время! Настоящий пройдоха! Я глянул на огромную сумку Жан-Клода и на миг мне подумалось, что тот в ней на всякий случай собрал с собой все свои вещи! Тот продолжал: в каждом билдинге лагеря стервец уже что-нибудь да продал, — что-нибудь, что просто перетасил из другого билдинга! И отказать ему было невозможно! Бить было бесполезно, потому что у того обнаруживались аргументы и отмазки! Скользкий тип, ну как змея в вазелине! Лагеря оказалось мало! Он пошел дальше! Нашел какого-то сговорчивого датчанина, к которому втерся в доверие через Библию, и поселился у него. “На днях датчанин уехал в отпуск куда-то на две недели, кажется, в Испанию, не уверен, и представьте, этот проныра сдал его квартиру в аренду! Семье какого-то доверчивого афганца! Причем никаких бумаг не оформлял — просто взял деньги вперед на полгода и растворился!”

“Хэхахо! Молодой человек пойдет далеко, — сказал Ханни покачивая головой. — Если не занесет его как Икара”.

“Широко шагает, может штаны порвать”, — добавил я.

Уже без Жан-Клода, на остановке; Хануман пожимал мне руку, как бы держась за меня.

“Ну что? — сказал он кисло. — Ты пошел, кажется...”

“Так, — ответил я, — что за чепуха! Куда это я пошел? Что ты имеешь в виду?”

“Ну... ты же едешь? В Санкт-Петербург, не так ли?”

“Хм, ты что, Ханни, все мозги себе прокурил? Какой Петербург, Ханни? Эй, опомнись! Мы едем на Лолланд! Восемьсот долларов! Парадиз — выпивка — девочки! Мэн, ты же хотел выйти за рамки! Увидеть картину целиком! Ты же хотел подлечиться, не так ли, Хан-

ни? Вот наш автобус на подходе. Приободрись! Нас ждет веселуха дня на два, на три! Тебе не помешает оттянуться и забыть этот кошмар... Ты закинул тут совсем. На Лолланд, Ханни! На датскую Ибицу!"

Хануман округлил свои кровавые глаза, из них моментально выветрилась бессонница, в них вспыхнул огонь жизни. Он закинул голову, открыл свой рыбий рот: "Хэхахо!" — хохотнул Хануман на всю улицу, глубоко вздохнул, хлопнул меня по плечу и сказал: "Значит на Лолланд, Юдж! Наконец-то на Лолланд? На датскую Ибицу? Выйти за рамки, чтобы увидеть картину целиком? Ну, Юдж, ну ты сукин сын! Хэх, ну ты точно сукин сын!"

Он еще раз хлопнул меня по плечу; в глазах его стояли слезы счастья и благодарности. Он важно вошел в автобус.

"To til Lolland! ¹" — торжественно крикнул Хануман водителю.

¹ два до Лолланда (дат.)

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.....	3
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.....	139
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	241

Андрей Иванов

ПУТЕШЕСТВИЕ ХАНУМАНА НА

